БРЮС ЧАТВИН

На Черной горе



Тексты Брюса Чатвина невероятно визуальны и обладают особой аурой. Его книги настолько переполнены образами и звуками, что кажутся живыми существами.

The New Yorker

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!

18+

На Черной горе
Брюс Чатвин

Аннотация
Брюс Чатвин. На Черной горе
На Черной горе{Перевод Т. Азаркович.}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
Вице-король Уиды{Перевод К. Голубович.}
1
2
3
4
5
6

Аннотация

Брюс Чатвин – известный британский писатель, лауреат многих престижных премий, один из самых влиятельных авторов своего времени. В настоящее издание вошли два его блестящих романа: «На Черной горе» и «Вице-король Уиды».

«На Черной горе» – это эпичная история двух близнецов, проживающих на ферме неподалеку от границы между Англией и Уэльсом. За свои восемьдесят лет они почти не покидали тесный мирок, ограниченный ближайшими городками и фермами, однако в их жизни было все, что отпущено каждому человеку на этой земле: любовь и жестокость, неразделенная страсть и предательство, нежная дружба и мечты о дальних странах… Роман «На Черной горе» принес Брюсу Чатвину почетную Мемориальную премию Джеймса Тейта Блэка, а в 1988 году был экранизирован режиссером Эндрю Гривом.

«Вице-король Уиды» – страстный, визионерский роман, пылающий всеми цветами Африканского континента (недаром его

неоднократно сравнивали с «Сердцем тьмы» Джозефа Конрада; иные критики упоминали «черную магию воображения»). Основанная на реальных событиях история бразильского искателя приключений Франсишку Мануэла да Сильвы, который отправился в печально известную Дагомею (ныне Бенин), чтобы стать самым могущественным работорговцем на континенте. Однако Черный континент не знает пощады – ни к чужеземцам, ни к собственным детям, и Франсишку Мануэл становится еще одной жертвой в липких сетях Невольничьего берега… В 1987 году роман был экранизирован режиссером Вернером Херцегом под названием «Зеленая Кобра» (главную роль в фильме исполнил Клаус Кински).

Оба романа выходят на русском языке впервые!

Брюс Чатвин
На Черной горе

Bruce Chatwin
ON THE BLACK HILL
Copyright © Bruce Chatwin, 1982
THE VICEROY OF OUIDAH
Copyright © Bruce Chatwin, 1980

Карта выполнена Юлией Каташинской

© Т. А. Азаркович, перевод, 2025
© К. О. Голубович, перевод, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®

На Черной горе{Перевод Т. Азаркович.}

Посвящается Фрэнсису Уиндему и Диане Мелли

Поелику мы задерживаемся здесь недолго и дни нашей жизни сочтены, все равно что у мотылька или у тыквы, нам нужно искать прочного города в ином месте, строить себе дом в ином краю…

Джереми Тейлор[1]

---

[1] Примечания: 1

Джереми Тейлор (1613–1667) — английский священник, проповедник и писатель. — *Здесь и далее примеч. перев.*

1

Вот уже сорок два года Льюис и Бенджамин спали бок о бок в родительской кровати у себя на ферме, которая называлась Видение.

В 1899 году, когда их мать вышла замуж, эту дубовую кровать с балдахином привезли сюда из ее дома в Брин-Драйноге. Выцветший кретоновый полог с узором из живокости и розочек защищал от комаров летом и от сквозняков зимой. В льняных простынях мозолистые пятки протерли дыры, лоскутное покрывало местами заметно поистрепалось. Под матрасом, набитым гусиным пером, лежал другой матрас — с конским волосом, и все это просело в два желоба, образовав холм между спящими.

В комнате всегда было темно, здесь пахло лавандой и камфорными шариками.

Запах камфорных шариков доносился из пирамиды шляпных коробок, громоздившейся возле умывальника. На прикроватной тумбочке лежала подушечка для булавок, все еще утыканная шляпными булавками миссис Джонс, а на торцевой стене в рамке, крашенной под черное дерево, висела гравюра по картине Холмана Ханта «Све-

точ мира»[2].

Одно из окон выходило на зеленые поля Англии, а другое смотрело на Уэльс — туда, где за группой лиственниц высилась Черная гора.

Волосы у обоих братьев были белее наволочек.

По утрам, в шесть часов, звонил будильник. Они брились и одевались под радиопередачу для фермеров. Спускались вниз, стучали по барометру, разводили огонь и кипятили воду для чая. Потом доили коров, задавали скотине корм и возвращались в дом завтракать.

Стены дома были покрыты грубой штукатуркой с галечной крошкой, кровля из каменной черепицы поросла мхом. Сам дом стоял в дальнем конце участка, в тени старой шотландской сосны. Пониже коровника тянулся плодовый сад с чахлыми яблонями, которым ветер не давал тянуться ввысь, а за ним наклонно уходили вниз поля — к лощине, где вдоль реки росли березы и ольхи.

Давным-давно эта ферма звалась Ти-Крадок

---

[2] Примечания: 2

«Светоч мира» (1854) — символическая картина английского художника-прерафаэлита Холмана Ханта (1827–1910), изображающая Христа с семигранным светильником в руке.

(в здешних краях имя Каратака[3] не забыто и по сей день), пока в 1737 году больной девочке по имени Алиса Морган не привиделась Дева Мария, парившая над кустиком ревеня. Алиса прибежала на кухню полностью исцеленной. В память о чуде ее отец переименовал свою ферму в Видение и высек на перекладине над крыльцом инициалы дочери «А. М.», дату и крест. Говорили, что граница между Раднором и Херефордом проходит прямо здесь, посередине лестницы.

Братья были близнецами.

В детстве их умела различать только мать — теперь же прожитые годы и несчастья оставили на них разные отметины.

Льюис был высокий и жилистый, с прямой осанкой и ровной пружинистой походкой. Даже в свои восемьдесят он мог день-деньской ходить по холмам или с утра до вечера орудовать топором и не уставать.

От него исходил резкий запах. Глубоко посаженные глаза — серые, задумчивые, подслеповатые — прятались за толстыми круглыми очками в

---

[3] Примечания: 3

Каратак — кельтский вождь, возглавивший вооруженное сопротивление римлянам, когда в 50-е годы I века они попытались завоевать Британию. Впоследствии исторический персонаж стал прототипом обобщенного героя валлийских легенд.

светлой металлической оправе. На носу у него был шрам, оставшийся после падения с велосипеда, а еще после того случая у него загибался книзу и краснел в холода кончик носа.

Льюис имел привычку при разговоре покачивать головой; при этом он теребил цепочку от часов или вовсе не знал куда девать руки. На людях у него всегда был озадаченный вид, а если собеседник просто констатировал какой-нибудь факт, он говорил в ответ: «Большое спасибо!» или «Очень любезно с вашей стороны!». Все в округе знали, что он отлично ладит с овчарками.

Бенджамин был ниже ростом, розовее лицом, опрятнее и острее на язык. Подбородком он едва не упирался себе в шею, зато нос у него прекрасно сохранился, и в разговоре он пользовался им как оружием. Волóс на голове у него осталось меньше, чем у брата.

Бенджамин занимался в доме готовкой, штопкой и глажкой, а еще вел счета. Никто лучше него не торговался за скотину — он мог часами яростно сбивать цену, пока барышник не вскидывал руки и не говорил: «Ну ладно, твоя взяла, старый сквалыжник!» А тот с усмешкой отвечал: «Кто-кто?»

На много миль в округе близнецы славились

как страшные скряги — но не во всем.

Например, за сено они отказывались брать хоть пенни. Говорили, что сено — Божий дар земледельцу, и если у них в Видении имелись лишние запасы, то соседи победнее могли брать сколько угодно задаром. Даже в самые непогожие январские дни старухе мисс Файфилд с Бугра достаточно было прислать весточку с почтальоном — и Льюис грузил тюки сена на трактор, чтобы ей отвезти.

Любимым занятием Бенджамина было принимать роды у овец. Всю долгую зиму он дожидался конца марта, когда подают голоса кроншнепы и начинается окот. Тогда он, а не Льюис, не спал всю ночь и присматривал за овцами. Когда роды шли тяжело, он сам вытаскивал ягненка. Иногда ему приходилось запускать руку глубоко в овечью утробу, чтобы разделить ягнят-двойняшек. Потом он сидел у огня, немытый и довольный, а кошка слизывала у него с пальцев околоплодную слизь.

Зимой и летом братья ходили на работу в полосатых фланелевых рубахах с медными запонками на шее. Куртки и жилеты у них были сшиты из коричневого габардина, а штаны — из вельвета более темного цвета. Молескиновые шляпы они носили, загнув поля вниз; Льюис имел привыч-

ку снимать шляпу перед каждым встречным незнакомцем, поэтому ворс на его тулье совсем поистерся.

Время от времени с какой-то насмешливой чинностью они посматривали на свои серебряные часы — не для того чтобы узнать точное время, а чтобы проверить, чьи идут быстрее. Субботними вечерами братья по очереди мылись в сидячей поясной ванне перед огнем. Жили они ради памяти о матери.

Поскольку каждый из них знал, о чем думает другой, они даже ссорились без слов. Иногда — возможно, после очередной такой молчаливой ссоры, когда им нужно было, чтобы их помирила мама, — они вставали над ее лоскутным одеялом и всматривались в черные бархатные звезды и шестиугольники набивного ситца, которые когда-то были ее платьями. Не говоря ни слова, они снова видели ее: в розовом — идущей по овсяному полю с кувшином процеженного сидра для жнецов; в зеленом — в пору обеда у стригалей овец; или в фартуке в синюю полоску — склонившейся над очагом. А черные звезды приносили воспоминания о гробе с телом отца, стоявшем на кухонном столе, и о плакавших женщинах с белыми как мел лицами.

Со дня его похорон на кухне ничего не менялось. Обои с узором из восточных маков и буроватых папоротников потемнели от копоти, и хотя латунные дверные ручки блестели все так же, как много лет назад, с самих дверей и с плинтусов коричневая краска давно облупилась.

Близнецы никогда даже не думали подновить эту обветшавшую обстановку, боясь уничтожить память о том ясном весеннем утре — больше семидесяти лет назад, — когда они помогали матери помешивать в ведре клейстер из муки с водой и наблюдали, как на ее платке застывают капли побелки.

Бенджамин исправно отскребал от грязи каменные плиты пола, чугунная решетка блестела от графитовой смазки, а на конфорке всегда посвистывал медный чайник.

По пятницам Бенджамин обязательно что-нибудь пек (как когда-то мать): после полудня закатывал рукава, готовясь делать валлийское печенье или деревенский каравай. Он так энергично месил тесто, что от нарисованных подсолнухов на клеенке со временем почти ничего не осталось.

На каминной полке стояли парные стаффордширские фигурки спаниелей, пять латунных

подсвечников, кораблик в бутылке и чайница с рисунком китаянки. В застекленной горке (одна ее дверца была подлечена скотчем) хранились фарфоровые безделушки, посеребренные чайники, всевозможные коронационные и юбилейные кру́жки. На полку, прибитую к стропилам, был втиснут свиной окорок. Георгианское фортепиано свидетельствовало об изысканном досуге давно минувших дней.

Рядом с напольными часами Льюис держал наготове дробовик 12-го калибра: оба брата боялись воров и торговцев антиквариатом.

У отца близнецов было единственное хобби (точнее, единственное, что его интересовало в жизни, не считая земледелия и Библии): выреза́ть деревянные рамки для картин и семейных фотографий, которыми было увешано все свободное пространство на стенах. Миссис Джонс всегда удивлялась, как это у человека с таким характером и такими неуклюжими руками хватало терпения для столь кропотливой работы. Но как только мистер Джонс брался за резец и повсюду разлетались мелкие белые стружки, он переставал быть придирчивым грубияном.

Он вы́резал готическую рамку для религиозной цветной гравюры «Широкий и узкий путь»,

придумал своеобразные библейские мотивы для акварели, изображавшей купель Вифезда. А когда брат прислал ему из Канады олеографию, промазал ее всю льняным маслом, чтобы сделать похожей на работу старых мастеров, и всю зиму напролет корпел над обрамлением в форме кленовых листьев.

И была еще та картина (которая, помимо прочего, имела отношение к легендарному дядюшке Эдди) — с краснокожим индейцем, березовой корой, соснами и багровым небом, — которая впервые пробудила в Льюисе мечту о дальних краях.

Если не считать поездки на море в 1910 году, ни один из близнецов никогда не бывал дальше Херефорда. И все же недоступные горизонты только растравляли в Льюисе страсть к географии. Он донимал гостей расспросами, что́ они думают «о дикарях в Африке», требовал известий о Сибири, о Салониках или Шри-Ланке. А когда кто-нибудь упоминал о неудачной попытке президента Картера освободить заложников в Тегеране[4], Льюис скрещивал руки на груди и решительно заявлял:

---

[4] Примечания: 4

Речь идет о захвате десятков американских дипломатов в Иране после Исламской революции в 1979 году. Заложников удалось освободить только в 1981-м, в день инаугурации Р. Рейгана.

— Ему нужно было переправить их через Одессу.

Его познания о мире были почерпнуты из изданного в 1925 году атласа Бартоломью, в котором владения двух больших колониальных держав раскрашивались в розовый и лиловый цвета, а Советский Союз — в блеклый серо-зеленый. Льюиса, привыкшего к порядку, оскорбляло новое лицо планеты, зарябившее множеством грызущихся между собой маленьких стран с непроизносимыми названиями. Словно намекая на то, что настоящие путешествия можно совершать только в воображении (а может быть, желая порисоваться), он зажмуривался и певуче декламировал строки, которые когда-то разучивала с ним мать:

Всё на запад и на запад,
Плыл по нем к заре огнистой,
Плыл в багряные туманы,
Плыл к закату Гайавата…[5]

Очень часто близнецы горевали при мысли о том, что так и умрут бездетными, однако стоило им только бросить взгляд на стену, увешанную

---

[5] Примечания: 5
Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Перевод Ивана Бунина.

фотографиями, как самые мрачные их мысли тут же улетучивались. Всех, кто был изображен на этих снимках, они знали по именам, и им никогда не надоедало выискивать черты фамильного сходства у людей, родившихся с разницей в сотню лет.

Слева от группового снимка, сделанного на свадьбе родителей, висел портрет их самих в шестилетнем возрасте; они глядели перед собой широко раскрытыми глазами, словно птенцы сипухи, и были наряжены в одинаковые рубашки с отложными воротничками, как у пажей (их тогда собирались вести на гулянье в парк Леркенхоуп). Но больше всего братьев радовала цветная фотография внучатого племянника, тоже шестилетнего, только замотанного в тюрбан из полотенца (он играл Иосифа в рождественском спектакле).

С тех пор прошло четырнадцать лет, и Кевин превратился в высокого черноволосого юношу с кустистыми, сросшимися на переносице бровями и аспидными серо-голубыми глазами. Через несколько месяцев ферма должна была отойти ему.

Теперь, глядя на то поблекшее свадебное фото, на отцовское лицо в оправе из огненно-рыжих

бакенбард (даже по фотографии в сепии легко было понять, что он из рыжеволосых), рассматривая рукава жиго на платье матери, розы на ее шляпке и нивянки в ее букете, сравнивая ее милую улыбку с улыбкой Кевина, они понимали, что жизнь не была потрачена даром и время, пройдя через целительный круговорот, смыло боль и гнев, стыд и бесплодность и прорвалось в будущее с обещанием новизны.

2

Из всех, кто позировал для фото у «Красного дракона» в Рулене в тот душный августовский день в 1899 году, больше всего поводов для радости было у жениха — Амоса Джонса. Всего за неделю ему удалось добиться исполнения двух из трех его заветных желаний: жениться на красавице и взять в аренду ферму.

Его отец, старый пустомеля и любитель сидра, известный в раднорширских пабах как Сэм Телега, начинал свой жизненный путь гуртовщиком и за долгие годы, промышляя извозом, так и не сумел разбогатеть; теперь он жил вдвоем с женой в тесном домишке на склоне Руленского холма.

Ханну Джонс никак нельзя было назвать милой или покладистой женщиной. В молодые годы она без памяти любила мужа, мирилась с его отлучками и изменами и — благодаря своей баснословной скаредности — всегда умудрялась предотвратить приход приставов.

А потом последовали катастрофы, от которых сердце ее очерствело и окаменело, а рот сделался кривым и колючим, будто лист падуба.

Из пятерых ее детей одна дочь умерла от ча-

хотки, другая вышла за католика. Старший сын погиб в угольной шахте в долине Ронты. Ее любимчик Эдди украл материнские сбережения и удрал в Канаду. Так ее единственной опорой в старости остался Амос.

Он был ее последышем, поэтому она нянчилась с ним больше, чем с другими, и отправила в воскресную школу учиться грамоте и страху перед Господом. Амос был неглуп, но к пятнадцати годам мать окончательно разочаровалась в способностях сына и прогнала его из дома, чтобы содержал себя сам.

Дважды в год, в мае и ноябре, он бродил по Руленской ярмарке в ожидании, что какой-нибудь фермер наймет его в батраки; из шапки у него торчал клок овечьей шерсти, через руку была переброшена опрятно сложенная чистая воскресная блуза.

Он нашел работу на нескольких фермах в Радноршире и Монтгомери. Там он научился пахать плугом, сеять, жать и стричь скотину, забивать свиней и вытаскивать овец из сугробов. Когда сапоги окончательно порвались, ему пришлось обмотать ноги полосками войлока. Вечерами после работы у него ныли все суставы. Ужинал он похлебкой из окорока с картофелем и черствыми

корками. Чая ему не полагалось — хозяева были слишком прижимисты.

Ночевал Амос на тюках сена в амбаре или на сеновале в хлеву, и зимними ночами, бывало, лежал без сна, дрожа под сырым одеялом: просушить одежду было негде. Однажды утром в понедельник хозяин выпорол его из-за ломтей холодной баранины, которые пропали, когда семья была на службе в молельне, хотя Амос был не виноват (мясо стащила кошка).

Трижды он убегал от нанимателей и трижды лишался платы за труд. И все-таки расхаживал с важным видом, залихватски заламывал шапку и — в надежде понравиться какой-нибудь смазливой фермерской дочке — тратил все лишние пенни на яркие носовые платки.

Первая его попытка соблазнения провалилась.

Чтобы разбудить девушку, он бросил ветку в окно ее спальни, и она тихонько спустила ему ключ. Потом, на цыпочках пробираясь по кухне, он задел ногой табурет и грохнулся. Вслед за ним на пол свалился медный горшок, залаяла собака и откуда-то из глубины донесся мужской голос. Когда Амос выбегал из дома, отец девушки уже стоял на лестнице.

В двадцать восемь лет он сказал, что, пожалуй,

эмигрирует в Аргентину: ходят слухи, что там всем желающим дают землю и лошадей. Тогда мать запаниковала и подыскала ему невесту.

Это была очень простая, туповатая женщина лет на десять его старше; она сидела день-деньской, глазея на свои ничем не занятые руки — обуза для своей семьи.

Ханна три дня уговаривала отца невесты отдать ее за Амоса, а заодно выторговала тридцать племенных овец, аренду небольшой фермы Кумкойнант и права на выпас скота на Руленском холме.

Участок оказался паршивый. Он находился на тенистом склоне, и в пору таяния снегов домик вставал на пути у потоков ледяной воды. Все же, арендуя немного земли там и сям, закупая скот совместно с другими фермерами, Амос кое-как выкручивался и уповал на лучшие времена.

Брак этот был безрадостным.

Рейчел Джонс слушалась мужа, двигаясь, как безвольный автомат. Она чистила свинарник в рваном твидовом пальто, перевязанном куском бечевки. Никогда не улыбалась и не плакала, если муж бил ее. На его вопросы отвечала односложно или просто хмыкала. Даже терпя родовые муки, она так сильно стиснула зубы, что не проронила

ни звука.

Родился мальчик. Молоко не пришло, и мать отослала его к кормилице. Ребенок умер. А в ноябре 1898 года Рейчел перестала принимать пищу и повернулась спиной к миру живых. Когда ее хоронили, кладбище белело подснежниками.

С того дня Амос Джонс стал регулярно ходить в церковь.

3

Однажды на воскресной заутрене — еще и месяца не прошло со дня похорон — руленский викарий объявил, что его позвали провести службу в Лландафском соборе, и потому вместо него в следующее воскресенье проповедь произнесет ректор из Брин-Драйнога.

Им оказался преподобный Латимер, знаток Ветхого Завета, вышедший на покой после миссионерской работы в Индии и поселившийся в здешней горной глуши в одиночестве — точнее, вместе с дочерью и со своими книгами.

Изредка Амос видел его на горе: со впалой грудью, с седыми космами, развевавшимися на ветру, как соцветия пушицы, он шагал среди зарослей вереска и что-то громко кричал, пугая овец. Дочку Амос не видел — говорили, что она грустная и красивая. Он уселся у самого края церковной скамьи.

По пути в Рулен Латимерам пришлось укрываться от ливня, и они опоздали к началу службы на целых двадцать минут. Наконец их двуколка остановилась возле церкви. Ректор пошел в ризницу переодеваться, а мисс Латимер направилась

к местам для певчих, глядя на винно-красную ковровую дорожку и избегая взглядов прихожан. Она слегка задела Амоса Джонса за плечо и остановилась. Сделала полшага вперед, еще шаг в сторону и опустилась на скамью — на один ряд ближе к алтарю, чем он, по другую сторону от прохода.

Ее черная касторовая шляпка и шиньон каштановых волос блестели каплями воды. На сером саржевом пальто тоже виднелись потеки от дождя.

Одно из витражных окон изображало пророка Илию с вороном. Снаружи, на подоконнике, уселась парочка голубей, они ворковали и стучали клювами по стеклу.

Первым прозвучал гимн «Направь меня Ты, о Великий Иегова»[6], и Амос, вслушиваясь в мощно звучавшие голоса хора, уловил ее чистое, трепетное сопрано, а она почувствовала его баритон, жужжавший, как шмель, вокруг ее затылка. Весь «Отче Наш» он глазел на ее длинные белые, сужающиеся к кончикам пальцы. После того как прочитали отрывок из Нового Завета, она решилась бросить искоса взгляд назад и увидела его

---

[6] Примечания: 6

Гимн (1745) валлийского поэта, писателя и священника Уильяма Уильямса Пантицелина (1717–1791).

красные руки на красном клеенчатом переплете молитвенника.

Она зарделась от смущения и натянула перчатки.

Потом ее отец поднялся на кафедру и стал читать, кривя рот:

— «Если будут грехи ваши как багряное, — как снег убелю; если будут красны как пурпур, — как во́лну убелю. Если захотите и послушаетесь…»[7]

Она смотрела на свою молитвенную подушечку и чувствовала, как у нее щемит сердце. После службы Амос прошел рядом с ней через погребальные ворота[8], но она отвела взгляд, повернулась спиной и стала рассматривать ветви тиса.

Он позабыл о ней — пытался забыть, — пока однажды в апрельский четверг не отправился на руленский рынок, чтобы распродать годовалых барашков и обменяться новостями.

Вдоль всей Широкой улицы фермеры, съехавшиеся в город, привязывали своих пони и судачили, сбиваясь в группки. Телеги, уставив

---

[7] Примечания: 7
Ис. 1: 18.

[8] Примечания: 8
Погребальные ворота (*англ.* lychgate) — ворота, как правило, крытые, ведущие на кладбище.

оглобли вверх, стояли пустыми. Из пекарни долетал запах свежевыпеченного хлеба. Перед ратушей расположились торговые палатки под навесами в красную полоску, а вокруг них так и роились черные шляпы. На Замковой улице толпа была еще гуще: народ проталкивался вперед, торопясь осмотреть гурты уэльского и херефордского скота. Овец и свиней держали в загонах за плетнями. День стоял морозный, и над спинами животных поднимались облака пара.

У «Красного дракона» два бородатых старика пили сидр и ворчали про «этих продувных бестий в парламенте». Кто-то гнусаво выкликал цену на плетеные стулья, красноносый скототорговец энергично жал руку худощавому человеку в коричневом котелке.

— Как делишки?

— Так себе.

— А у жены?

— Худо.

Рядом с городскими часами расположились две голубые подводы, застланные сеном и заваленные битой птицей; их хозяйки, две кумушки в клетчатых платках, вовсю сплетничали, старательно прикидываясь, что им и дела нет до бирмингемского закупщика, который кружил

вокруг них, поигрывая ротанговой тростью.

Проходя мимо, Амос услышал, как одна кумушка говорит другой:

— Ах она бедняжка! Подумать только, одна-одинешенька на белом свете осталась!

В прошлую субботу пастух, проезжавший по горе, нашел тело преподобного Латимера, торчавшее ногами вверх из торфяной ямы. Видимо, он поскользнулся, упал и утонул. Во вторник его похоронили в Брин-Драйноге.

Амос распродал своих барашков, выручив за них сколько можно, и, засовывая монеты в жилетный карман, заметил, что рука у него дрожит.

На следующее утро, задав корм скотине, он взял палку и прошел девять миль к горе над Брин-Драйног. Дойдя до скал, гребнем выступающих на вершине, Амос сел в укрытии от ветра и перешнуровал ботинок. Над его головой летели из Уэльса пухлые облака, тени от них быстро мчались по склонам, поросшим утесником и вереском, но замедляли движение, когда доходили до полей с озимой пшеницей.

Он ощущал какую-то легкость в голове, почти что счастье, словно и его жизнь тоже должна была начаться заново.

К востоку протекала река Уай, серебристой

лентой змеившаяся по заливным лугам, и все окрестные просторы были усеяны яркими пятнышками — белыми или краснокирпичными крестьянскими домами. Соломенные крыши смотрелись желтыми лоскутами в пене яблоневого цвета, а дома помещиков-аристократов утопали в сумрачной зелени хвойных деревьев.

Ниже, в нескольких сотнях ярдов, на шиферную кровлю пасторского дома в Брин-Драйноге падали солнечные лучи, отбрасывая на склон горы параллелограмм небесного света. В синеве кружили и падали камнем вниз два канюка; на ярко-зеленом поле паслись ягнята и расхаживали вороны.

По кладбищу среди надгробий двигалась женщина в черном. Вот она вышла из калитки и пошла по заросшему саду. На лужайке ей навстречу радостно выскочила маленькая собачонка, затявкала и принялась цапать подол. Женщина забросила палку в кусты, и собака помчалась следом, вернулась без палки и снова затеребила хозяйкину юбку. Что-то как будто удерживало женщину, мешая зайти в дом.

Амос помчался вниз по склону, металлические набойки на каблуках звучно ударялись об отлетавшие камни. Потом он перегнулся через

садовую изгородь, шумно переводя дух, а она все так же стояла среди лавровых кустов, и собачка смирно лежала у ее ног.

— А, это вы! — сказала она, обернувшись.

— Ваш отец, — пробормотал он. — Мне так жаль, мисс…

— Да-да, конечно, — она жестом прервала его. — Пожалуйста, заходите в дом.

Он стал извиняться, говоря, что у него ботинки в грязи.

— В грязи! — Она рассмеялась. — Грязью этот дом не испачкаешь. И потом, я здесь надолго не останусь.

Она провела его в отцовский кабинет. В комнате было пыльно, она вся была заставлена книгами. За окном прицветники араукарии преграждали путь солнечному свету. Пучки конского волоса из дивана просы́пались на потертый турецкий ковер. Письменный стол был завален пожелтевшими бумагами, на вращающейся стойке лежали Библии и комментарии к Библии. Каминную полку из черного мрамора украшали древнеримские черепки и несколько кремневых наконечников топоров.

Она подошла к фортепиано, выхватила содержимое вазы и бросила за каминную решетку.

— Какой ужас! — сказала она. — Терпеть не могу иммортели!

Она рассматривала его, пока он разглядывал акварель, изображавшую белые арки, финиковую пальму и женщин с кувшинами.

— Это купель Вифезда, — пояснила она. — Мы были там. Объездили всю Святую землю, когда возвращались из Индии. Увидели Назарет, Вифлеем и море Галилейское. Были в Иерусалиме. Отец всю жизнь мечтал об этом.

— Можно воды? — спросил он.

Она провела его на кухню. На столе, выскобленном дочиста, было совсем пусто. Ни крошки еды.

Она сказала:

— Вот досада, я даже чашкой чая не могу вас угостить.

Они вышли на солнечный свет, и он разглядел, что волосы у нее уже тронуты сединой, а от уголков глаз к скулам расходятся мелкие морщинки. Но ему по душе пришлись ее улыбка, карие глаза и длинные черные ресницы. Талию ее стягивал черный пояс из лакированной кожи. Его взгляд опытного заводчика плавно скользил от плеч к бедрам.

— А я ведь до сих пор не знаю, как вас зовут, — проговорила она и протянула на прощанье

руку. — Амос Джонс — замечательное имя.

Она дошла с ним по саду к воротам, помахала на прощанье и побежала обратно к дому. Когда он обернулся напоследок, она уже стояла в кабинете. Черные щупальца араукарии, отражавшиеся в окне, словно держали в плену ее белое лицо, прижавшееся к стеклу.

Он поднимался в гору, перескакивая с одного травянистого бугра на другой, и кричал во все горло:

— Мэри Латимер! Мэри Джонс! Мэри Латимер! Мэри Джонс! Мэри!.. Мэри! Мэри!..

Через два дня он вернулся в пасторский дом, прихватив подарок: собственноручно ощипанную и выпотрошенную курицу.

Она стояла на крыльце в длинном синем шерстяном платье, с наброшенной на плечи кашмирской шалью; к коричневой бархатной ленте, обвивавшей шею, была приколота камея с изображением Минервы.

— Вчера я не смог прийти, — сказал он.

— Я знала, что вы придете сегодня.

Она запрокинула голову и рассмеялась, а собачка, унюхав курицу, запрыгала и начала цапать Амоса за штаны. Он вытащил курицу из заплечного мешка. Мэри увидела холодную пупырчатую

тушку. Перестала улыбаться — стояла на пороге как вкопанная и дрожала.

Они пытались поговорить в прихожей, но она заламывала руки и смотрела на вымощенный красной плиткой пол, а он переминался с ноги на ногу и чувствовал, как краснеет от шеи до ушей.

Обоих распирало желание что-то сказать друг другу. И оба понимали, что сказать им больше нечего, что ничего из их встречи не выйдет, что два их голоса никогда не сольются в один, и каждый уползет обратно в свою раковину, как будто та вспышка узнавания в церкви была насмешкой судьбы или искушением лукавого, решившего их погубить. Они продолжали что-то бормотать, запинаясь, и мало-помалу слова вылетали все реже, между ними пролегало все больше молчания. Они уже не глядели друг на друга, когда он неловко пробрался к выходу и бросился бежать к горе.

Ее мучил голод. В тот вечер она изжарила курицу и попыталась заставить себя поесть. После первого же куска отбросила нож и вилку, отдала блюдо собаке и побежала наверх, в спальню.

Мэри лежала ничком на своей узкой кровати и рыдала в подушку, синее платье распласталось вокруг ее тела, в колпаках над печными трубами завывал ветер.

Ближе к полуночи ей померещился хруст чьих-то шагов по гравию.

— Он вернулся! — крикнула она, но потом поняла, что это вьющаяся роза скребется колючками в окно.

Она принималась считать овец, но вместо того, чтобы нагнать на нее сон, эти глупые животные лишь пробудили другое воспоминание — о другой ее любви, которая приключилась с ней в пыльном индийском городке.

Он был полукровка-евразиец со слащавым взглядом, постоянно сыпавший извинениями. Она впервые увидела его на телеграфе, где он служил. Когда холера забрала ее мать и его молодую жену, они обменялись соболезнованиями на англиканском кладбище. Потом встречались вечерами и прогуливались вдоль лениво текущей реки. Он звал ее к себе и угощал переслащенным чаем с буйволовым молоком. Читал ей наизусть монологи из Шекспира. С надеждой говорил о платонической любви. Его маленькая дочка носила золотые сережки, а нос у нее был забит соплями.

— Потаскуха! — кричал на нее отец, когда почтальон доложил ему о «нескромности» дочери. Он на три недели запер ее в душной комнате,

чтобы у нее было время раскаяться, и посадил на хлеб и воду.

Около двух часов ночи ветер переменил направление и завыл по-другому. Она услышала, как сломалась ветка — *хррясь!* — и вдруг, заслышав этот древесный звук, подскочила в кровати:

— О боже! Он подавился куриной костью!

Она ощупью пробралась вниз по лестнице. Сквозняк задул свечу, когда она отворила дверь на кухню. Она остановилась в темноте, вся дрожа. За шумом ветра можно было расслышать, как песик мирно похрапывает в своей плетенке.

На рассвете она взглянула за кроватные перила и в задумчивости остановила взгляд на гравюре по картине Холмана Ханта. «Стучите, и отворят вам»[9], — говорил Спаситель. Но разве она не стучала и не размахивала светильником у двери дома? В тот миг, когда сон наконец пришел, тоннель, по которому она блуждала, показался ей длиннее и темнее, чем обычно.

---

[9] Примечания: 9

Картина Ханта как раз иллюстрирует эти евангельские слова из Мф. 7: 7.

4

Амос таил свою злость. Все лето напролет он работал не покладая рук, как будто силясь вытравить память о высокомерной женщине, которая пробудила в нем надежды и сама же разрушила их. Часто, лишь увидев мысленно ее серые кожаные перчатки, он грохал кулаком по своему холостяцкому столу.

В пору сенокоса он пошел в помощники к одному фермеру на Черной горе и познакомился там с девушкой по имени Лиза Беван.

Они встречались в лощине и ложились в ольховой роще. Она покрывала его лоб поцелуями, перебирала ему волосы своими короткими пальцами. Но что бы он ни делал — что бы она ни делала, — ничто было не в силах стереть из его памяти образ Мэри Латимер, которая с обиженно-укоризненным видом насупливает брови. Ночами без сна, в одиночестве, как мучительно ему хотелось, чтобы рядом с ним оказалось ее гладкое белое тело!

Как-то раз на летней лошадиной ярмарке в Рулене он разговорился с пастухом — тем самым, что нашел тело утонувшего пастора.

— А что дочка? — спросил Амос притворно-равнодушным тоном.

— Уезжает, — ответил пастух. — Собирается, вещи пакует.

На следующее утро, когда Амос дошел до Брин-Драйнога, припустил дождь. Капли стекали по его щекам, барабанили по листьям лавров. В буках, росших вокруг пасторского дома, молодые грачи учились расправлять крылья, а их родители кругами летали рядом, одобрительно покаркивая. На подъездной дороге для экипажей стояла легкая двухколесная карета. Конюх помахал скребницей рыжеволосому незнакомцу, который широким шагом входил в дом.

Она была в кабинете — вместе с каким-то потрепанным, жидковолосым джентльменом в пенсне, листавшим книгу в кожаном переплете.

— Профессор Гетин-Джонс, — представила она его, не выказав ни капли удивления. — А это — просто мистер Джонс, который пришел, чтобы вывести меня на прогулку. Пожалуйста, извините нас. Продолжайте читать.

Профессор пробубнил что-то невнятное. Ладонь у него была сухая и жесткая. Сероватые жилы проступали над костяшками пальцев, как корни над камнями; изо рта плохо пахло.

Она вышла из комнаты и вернулась с разрумянившимся лицом, в резиновых сапогах и плаще из клеенчатой холстины.

— Это папин друг, — шепнула она, как только они отошли на некоторое расстояние. — Теперь вы видите, что мне пришлось вынести. Он хочет, чтобы я отдала ему все книги — даром!

— Лучше продайте, — сказал Амос.

Они поднимались под дождем овечьей тропой. Гора скрылась в тумане, бурные потоки текли по ней из облачной гряды. Он шагал впереди, раздвигая заросли утесника и папоротников, а она шла за ним ровно след в след.

Они остановились у скал, потом двинулись по старой грунтовке — рука об руку, разговаривая совершенно запросто, будто дружили с детства. Иногда она не могла разобрать какое-нибудь слово из его раднорского диалекта. Иногда он просил ее повторить сказанное. Но оба понимали, что перегородки, которая их разделяла, больше нет.

Амос рассказывал о своих планах, Мэри — о своих страхах. Он мечтал о жене и ферме, а еще о сыновьях, которым можно будет ее передать. Она боялась, что станет обузой родственникам и придется пойти в услужение. Мэри была так счастлива в Индии — пока была жива мать. Она

рассказала ему о миссии и о страшных днях перед муссонами:

— Было так жарко. Мы просто задыхались!

— А мне наоборот, когда батрачил зимой, согреться негде было, разве только в пабе у огня, — отозвался он.

— Может, мне вернуться в Индию? — проговорила она, но так неуверенно, что он сразу понял: ей этого совсем не хочется.

В облаках появился разрыв, и на торфяные болота косо упали темно-желтые лучи света.

— Глядите! — вдруг сказал он и показал на жаворонка, который кружил прямо у них над головами, взлетая с каждым витком все выше и выше, будто спешил навстречу солнцу. — У него, знать, гнездо где-то рядом.

Она вдруг услышала легкий хруст и увидела желтое пятнышко на мыске сапога.

— Что это?! — испугалась она. — Что я натворила!

Оказалось, она наступила на гнездо жаворонка и передавила все яйца. Мэри села на кустик трав, по щекам текли слезы. Она прекратила плакать только после того, как он приобнял ее за плечи.

У пруда Маун они немного развлеклись бросанием плоских камушков, соревнуясь, чей

продержится дольше, отскакивая рикошетом от поверхности темной воды. Из камышовых зарослей вылетали, оглашая окрестности жалобными криками, озерные чайки. Когда он подхватил ее на руки, чтобы перенести через заболоченное место, она ощутила себя невесомой, как повисший над землей туман.

Вернувшись к пасторскому дому, они снова стали обращаться друг к другу холодными, короткими фразами, словно умиротворяя тень ее отца. Профессор так и сидел зарывшись в книги.

— Лучше продайте, — повторил Амос, оставляя ее на крыльце.

Она кивнула и не стала махать на прощанье. Теперь она знала, когда и зачем он явится в следующий раз.

Он приехал днем в субботу на гнедом уэльском кобе[10], держа за поводья пегого мерина с дамским седлом. Она окликнула его из спальни, как только заслышала стук копыт. Он прокричал:

— Скорее! На Черной горе сдают в аренду ферму.

— Лечу! — отозвалась она и сбежала по лестнице в костюме для верховой езды, сшитом из

---

[10] Примечания: 10

Коб — порода коренастых верховых лошадей.

сизо-серой индийской хлопчатой ткани. Соломенная шляпка, увенчанная розами, была подвязана под подбородком розовой атласной лентой.

Амос раскошелился на новую пару сапог, и Мэри, увидев их, ахнула:

— Боже, что за сапоги!

Среди узких тропинок притаились летние запахи. На живых изгородях жимолость переплелась с кустами шиповника, аистник пестрел голубыми цветами, а наперстянка — багряными. По дворам расхаживали вперевалку утки, лаяли овчарки, гуси шипели и тянули шеи. Амос отломил ветку бузины, чтобы отгонять слепней.

Они проехали мимо дома со шток-розами, высаженными у крыльца, и с огненными настурциями по бордюру. Старуха в волнистом капоре подняла глаза от вязанья и проговорила что-то хриплым голосом, обращаясь к наездникам.

— Старая Мэри Проссер, — шепнул он, когда они немного отъехали. — Говорят, она колдунья.

Пересекли дорогу на Херефорд у леса Фиддлерс-Элбоу; пересекли железнодорожные пути, потом начали подниматься по тропе каменотесов, что зигзагом вьется крутыми уступами Кефна.

У края сосновой посадки сделали остановку, чтобы лошади отдохнули, и оглянулись назад,

на расстилавшийся внизу Рулен: на городскую мешанину из шиферных кровель, на полуразвалившиеся стены замка, на шпиль Мемориала Бикертона и флюгер церкви, блестевший в бледном свете солнца. В саду викария горел костер, шлейф серого древесного дыма взлетал выше печных труб и уносился прочь вдоль речной долины.

В сосняке было холодно и темно. Лошади скользили копытами по прошлогодней хвое. Звенели комары, валежник желтел оборчатыми наростами древесных грибов. Мэри дрожала, всматриваясь в длинные проходы между стволами сосен:

— Здесь все мертвое.

Они доехали до края рощи, выбрались на свет и двинулись дальше по открытому склону; лошади, почуяв под ногами траву, перешли на галоп — из-под копыт, будто ласточки, взлетали в воздух серпики дерна.

Они галопом преодолели холм, рысью спустились в долину, усеянную фермами, миновали ряды поздно зацветших боярышников и выехали на улицу Леркенхоуп. Всякий раз, как они проезжали мимо чьих-нибудь ворот, Амос коротко сообщал о хозяине дома: «Морган из Бейли, боль-

шой чистюля»; «Уильямс Врон, женат на кузине»; «Гриффитс из Кум-Кринглина, папаша его от пьянства помер».

В поле мальчишки собирали сено в стога, у дороги краснолицый селянин в рубахе, расстегнутой до пупа, затачивал косу.

— Милая у тебя подружка! — подмигнул он Амосу, когда они поравнялись с ним.

У ручья дали лошадям напиться, потом постояли на мосту, глядя, как колышутся водоросли и быстро идет против течения радужная форель. Они проехали еще полмили, и Амос распахнул замшелые ворота. Дальше вилась проселочная дорога, поднимаясь по склону к дому, рядом с которым росла группка лиственниц.

— Видение, так его тут называют, — сказал Амос. — Сто двадцать акров, и половина папоротником заросла.

5

Видение было дальней фермой поместья Леркенхоуп, принадлежавшего Бикертонам — старинному католическому семейству, которое разбогатело на торговле с Вест-Индией.

Прежний арендатор умер в 1896 году, оставив старую незамужнюю сестру, которая продолжала жить на ферме до тех пор, пока ее не увезли в сумасшедший дом. Во дворе сквозь дощатый кузов телеги пророс молодой ясень. Крыши хозяйственных построек желтели соцветиями очитка, навозная куча заросла травой. В дальнем конце сада стояла сложенная из кирпичей уборная. Амосу пришлось сбивать крапиву, чтобы расчистить подход к крыльцу.

Из-за сломанной петли дверь не поддавалась; когда Амос приподнял ее, навстречу им подуло чем-то зловонным.

Войдя в кухню, они увидели гниющий в углу узел со старухиным добром. Штукатурка осы́палась, на плитах пола застыла пленка грязной слизи. Галки свили гнездо на печной трубе, забив ветками дымоход и каминную решетку. Стол стоял накрытым для чаепития на двоих, но чашки

заплела паутина, а от скатерти остались одни лохмотья.

Амос подобрал салфетку и смахнул мышиный помет.

— Похоже, тут крысы! — весело сказала Мэри, когда со стропил донеслись звуки возни. — Но крыс я не боюсь. В Индии к ним быстро привыкаешь.

В одной из комнат она нашла старую тряпичную куклу и со смехом принесла Амосу. Он хотел было выбросить ее из окна, но Мэри поймала его руку и сказала:

— Не надо, пусть останется.

Они вышли наружу — осмотреть хозяйственные постройки и плодовый сад. Терносливы должны дать хороший урожай, сказал он, а вот яблони придется высадить новые. Сквозь колючки она разглядела ряд трухлявых ульев.

— Кажется, мне предстоит узнать пчелиные тайны.

Он помог ей перебраться по приступке через забор, и они стали подниматься вверх, пересекая два поля, заросшие утесником и терновником. Солнце уже закатилось за крутой склон, над его краем тянулись завитушки медно-красных облаков. Она исколола лодыжки о колючие

кустарники, и сквозь белые чулки выступили бусинки крови. Он предложил понести ее на руках, но она сказала:

— Ничего страшного.

Когда они вернулись к лошадям, луна была уже высоко. Лунный свет падал на открытую шею Мэри, соловей наполнял темноту мелодичными трелями. Амос обнял ее за талию и спросил:

— Ты бы смогла здесь жить?

— Смогла бы, — ответила она и повернула к нему лицо, пока он сцеплял свои руки у нее на пояснице.

На следующее утро она пришла к руленскому викарию и попросила его сделать оповещение о предстоящем браке: палец ей оплетало кольцо из травинок.

Священник — он как раз завтракал — пролил яйцо себе на сутану и пробормотал:

— Ваш отец не одобрил бы этот брак.

Он посоветовал ей подождать полгода, прежде чем принимать решение, но она поджала губы и ответила:

— Зима надвигается. Нам нельзя терять время.

В тот же день несколько горожанок наблюдали за тем, как Амос помогает Мэри сесть в двуколку. Жена галантерейщика сердито прищурилась,

словно вдевала нитку в иголку, и изрекла:

— Уже на пятом месяце.

Другая сказала:

— Стыдоба! — и все они принялись наперебой удивляться, что же такое нашел Амос Джонс в «этой нахалке».

В понедельник на заре, когда не видно было еще ни души, Мэри уже стояла у конторы Леркенхоупского поместья и дожидалась управляющего Бикертонов, чтобы обсудить с ним условия аренды участка. Она пришла одна. Амос с трудом держал себя в руках, когда нужно было близко общаться с «благородными».

Управляющий — дальний родственник помещиков, красномордый любитель выпивки — был бесславно уволен со службы в индийской армии и лишился пенсиона. Бикертоны платили ему скудное жалованье, но, так как он неплохо справлялся со счетами и ловко обращался с «наглыми» арендаторами, ему позволялось стрелять барских фазанов и пить барский портвейн.

Он любил изображать большого весельчака и потому, когда Мэри изложила цель своего визита, засунул большие пальцы под жилетку и расхохотался:

— Значит, хотите переметнуться к крестьянам?

Ха-ха! Я бы на вашем месте подумал!

Она вспыхнула. Высоко на стене висела траченная молью оскаленная лисья морда. Управляющий побарабанил пальцами по обтянутой кожей столешнице.

— Видение! — отрывисто проговорил он. — Даже не помню, бывал ли я там. Даже не помню, где оно находится! Давайте посмотрим на карте.

Он с видимым трудом поднялся и, взяв ее за руку, повел к карте поместья, целиком занимавшей одну из стен комнаты. Кончики пальцев у него были темные от никотина.

Он стал совсем рядом и хрипло проговорил:

— Это на горе, там же холодно, разве нет?

— Зато безопаснее, чем на равнине, — возразила она и высвободила свои пальцы из его руки.

Он снова уселся. Мэри он сесть не предложил. Пробурчал что-то про «других желающих» и велел четыре месяца ждать ответа от полковника Бикертона.

— Боюсь, это слишком долго, — улыбнулась она и тихо ушла.

Она прошлась обратно к Северному охотничьему домику, попросила у жены смотрителя листок бумаги и написала записку для миссис Бикертон, с которой однажды встречалась лично, еще

вместе с отцом. Управляющий пришел в ярость, когда узнал, что из замка отправили лакея, чтобы пригласить Мэри к чаю в тот же день.

Миссис Бикертон была хрупкой светлокожей дамой лет под сорок. В юности она занималась живописью и жила во Флоренции. Потом, когда талант, казалось, покинул ее, она вышла замуж за красивого, но безмозглого кавалерийского офицера — то ли из-за его коллекции старых мастеров, то ли просто назло друзьям-художникам.

Недавно полковник отправился в отставку, так и не сделав ни единого выстрела по врагу. У супругов был сын Реджи и две дочери — Нэнси и Изабелла. Дворецкий провел Мэри через ворота розария.

Миссис Бикертон пряталась от жаркого солнца, сидя в тени ливанского кедра возле бамбукового чайного столика. По южному фасаду взбирались розовые вьющиеся розы; на всех окнах были опущены голландские шторы, и замок выглядел необитаемым. Это был «фальшивый» замок — его построили в 1820-е годы. С другой лужайки долетал стук крокетных мячей и молодой, звонкий смех, говорящий о достатке.

— По-китайски или по-индийски?

Миссис Бикертон пришлось повторить свой

вопрос. Три нитки жемчуга опускались на оборки ее серой шифоновой блузки.

— По-индийски, — рассеянно ответила гостья. А когда хозяйка наливала чай из серебряного чайника, услышала новый вопрос:

— Вы уверены, что сделали правильный выбор?

— Уверена, — ответила она и закусила губу.

Лицо у миссис Бикертон погрустнело и вытянулось, рука дрожала. Она хотела предложить Мэри место гувернантки при своих детях, но спорить было бесполезно.

— Я поговорю с мужем, — сказала она. — На ферму можете рассчитывать.

Когда ворота распахнулись, Мэри на миг задумалась: смогут ли такие розы цвести так же вольно там — на высоте, на *ее* стороне горы? До конца месяца они с Амосом успели настроить столько планов, что им должно было хватить на всю оставшуюся жизнь.

В отцовской библиотеке оказалось несколько редких изданий. Мэри продала их букинисту из Оксфорда, и вырученных денег хватило на арендную плату на два года вперед, а еще на покупку пары ломовых лошадей, четырех молочных коров, двадцати голов нагульного скота, плуга и

подержанной соломорезки. Договор об аренде был подписан. Дом вычищен и побелен, входная дверь выкрашена коричневой краской. Амос прибил к притолоке ветку рябины «от дурного глаза» и купил стаю белых голубей для голубятни.

Вместе с отцом они привезли из Брин-Драйнога пианино и старинную кровать, которую еле затащили на второй этаж («адская работенка»). Позже, сидя в пабе, старый Сэм хвастался приятелям, что Видение — настоящее «Божье гнездышко».

Невеста боялась только одного: что из Челтнема может примчаться ее сестра и испортить свадьбу. Мэри с облегчением вздохнула, читая от нее письмо с отказом приехать, а добравшись до слов «осрамила себя», разразилась неудержимым смехом и швырнула листок в огонь вместе с остатками отцовских бумаг.

Когда ударили первые морозы, новоиспеченная миссис Джонс уже была беременна.

6

В первые месяцы супружества она занималась благоустройством дома.

Зима выдалась суровая. С января по апрель снег на горе не таял, и замерзшие листья наперстянок висели поникшими, будто уши дохлых ослов. Каждое утро Мэри приникала к окну спальни, всматриваясь в лиственницы: черные они или белые от инея? Скотина в мороз замирала и затихала, и стрекот швейной машинки долетал до самого загона для окота овец.

Мэри сшила кретоновый полог для кровати и зеленые плюшевые шторы для гостиной. Разрезала старую нижнюю юбку из красной фланели и сделала лоскутный коврик с розами, чтобы положить перед кухонным очагом. После ужина она садилась на скамью с высокой прямой спинкой, раскладывала вязанье на коленях и бралась за крючок, и Амос не мог налюбоваться на своего умелого паучка.

Сам он работал в любую погоду — пахал землю, ставил изгороди, рыл канавы, прокладывал дренажные трубы, возводил стены методом сухой кладки. В шесть часов вечера, усталый как собака

и грязный, он возвращался в дом — к кружке горячего чая и теплым домашним тапочкам. Иногда он приходил промокший до нитки, и от него до самого потолка взвивались клубы пара.

Она даже не представляла, насколько он вынослив и упрям.

— Сними мокрое, — распекала она его. — А не то схватишь воспаление легких и умрешь.

— Обязательно, — усмехался он и выпускал ей в лицо колечки табачного дыма.

С ней он обращался как с хрупким предметом, который достался ему случайно и мог запросто сломаться в его руках. Он очень боялся ненароком сделать ей больно или дать волю своему горячему норову. Один вид ее корсета из китового уса вызывал у него жалость и умиление.

До женитьбы он обливался раз в неделю в помывочной. Теперь же, боясь оскорбить ее нежные чувства, завел обычай приносить горячую воду прямо в спальню.

Под гравюрой Холмана Ханта на умывальнике стояли кувшин и миска минтоновского фарфора с узором из сплетенных листьев плюща. И перед тем, как надеть ночную сорочку, Амос раздевался до пояса и намыливал себе грудь и подмышки. Рядом с мыльницей горела свеча, и Мэри, бывало,

откидывалась на подушку и следила за отсветами пламени: в бакенбардах ее мужа мерцали красные искорки, вокруг плеч появлялся золотой ободок, а по потолку двигалась большая черная тень.

Когда он догадывался, что она наблюдает за ним сквозь полог, ему становилось неловко — он наскоро выжимал губку, задувал свечу и вместе с ароматом лавандового мыла приносил с собой в постель запах скотного двора.

Утром в воскресенье они ездили в Леркенхоуп принимать святое причастие в приходской церкви. Мэри благоговейно держала облатку на влажном языке: «Тело Христово да сохранит меня в жизнь вечную…» Благоговейно подносила к губам чашу с вином: «Кровь Христова да сохранит меня в жизнь вечную…» Потом, устремляя взгляд на латунный крест в алтаре, пыталась сосредоточиться на Страстях Господних, но мысли ее принимались блуждать и возвращались к крепкому, живому телу мужа, сидевшего рядом.

Большинство их соседей ходили в неангликанские молельни — их недоверие к англичанам было на много веков старше религиозного нонконформизма и восходило еще к временам пограничных баронов. С особенной подозритель-

ностью относились к Мэри здешние женщины. Но вскоре она завоевала их симпатии.

Домашний быт, который она обустроила, стал предметом зависти всей долины, и по воскресеньям к вечернему чаепитию — если только не было гололеда — ко двору Видения подъезжали четыре или пять двуколок, запряженных пони. Завсегдатаями в доме новоселов были Реувены-Джонсы, Рут и Дай Морган из Бейли; молодой Хейнс из Красного Дарена и Уоткинс Гроб — рябой от оспы, косолапый бедолага, который приходил, ковыляя, с другой стороны горы, из Крайг-и-Феду.

Гости являлись с чинными лицами, с Библией под мышкой. Но вся их набожность мигом улетучивалась, стоило им взяться за испеченный Мэри фруктовый пирог, или за узкие длинные коричные тосты, или за коржики, намазанные густыми сливками и земляничным джемом.

На этих чаепитиях Мэри выступала полноправной хозяйкой, и ей казалось, будто она уже много лет замужем за фермером, а тем делам, которые ежедневно требовали ее труда, — сбить масло, напоить телят, задать корм птице — она не научилась совсем недавно, а знала их сызмальства. Она радостно щебетала о парше, о коликах или о

воспалении копыт.

— Ума не приложу, — говорила она, — отчего в этом году кормовая свекла такая мелкая уродилась.

Или:

— У нас так мало сена, не знаю даже, хватит ли на зиму.

Амос, сидевший на другом конце стола, слыша такое, сгорал от стыда. Ему не нравилось, что его умная жена строит из себя дурочку. А она, если замечала, что он с трудом скрывает досаду, сразу же меняла тему и принималась развлекать гостей акварелями из своего индийского альбома.

Она показывала им Тадж-Махал, речные пристани, где сжигали покойников, и голых йогов, сидящих на гвоздях.

— А слоны — они очень большие? — спрашивал Уоткинс Гроб.

— В три раза крупнее ломовой лошади, — отвечала она, и калека корчился от смеха, представляя себе такую невидаль.

Индия была слишком далекой, большой и непостижимой страной, чтобы расшевелить в валлийцах воображение. Однако — Амос никогда не уставал напоминать об этом гостям — Мэри ступала по стопам самого Господа: своими

глазами видела нарцисс Саронский[11]; для нее Кармель, Фавор, Хеврон и Галилея были такими же зримыми и осязаемыми, как, скажем, Рулен, Гласкум или Лланфихангел-нант-Мелан.

Большинство раднорширских фермеров знали Библию вдоль и поперек и предпочитали Ветхий Завет Новому, потому что в Ветхом Завете больше говорилось о скотоводах. А Мэри так ярко, так живо рассказывала о Святой земле, что у гостей перед глазами проплывали их любимые персонажи: Руфь с колосьями на поле, Иаков с Исавом, Иосиф в разноцветном плаще, Агарь-изгнанница, мучимая жаждой в тени колючего кустарника.

Конечно, не все верили ее рассказам. Самой недоверчивой была ее свекровь, Ханна Джонс.

Они с Сэмом завели обычай являться без приглашения. Ханна, закутанная в черный платок с бахромой, нависала над столом, жадно поедала сэндвичи и вечно нагоняла на всех тоску или чувство неловкости.

На одном из воскресных чаепитий она вдруг прервала Мэри на полуслове и спросила, не бывала ли она «случаем» в Вавилоне.

— Нет, мама. Вавилон же не на Святой земле.

---

[11] Примечания: 11
«Я нарцисс Саронский, лилия долин!» (Песн. 2: 1).

— Конечно, — поддакнул Хейнс из Красного Дарена. — Он не на Святой земле.

Сколько бы Мэри ни старалась угодить свекрови, старуха невзлюбила невестку с первого взгляда. Она испортила свадебный завтрак, назвав молодую «ваша светлость». А первый семейный обед закончился слезами, когда Ханна выставила скрюченный палец и с глумливой усмешкой изрекла:

— Старовата уже детей вынашивать, а?

Ни разу не было такого, чтобы она заявилась к молодым и не нашла к чему придраться: то к салфеткам, свернутым в виде кувшинок, то к банке для повидла, то к соусу из каперсов для баранины. А после того как Ханна высмеяла серебряную подставку для тостов, Амос велел жене убрать этот предмет подальше, «чтобы не стать посмешищем».

Он и сам стал бояться визитов матери. Однажды она ткнула наконечником зонтика любимого терьера Мэри, и с того дня песик всегда скалил на старуху зубы и норовил юркнуть ей под юбку и цапнуть за лодыжку.

Чаша терпения переполнилась, когда Ханна выхватила из рук невестки масло и крикнула:

— Не пускай хорошее масло на выпечку!

Мэри, чьи нервы и так были на пределе, не выдержала и крикнула в ответ:

— Ну а вы на что его пустите? На себя, наверное?

Амос, хоть и любил жену, хоть и понимал, что права она, бросался на защиту матери.

— Мама хочет как лучше, — говорил он.

Или:

— Ей несладко в жизни пришлось.

А когда Ханна отводила его в сторонку и принималась жаловаться на мотовство Мэри и на ее «упрямство», он не прерывал ее тирады и поневоле соглашался с ее словами.

Правда заключалась в том, что все «благоустройства» Мэри доставляли ему не столько радость, сколько неудобство. Безукоризненно вымытый пол становился преградой для его грязной обуви. Камчатные скатерти делались укором его застольным манерам. Романы, которые Мэри читала вслух после ужина, нагоняли на него скуку, а уж еда, приготовленная ею, часто оказывалась на его вкус попросту несъедобна.

В качестве свадебного подарка миссис Бикер-

тон прислала «Домоводство» миссис Битон[12], и хотя собранные там рецепты совершенно не годились для деревенской кухни, Мэри прочитала книгу от корки до корки и стала заранее планировать меню.

И вот, вместо вполне предсказуемых вареных окороков, пудингов и картофеля она подавала на стол кушанья, о которых ее муж никогда даже не слышал: фрикасе из цыпленка или рагу из зайчатины, а то и вовсе баранину под рябиновым соусом. Когда Амос стал жаловаться на запоры, Мэри сказала: «Значит, нам нужно выращивать салатные овощи», — и принялась составлять список семян для рассады. Но после того, как она предложила отвести целую грядку под спаржу, он чуть не впал в ярость. Да что она, в самом-то деле? Неужто воображает, что за благородного вышла?

Буря грянула, когда Мэри решила поэкспериментировать с мягким индийским карри. Амос начал было есть — и не смог, выплюнул.

— Не нужна мне твоя паршивая индийская дрянь, — прорычал он и грохнул тарелку с едой прямо на пол.

---

[12] Примечания: 12

Изабелла Битон (1836–1865) — английская домохозяйка, выпустившая в 1861 году кулинарную книгу, которая пользовалась огромным спросом в викторианскую эпоху.

Она не стала подбирать куски и осколки. Побежала наверх в спальню и уткнулась лицом в подушку. Муж не пошел за ней следом и не попросил прощения наутро. Он завел обыкновение спать под открытым небом, а вечерами надолго уходил куда-то с бутылкой в кармане. Однажды дождливым вечером заявился домой пьяный. Усевшись на стул, он с диким видом уставился на скатерть и то сжимал, то разжимал кулаки. А потом встал и, качнувшись, двинулся к жене.

Она вся сжалась и выставила локоть:

— Не бей меня!

— Даже не думал, — промычал он и снова выскочил в темноту.

В конце апреля в саду набухали розовые почки, а над горой козырьком нависало облако.

Мэри дрожала у каминной решетки и слушала неустанный плеск дождя. Дом впитывал влагу, как губка. Сквозь слой побелки проступали безобразные круги плесени, обои вспучились.

Бывали дни, когда ей казалось, что она уже много лет просидела в этой сырой, сумрачной комнате, в западне с раздражительным мужчиной. Она смотрела на свои руки, все в трещинах и волдырях, и думала о том, что преждевременно состарится, очерствеет и подурнеет. Она даже

забыла, что когда-то у нее были отец и мать. Краски Индии давно померкли, и Мэри стала отождествлять себя с одиноким, изломанным ветрами терновым кустом — из окна виднелся его силуэт на гребне утеса.

7

А потом пришла хорошая погода.

Восемнадцатого мая, хотя день был не воскресный, с дальней стороны горы донесся звон церковных колоколов. Амос запряг пони, и они поехали в Рулен, где у каждого окна развевался британский флаг в честь снятия осады Мафекинга[13]. Играл духовой оркестр, по Широкой улице шли строем школьники, неся портреты королевы и Баден-Пауэлла[14]. Даже собакам повязали на ошейники патриотические ленточки.

Когда их двуколка поравнялась с шествием, Мэри ткнула мужа в ребра, и он улыбнулся.

— Как зима, так я с ума схожу. — Голос его звучал заискивающе. — Бывает такая зима, как будто и не кончится никогда.

— Ну уж следующей зимой нам будет о ком заботиться, — сказала Мэри.

---

[13] Примечания: 13

Осада Мафекинга в Южной Африке, длившаяся с октября 1899-го по май 1900 года в ходе англо-бурской войны, закончилась поражением буров.

[14] Примечания: 14

Роберт Баден-Пауэлл (1857–1941) — британский военачальник, комендант британской крепости Мафекинг, организатор скаутских отрядов во время осады бурами.

Он бережно поцеловал ее в лоб, а она обняла его за шею.

Утром, когда она проснулась, ветерок шевелил тюлевые занавески, на груше заливался дрозд, на крыше ворковали голуби, а по постельному покрывалу бегали солнечные зайчики. Амос еще спал. Его ситцевая ночная рубашка расстегнулась, обнажив грудь. Мэри искоса поглядывала на его вздымавшуюся грудную клетку, на рыжие волоски вокруг сосков, на розовую вмятину от запонки, на ту пограничную линию, где загорелая шея переходила в молочно-белую грудь.

Она на секунду положила руку на плечо мужа.

«Подумать только, я могла его бросить». Эти слова, так и не выговоренные вслух, заставили ее покраснеть и отвернуться к стене.

Амос теперь думал только о будущем малыше — и мысленно представлял себе крепкого паренька, который будет ловко чистить коровник.

Мэри тоже надеялась, что родится мальчик, и уже строила ему планы на будущее. Уж как-нибудь она сумеет отправить его в школу-пансион. Он будет прилежно учиться. А когда вырастет, станет государственным деятелем, или адвокатом, или хирургом — и будет спасать жизни людям.

Как-то раз, идя по улице, она рассеянно притянула к себе ветку ясеня и, глядя на крохотные прозрачные листики, вылезающие из дымчато-черных почек, напомнила себе о том, что и *он* тоже тянется к солнечному свету.

Ее близкой подругой стала Рут Морган из Бейли — маленькая неказистая женщина с простым лицом и светлыми волосами, собранными в узел и спрятанными под чепец. Она была лучшей повитухой в долине и помогала Мэри подготовить приданое для малыша.

В солнечные дни они садились на плетеные кресла в садике перед домом и шили подгузники и пеленки, подрубали безрукавки, юбочки и чепчики или вязали из голубой шерсти пинетки, в которые потом полагалось продеть завязки — атласные ленточки.

Иногда, чтобы поупражнять затекшие руки, Мэри играла вальсы Шопена на фортепиано, которое отчаянно нуждалось в настройке. Ее пальцы бегали по клавишам, и стаи нестройных аккордов вылетали из окна ввысь к голубям. Рут Морган прочувствованно вздыхала и говорила, что лучшей музыки нет в целом свете.

Когда приданое было готово, они разложили все вещицы перед Амосом, чтобы и он полюбовался.

— Но это же не для мальчишки, — возмутился он.

— Да нет же! — вскричали обе в унисон. — Именно для мальчишки!

Через две недели пришел подсобить со стрижкой овец Сэм Телега, да так и остался на ферме — помогать с огородом. Сеял, мотыжил, пикировал рассаду салата-латука, подрезал палки для гороха и опоры для фасоли. Однажды они с Мэри вырядили пугало в один из тропических костюмов миссионера.

У Сэма было лицо грустного старого клоуна.

После пятидесяти лет потасовок с мордобоями нос у него совсем сплющился. В нижней челюсти торчал одинокий резец. Белки глаз покрывала густая сеть красных жилок, а веки, казалось, шуршали при моргании. Присутствие хорошенькой женщины приводило его в состояние безудержной игривости.

Мэри приходились по душе его любезности, она смеялась над его небылицами — ведь он тоже «повидал мир». Каждое утро он собирал для нее букет, обрывая цветы с ее же клумбы перед домом, и каждый вечер, когда Амос проходил мимо него, направляясь к лестнице, старик потирал руки и кудахтал:

— Везунчик! Ух, был бы я помоложе!..

У него сохранилась старая скрипка — еще с тех пор, как он перегонял скот, — и, вынимая ее из футляра, он ласкал гладкую древесину, будто женское тело. Он умел сдвигать брови, как делают настоящие концертирующие скрипачи, и извлекать из инструмента дрожащие и рыдающие звуки. Когда он брал слишком высокие ноты, терьер Мэри задирал морду кверху и принимался выть.

Изредка, если Амос отлучался, они играли дуэтом — баллады «Лорд Томас и Прекрасная Элеонора» или «Неспокойная могила», — а однажды он застал их танцующими польку на первом этаже.

— А ну-ка перестань! — закричал он на жену. — Ребенку хочешь навредить?

Ханна же так злилась на поведение Сэма, что даже захворала.

До появления Мэри ей стоило только кликнуть: «Сэм!» — и ее муж, понурив голову, сразу же бормотал: «Да, милая!» и шел выполнять очередное ее поручение. Теперь же все руленцы видели, как она несется к «Красному дракону», оглашая улицу истошными воплями: «Сэ-э-эм!.. Сэ-э-эм!..», а Сэм между тем бродил где-то по горному склону

и собирал грибы для невестки.

Однажды душным вечером — шла первая неделя июля — с улицы донеслось громыханье колесных ободьев, и к дому подъехал Хьюз Возчик. Он привез Ханну и пару ее узлов с пожитками. Амос приделывал новые петли к двери стойла. От неожиданности он выронил отвертку и спросил мать, зачем она приехала.

Она хмуро ответила:

— Мне нужно быть здесь, у постели.

Через день или два Мэри проснулась с приступом тошноты и с болями в спине — вдоль позвоночника так и стреляло. Когда Амос уже собирался спускаться, она схватила его за руку и взмолилась:

— Пожалуйста, попроси ее уехать. Без нее мне сразу станет лучше. Прошу тебя. Иначе…

— Нет, — ответил он, откидывая щеколду. — Мама останется здесь. Она нам не чужая.

Весь июль стоял страшный зной. Ветер дул с востока, небо сверкало суровой голубизной без единого облачка. Колодец с насосом пересох. Грязь растрескалась. В крапиве роились и жужжали слепни, а спина у Мэри болела все сильнее. Ночь за ночью ей снилось одно и то же — кровь и настурции.

Она чувствовала, как силы покидают ее. Ей казалось, что внутри у нее что-то лопнуло; ее стали преследовать мысли, что ребенок родится с уродством или мертвым или что сама она умрет родами. Иногда Мэри жалела, что не умерла еще в Индии, помогая бедным. Обложившись подушками, она молилась Спасителю, прося забрать у нее жизнь, но только — о Господи, Господи! — оставить в живых младенца.

Старая Ханна просиживала самые жаркие часы в кухне. Дрожа под своим черным платком, она вязала — медленно-премедленно — пару длинных белых шерстяных носков. Когда Амос забил до смерти гадюку, гревшуюся на солнышке возле крыльца, старуха скривила рот и изрекла:

— Это к смерти в семье!

Пятнадцатого июля у Мэри был день рождения, а так как ей стало немного лучше, она спустилась из спальни и попыталась завязать беседу со свекровью. Ханна прикрыла глаза и сказала:

— Почитай мне вслух!

— Что же вам почитать, мама?

— Про венки.

Мэри взяла номер «Херефорд Таймс» и нашла раздел объявлений о похоронах:

— «Отпевание мисс Вайолет Гух, трагически

погибшей в прошлый четверг в возрасте семнадцати лет, состоялось в церкви Святого Асафа…»

— Я же сказала: венки!

— Да, мама, — отозвалась Мэри и начала с другого места: — «Венок белых лилий от тети Вай и дяди Артура: „Прощай навеки!..“ Венок желтых роз: „На вечную память от Поппет, Винни и Стэнли“… Искусственный венок в стеклянном футляре: „От торгового дома Гусон, помним, скорбим“… Букет роз Глуар де Дижон: „Спи спокойно, моя дорогая. От тети Мэвис, отель «Мостин», Лландриндод“… Букет полевых цветов: „Лишь спокойной ночи, любимая, не прощай! Твоя любящая сестра Сисси“».

— Ну, продолжай! — Ханна приоткрыла один глаз. — Что же ты замолчала? Давай! Дочитывай!

— Да, мама… «Гроб из красивого полированного дуба с латунной оснасткой был изготовлен фирмой „Ллойд и Ллойд“ из Престина; на крышке выведена следующая надпись: „Арфа! Великолепная арфа! С порванной струной!“».

Старуха мечтательно вздохнула.

Приготовления к появлению на свет младенца приводили Сэма в такое волнение, что его можно было принять за будущего отца. Он вечно придумывал, как бы еще угодить Мэри: собственно,

только при виде его лица она и улыбалась. Он истратил свои последние сбережения на колыбель-качалку, которую заказал Уоткинсу Гробу. Колыбель была выкрашена красной краской, с синими и белыми полосками, и увенчана четырьмя резными навершиями в форме певчих птиц.

— Папа, ну зачем же вы… — Мэри хлопала в ладоши, глядя, как старик пробует качать люльку на кухонном полу.

— Да ей не колыбель понадобится, а гроб, — проворчала Ханна и опять уткнулась в свое вязание.

Вот уже пятьдесят с лишним лет у нее лежала (как часть приданого к свадьбе) одна-единственная, ни разу не стиранная, белая хлопчатобумажная ночная сорочка, в которую ее следовало обрядить на похороны, вместе с теми самыми белыми носками. Первого августа она дошла до пятки на втором носке, и с того дня вязала все медленнее и медленнее, вздыхая между петлями и сипло приговаривая: «Уже недолго осталось!»

Кожа ее, которая и в лучшие времена цветом напоминала бумагу, теперь сделалась совсем прозрачной. Дышала старуха хрипло и прерывисто, языком ворочала с трудом. Всем, кроме Амоса, было ясно: она приехала сюда умирать.

Восьмого августа погода наконец переме-

нилась. Из-за горы выглянули и поползли по небу, громоздясь друг на друга, дымчатые облака с серебристыми верхушками. В шесть утра Амос и Дай Морган косили остатки овса. Все птицы умолкли, и воцарилась тишина, какая обычно предшествует буре. В воздухе метался чертополоховый пух. Вдруг всю долину огласил пронзительный вопль.

Начались схватки. Наверху, в спальне, Мэри корчилась, стонала, сбрасывала простыню и кусала подушку. Рут Морган как могла успокаивала роженицу. Сэм хлопотал на кухне, кипятил воду. Ханна сидела на скамье и вела счет петлям.

Амос оседлал коня, пустив его галопом, перевалил через гору и сам не свой поскакал по тропе каменотесов в Рулен.

— Мужайся, приятель! — проговорил доктор Булмер, разделив хирургические щипцы на две половины и рассовав их по голенищам своих сапог для верховой езды. Затем, засунув флягу с настоем спорыньи в один карман и бутылку с хлороформом в другой, он застегнул воротник макинтоша, и оба помчались навстречу надвигавшейся грозе.

Когда они привязывали лошадей к садовой ограде, дождь уже шумно хлестал по черепичной

кровле.

Амос пытался было пройти наверх, но врач оттолкнул его, и он рухнул в кресло-качалку, как будто его сильно ударили в грудь.

— Всемилостивый Боже, пусть только родится мальчик, — простонал он. — И я больше никогда к ней не прикоснусь.

Он схватился за передник Рут Морган, когда она проходила мимо с кувшином воды.

— Она не умирает? — жалобно промычал он, но та только стряхнула его руку и велела не молоть чепуху.

Через двадцать минут дверь спальни распахнулась, и из глубины донесся голос:

— Есть в доме еще газеты? Клеенка? Что угодно!

— Это мальчик?

— Целых два!

В ту ночь Ханна довязала второй носок, а три дня спустя умерла.

8

Первое воспоминание близнецов относилось к тому дню, когда их укусила оса, причем оба запомнили это происшествие одинаково хорошо.

Они сидели на высоких детских стульчиках для кормления за чайным столиком. Наверное, это было время вечернего чаепития, потому что солнечный свет вливался в кухню с запада, отскакивая от клеенки и заставляя братьев мигать. Пожалуй, дело было осенью, возможно, в октябре, когда осы делаются сонными. В небе за окном застыла сорока, гроздья красной рябины колыхались на ветру. На столе лежали куски хлеба, намазанные блестящим ярко-желтым маслом. Мэри засовывала в рот Льюису ложку с яичным желтком, а Бенджамин, в припадке ревности размахивая руками, чтобы привлечь внимание к себе, задел левой осу и был ужален.

Мэри полезла в аптечный шкафчик за ватой и нашатырным спиртом, протерла пострадавшую руку и, глядя, как место укуса раздувается и краснеет, стала приговаривать:

— Терпи, малыш! Терпи!

Но Бенджамин и не думал плакать. Он про-

сто поджал губы и смотрел грустными серыми глазами на брата. Потому что не он, а Льюис хныкал в тот момент от боли и поглаживал собственную левую руку, будто раненую птичку. Он продолжал кукситься, пока не пришла пора укладываться спать. Лишь крепко обнявшись в кроватке, близнецы успокоились и уснули; с тех пор яйца стали прочно ассоциироваться у них с осами, и ко всему желтому они относились с большой подозрительностью.

Так Льюис впервые выказал способность оттягивать боль от брата на себя.

Он был более сильным из близнецов, к тому же первенцем.

Чтобы показать, кто именно появился на свет первым, доктор Булмер надрезал крестик у него на запястье; еще с колыбели Льюис проявлял себя как сильнейший. Он не боялся ни темноты, ни чужих. Любил устраивать кучу-малу с овчарками. Однажды, когда никого поблизости не было, он протиснулся через незапертую дверь в хлев, где Мэри и обнаружила его через несколько часов: он что-то лопотал быку.

Бенджамин, напротив, был страшный трус. Он вечно сосал большой палец, истошно вопил, если его разлучали с братом, и ему все время снились

кошмары: про то, как он угодил в сенорезку, или про то, что его топчут ломовые лошади. При этом всякий раз, когда ему действительно делалось больно — например, он падал в крапиву или ударялся обо что-нибудь ногой, — ревел за него Льюис.

Спали близнецы в тускло освещенной комнате, расположенной у лестничного пролета, на кровати-раскладушке на колесиках. Однажды утром (это тоже было одно из их самых ранних воспоминаний) они проснулись и заметили, что потолок приобрел какой-то непривычный серый оттенок. Поглядев в окно, мальчики увидели лиственницы в снегу и кружащиеся в воздухе снежинки.

Придя одевать детей, Мэри обнаружила, что они устроили на полу у кровати какое-то гнездо и свернулись там в клубок.

— Не валяйте дурака, — сказала она. — Это всего лишь снег.

— Нет, мама, — раздались два приглушенных голоска из-под одеял. — Это Боженька плюется.

Если не считать воскресных поездок в Леркенхоуп, их первым выездом из дома было посещение цветочной выставки в 1903 году — тогда еще пони испугался мертвого ежа на улице, а их мать

получила первый приз за красную стручковую фасоль.

До этого они никогда не видели такой толпы людей, их ошеломили крики, смех, хлопанье брезентовых навесов, звяканье конской сбруи — и незнакомцы, которые сажали их себе на плечи и возили по выставке.

Их нарядили в тот день в матросские костюмчики; и вскоре мальчики с серьезными серыми глазами и черными челками уже обросли восхищенными поклонниками. К ним подошел даже полковник Бикертон:

— Ого! Какие отважные морские волки! — проговорил он и ласково потрепал их под подбородком.

Потом полковник покатал их в своем фаэтоне, а когда он спросил, как же их зовут, Льюис ответил: «Бенджамин», а Бенджамин: «Льюис».

Потом они потерялись.

В четыре часа Амос пошел перетягивать канат в составе руленской команды, а Мэри, решившая поучаствовать в беге с яйцом в ложке, оставила близнецов под присмотром миссис Гриффитс из Кум-Кринглина.

Миссис Гриффитс была крупной, решительной женщиной с блестящим лицом. У нее самой были

племянницы-близняшки, и потому она считала себя большим знатоком по этой части. Поставив мальчиков перед собой, она осмотрела их с головы до ног и наконец нашла крошечную родинку за правым ухом Бенджамина.

— Ага! — торжествующе воскликнула она. — Я нашла отличие!

При этих словах Бенджамин бросил полный отчаяния взгляд на брата, тот схватил его за руку, оба занырнули в толпу зрителей и спрятались в павильоне.

Они затаились под большим столом, покрытым скатертью (под кабачками, получившими приз), и им так понравилось разглядывать оттуда ноги проходивших мимо дам и джентльменов, что они прятались еще долго, пока не услышали, как их зовет мама — голосом, более надтреснутым и тревожным, чем блеянье овцы.

По дороге домой, прижавшись друг к другу на заднем сиденье двуколки, мальчики на собственном тайном языке делились впечатлениями о сегодняшнем приключении. И когда Амос крикнул им: «Хватит болтать чепуху! — Льюис возразил ему: «Это не чепуха, папа. Это язык ангелов. Он нам родной».

Мэри пыталась вбить в их головы разницу

между понятиями «твое» и «мое». Она купила им воскресные костюмчики — серый твидовый для Льюиса и синий саржевый для Бенджамина. Они поносили их полчаса, а потом улизнули и вернулись, уже поменявшись пиджачками. Им непременно хотелось делиться абсолютно всем. Даже сэндвичи они ломали надвое и протягивали друг другу половинки.

Однажды на Рождество им подарили пушистого плюшевого мишку и суконного шалтай-болтая, но уже на следующий день они решили принести мишку в жертву, бросив его в костер, и отдать всю свою любовь Болтаю.

Болтай спал на их подушке, они таскали его с собой на прогулки. Но в марте — был серый ветреный день, на ветках деревьев висели сережки, а на улице стояла слякоть — братья решили, что и он встал между ними. Когда Мэри отвернулась, они посадили Болтая на мост и столкнули в ручей.

— Смотри, мама! — закричали они, и два безжалостных личика склонились над парапетом, глядя вослед черному предмету, уносившемуся вниз по течению.

— Стойте здесь! — велела она и бросилась было вдогонку, но оступилась и сама едва не упала в

пенистый бурый поток.

Бледная и растрепанная, она прибежала назад к близнецам и обняла их.

— Ничего, мама, — сказали они. — Этот Болтай никогда нам не нравился.

Не понравилась им и Ребекка — младшая сестренка, появившаяся на свет следующей осенью.

Братья сами долго докучали матери, выпрашивая сестричку. Когда же наконец она родилась, они поднялись по лестнице в спальню. Каждый держал по медно-красной хризантеме в рюмке для яйца, наполненной водой. Вдруг они увидели маленькое розовое существо, сердито кусающее Мэри за грудь. Они мигом побросали свои приношения на пол и скорее убежали вниз.

— Отдай ее куда-нибудь, — рыдали они.

Весь месяц они разговаривали только на своем тайном языке и целый год не могли примириться с присутствием малышки в доме. Как-то раз, когда в гости зашла миссис Гриффитс из Кум-Кринглина, оба лежали на полу кухни и извивались в корчах.

— Что это с близнецами? — спросила она, перепугавшись.

— Не обращайте внимания, — ответила Мэри. — Это они так понарошку рожают.

К пяти годам они уже помогали по хозяйству: учились месить тесто для хлеба, формовать куски сбитого масла, покрывать сахарной глазурью бисквит. В награду Мэри читала им перед сном сказку — братьев Гримм или Ганса Христиана Андерсена. Больше всего они любили слушать про Русалочку, которая отправилась жить во дворец Морского царя на дне моря.

К шести годам они уже читали сами.

Амос Джонс с подозрительностью относился к книжным знаниям и временами ворчал на Мэри, говоря, что она «слишком нежничает с мальчишками».

Он выдавал им трещотки от птиц и оставлял одних в овсяном поле — отгонять диких голубей. Заставлял месить корм для цыплят, ощипывать и разделывать птиц для продажи на рынке. В любую погоду, светило ли солнце или лил дождь, он сажал их на пони — одного перед собой, второго позади, — и они вместе объезжали горные отары. Осенью близнецы наблюдали, как бараны покрывают овец, а пять месяцев спустя присутствовали при рождении ягнят.

Они всегда чувствовали свое сходство с ягнятами-двойняшками. Как и ягнята, они играли в игру «Кто в замке король»; а однажды утром, когда Мэ-

ри на ветру развешивала белье и прихватывала его прищепками, оба забрались к ней под фартук и принялись бодать ее в бедра, изображая с шумным хлюпаньем будто сосут молоко из вымени.

— А ну-ка, перестаньте, — рассмеялась она и оттолкнула обоих. — Ступайте лучше к деду!

9

Старый Сэм поселился у родни на ферме Видение и переживал второе детство.

Он носил молескиновый жилет и бесформенную черную шапку и повсюду ходил с посохом из ветки крушины. Спал он на затянутом паутиной чердаке, тесном как шкаф, а рядом лежали те немногие пожитки, что старик пожелал сохранить: скрипка, трубка, табакерка и фарфоровая статуэтка, подобранная давным-давно в одной из поездок. Это была фигурка солидного господина со складным саквояжем, ее подставку обвивала надпись: «Я отправляюсь в дальний путь».

Главным его занятием было присматривать за Амосовыми свиньями.

— Свиньи, — говорил он, — они поумнее человека-то будут.

Шестеро свиноматок души в нем не чаяли, похрюкивали, когда он громыхал ведром с помоями, и все до одной отзывались на свои клички.

Была у него любимица — английская черная по кличке Ханна. Пока Ханна выискивала рылом червей под яблонями, он почесывал ее за ушами и вспоминал наиболее приятные моменты своей

супружеской жизни.

Однако мать из Ханны оказалась никудышная. Первый свой помет она раздавила насмерть. Во второй раз она, хоть и раздалась до колоссальных размеров, на свет произвела единственного поросенка мужского пола. Близнецы нарекли его Свинтусом и усыновили.

Однажды, когда Свинтусу исполнилось три месяца, они решили, что пора его окрестить.

— Я буду викарием, — заявил Льюис.

— Чур я — викарий! — выпалил Бенджамин.

— Ладно! Давай, викарий!

Стоял знойный июньский день. Собаки, тяжело дыша, валялись в тени сарая. Зудели и жужжали мухи. На склоне под домом паслись черные коровы. Цвел боярышник. Поле было трехцветным: черным, белым и зеленым.

Близнецы украдкой вынесли из кухни фартук, чтобы надеть его вместо стихаря, и полосатое полотенце — вместо крестильной рубахи. После сумасшедшей беготни по фруктовому саду они загнали Свинтуса в угол у курятника и понесли его, верещавшего, в лощину. Там Льюис крепко держал его, а Бенджамин, послюнив палец, торжественно начертал крест над поросячьим пятачком.

Но сколько ни пичкали Свинтуса порошком против глистов, сколько ни скармливали ему утащенных кусков пирога, он все равно оставался заморышем — Амосу в хозяйстве заморыши были не нужны. (Хотя сам Свинтус искупал свою тщедушность покладистостью характера — вплоть до того, что позволял близнецам кататься на себе верхом.) Однажды ноябрьским утром Сэм пошел к лабазу за ячменем и наткнулся на сына — тот точил лезвие мясницкого ножа. Старик пытался было отговорить Амоса, но тот только нахмурился и еще усерднее налег на точильный камень.

— Бесполезно держать заморыша, — сказал он.

— Но это же Свинтус, — пролепетал Сэм.

— Я сказал: бесполезно держать заморыша.

Чтобы внуки ничего не слышали, старик увел их подальше — искать грибы на горе. Вернулись они уже в сумерках. Бенджамин заметил лужу крови у двери лабаза и, прильнув к щелке, увидел внутри тушку Свинтуса, подвешенную за крюк.

Оба близнеца крепились изо всех сил до самого отхода ко сну, а потом дали волю слезам и насквозь промочили подушку.

Позже Мэри решила, что дети так и не простили отцу это убийство. Когда он учил их выполнять какую-нибудь работу по хозяйству, они прики-

дывались немыми. Когда он пытался приласкать их, съеживались или отшатывались. Если же он ласкал их сестренку Ребекку, братья ненавидели его еще больше. Они замышляли побег. Тихо переговаривались за спиной отца заговорщическим шепотом. Наконец даже у Мэри лопнуло терпение, и она попросила их:

— Пожалуйста, ведите себя хорошо с папой.

Но они, злобно зыркнув, ответили:

— Он убил нашего Свинтуса.

10

Близнецы любили гулять вместе с дедом, и у них было два любимых маршрута: «валлийская прогулка» в гору и «английская прогулка» в парк Леркенхоуп.

На «валлийскую прогулку» имело смысл отправляться только в хорошую погоду. Часто они выходили, когда светило солнышко, и все равно возвращались домой промокшими до нитки. И так же часто, направляясь в Леркенхоуп и оглядываясь назад, они видели на западе завесу серого дождя, в то время как у них над головой облака расползались и обнажали голубое небо, а над залитым солнцем лесным купырем порхали бабочки.

За полмили до деревни они проходили мимо Майсифелинской мельницы и стоявшей рядом молельни конгрегационалистов. Дальше в два ряда тянулись домики работников поместья — с долговязыми кирпичными дымоходами, капустными грядками и люпинами в огородах. А по другую сторону над зелеными кронами деревьев торчала вторая — баптистская — молельня и искоса поглядывала на церковь, на дом викария

и на трактир «Волошский орех». Вокруг англиканского кладбища словно защитным заслоном росли древние тисы; деревянный фахверк на колокольне, как говорили, изображал три голгофских креста.

Сэм всегда заворачивал для начала в паб — выпить сидру и поиграть в кегли с трактирщиком, мистером Годбером. Иногда, если игра затягивалась, старая миссис Годбер выносила близнецам по кружке лимонада. Она просила их кричать ей прямо в слуховую трубку, и если услышанное приходилось ей по душе, одаривала трехпенсовиками, но просила не тратить их на сладости, — после чего мальчики мчались на почту, а обратно прибегали с подбородками, перемазанными шоколадом.

От трактира было пять минут ходьбы до края парка у Западного охотничьего домика. Оттуда дорога для экипажей петляла вниз через рощи дубов и каштанов. Под деревьями, отмахиваясь хвостами от мух, паслись лани — в глубоких впадинах лесного сумрака их брюшки отливали серебром. Пугаясь человеческих голосов, животные уносились прочь, перескакивая через заросли папоротника-орляка и мелькая белыми хвостиками.

Близнецы подружились с главным садовником, мистером Эрншо. Этот жилистый коротышка с яркими сине-зелеными глазами часто приходил на чаепития, которые устраивала Мэри. Обычно мальчики заставали его в теплице, где он в кожаном фартуке, с жирной грязью под ногтями возился с горшками, пересаживая растения.

Братьям нравилось вдыхать душистый тропический воздух оранжереи, гладить пушок, покрывавший белые персики, или рассматривать орхидеи — на них можно было увидеть забавные мордочки вроде обезьяньих, какие рисуют в детских книжках. Они никогда не уходили с пустыми руками — садовник дарил им то цинерарию, то восковую красную бегонию; и даже спустя семьдесят лет Бенджамин, бывало, показывал на розовую герань и говорил:

— Это от того побега, который нам Эрншо дал.

Лужайки, расстилавшиеся перед замком, террасами сбегали к озеру. На берегу стоял лодочный сарай, выстроенный из сосновых бревен; однажды, спрятавшись в зарослях рододендронов, близнецы увидели лодку.

Ее лакированный корпус с легким плеском скользил между кувшинками, двигаясь прямо на них. С лопастей весел стекала вода. На веслах си-

дел мальчик в блейзере с красными полосками, а на корме, наполовину спрятавшись под белым зонтиком, девочка в сиреневом платье, с толстыми светлыми косами. Она опускала пальчики в зеленоватые мелкие волны, плескавшие в борт.

Вернувшись домой, близнецы бросились к Мэри:

— Мы видели мисс Бикертон! — доложили они в один голос.

Когда она укладывала их спать, Льюис прошептал:

— Мама, когда я вырасту, я женюсь на мисс Бикертон, — и Бенджамин расплакался.

Отправляясь на «валлийскую прогулку», они вначале брели по полям к Гребешку — пастушеской хижине, которая стояла заброшенной со времен огораживаний[15]. Затем они перешагивали каменный приступок, выходили на вересковую пустошь и шли по протоптанной пони тропе, которая уводила на север, а по левую руку высились крутые склоны горы. Миновав березовую рощу, они приближались к амбару и бараку, которые стояли рядом с грудами камня от

[15] Примечания: 15

Огораживание — ликвидация и присвоение общинных земель землевладельцами-лордами. В Великобритании процессы огораживания продолжались до начала XIX века.

развалившейся стены. Печная труба выпускала горизонтальную струйку дыма. Неподалеку росло несколько ясеней с искривленными стволами и несколько ив, а мутный пруд окаймлял «воротничок» из гусиного пуха, налипшего на ил.

Это был крестьянский двор семьи Уоткинса — Крайг-и-Феду, Скала в Березах, известная среди местных просто как Скала.

Когда близнецы пришли туда впервые, овчарки залаяли и принялись рваться с цепей, щуплый рыжеволосый мальчишка побежал к дому, а на пороге показалась Эджи Уоткинс в длинной черной юбке и в фартуке, сшитом из мешковины.

Она долго моргала и щурилась на солнце, но потом, узнав нежданных гостей, заулыбалась.

— А, это ты, Сэм! — проговорила она. — Ну, заходи на чай.

Это была худая и сутулая женщина с сизоватой кожей и жировыми шишками на лице; ее космы, похожие на лишайник, развевались на ветру.

Возле двери лежали штабелями доски, из которых Том Уоткинс мастерил свои гробы.

— Жаль, старика Тома дома нет, — продолжала хозяйка. — Они с мулом повезли гроб бедной миссис Уильямс Крингод, что чахоткой померла.

Том Уоткинс делал самые дешевые гробы в

округе и продавал их тем, кто скупился на приличные похороны или не мог наскрести на них денег.

— А это, значит, твои внучата-близняшки! — проговорила Эджи и скрестила руки. — Тоже в церковь ходят, как Амос и Мэри?

— Тоже, — ответил Сэм.

— Ну и слава Богу! Заходите!

Кухня сверкала свежей побелкой, но стропила почернели от сажи, а земляной пол был весь заляпан птичьим пометом. Сюда свободно заходили пепельно-серые куры-бентамки и склевывали с пола объедки, упавшие со стола. В смежной с кухней комнате на складной кровати были горой навалены одеяла и верхняя одежда, а на стене висел в рамочке текст: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему…»[16]

В другой комнате — наверное, когда-то она служила гостиной — две телки жевали сено; из-за двери кухни доносился едкий запах, смешиваясь с запахами торфа и творога. Эджи Уоткинс вытерла руки об фартук и бросила в чайник щепотку заварки.

---

[16] Примечания: 16
Мф. 3: 3.

— Ну и погодка, — проворчала она. — Чертовский холод, для июня-то!

— Холодище! — отозвался Сэм.

Льюис и Бенджамин уселись на краешек стула; рыжеволосый паренек, сгорбившись над металлическим чайником, обмахивал пламя гусиным крылом.

Паренька звали Джим. Он вдруг высунул язык и плюнул.

— Ну, зараза! — Эджи Уоткинс занесла кулак, и мальчишка ринулся к двери. — Не обращайте на него внимания, — сказала она гостям, разворачивая чистую льняную скатерть: какие бы тяжкие времена ни были, она всегда расстилала чистую белую скатерть для чаепития.

Эджи Уоткинс была доброй женщиной — она надеялась, что мир не так уж плох, как все твердят. Из-за бедности и непосильного труда она надорвала себе сердце. Иногда она брала прялку, шла на гору и пряла из клочков овечьей шерсти, застрявшей в утеснике и вереске.

Она никогда не забывала обиду и никогда не забывала доброту. Однажды, когда она слегла, Мэри передала ей с Сэмом несколько апельсинов и пакетик инжира. До этого Эджи ни разу не пробовала фиг — они показались ей манной небесной.

С того дня она никогда не отпускала Сэма без какого-нибудь ответного подарка. «Отнеси ей баночку ежевичного джема», — бывало, говорила она. Или: «А как насчет валлийского печенья? Я знаю, Мэри его любит». Или: «Может быть, на этот раз передашь ей утиных яиц?» Когда зацвела ее единственная чахлая сирень, она наломала веток и всучила ему огромный букет, как будто, кроме ее куста сирени, других и не было в целом свете.

Уоткинсы числились прихожанами в неангликанской молельне; детей у них не было. Возможно, как раз поэтому они всегда высматривали, чью бы душу спасти. После Великой войны[17] Эджи ухитрилась «спасти» нескольких детей; и если говорили: «Он вырос на Скале» или «Она воспитывалась на Скале», значит этот ребенок или родился вне брака, или у него было не все в порядке с головой. Но в ту пору Уоткинсы успели «спасти» только мальчика Джима и девочку по имени Этель. Это была довольно крупная девочка лет десяти; обычно она расставляла ноги и глазела на близнецов с каким-то хмурым восхищением, закрывая то один глаз, то другой, как будто у нее двоилось в глазах.

---

[17] Примечания: 17

В Великобритании великой называли — и по традиции продолжают называть до сих пор — Первую мировую войну.

От Скалы тропа перегонщиков скота петляла по северному склону Черной горы, и кое-где подъем был настолько крут, что старику приходилось останавливаться и переводить дух.

Льюис с Бенджамином, резвясь, уносились вперед, вспугивали тетеревов, «футболили» щелчками кроличьи какашки, разглядывали, стоя у края пропасти, спины пустельг и воронов, и то и дело отползали в папоротники и прятались.

Им нравилось воображать, будто они заблудились в лесу, как близнецы в сказке братьев Гримм, и каждый стебель папоротника — это ствол лесного дерева. В зеленой тени было тихо, сыро и прохладно. Поганки поднимали свои шляпки, прорастая через слой прошлогодней листвы, и ветер свистел где-то далеко в вышине.

Они ложились на спину и смотрели на облака, проносившиеся по покрытым рябью участкам неба; смотрели на зигзагообразно летающие точки, которые были мухами, и — гораздо выше — на другие черные точки, которые были кружащимися ласточками.

Или, бывало, принимались плеваться на скопления слюнявых пенниц[18], а когда во рту

---

[18] Примечания: 18

Пенница слюнявая — вид насекомых, выделяющий особую пену в процессе питания.

пересыхало, прижимались друг к другу лбами и до самозабвения смотрелись в серые глаза, пока оклики деда не выводили их из этого оцепенелого состояния. Тогда они снова выскакивали на тропу и делали вид, будто никуда и не пропадали.

Погожими летними вечерами Сэм доходил с внуками до Орлиного камня — менгира из серого гранита, покрытого кляксами рыжих лишайников и напоминавшего — в косых лучах света — сидящего на насесте орла.

Сэм говорил, что там похоронен «кто-то древний». А иной раз — что это конское погребение, или место, где плясали фарисеи. Его отец однажды видел эльфов: «У них были стрекозиные крылья», но никогда не мог припомнить, где именно.

Сэм взгромождал мальчиков на камень и показывал им оттуда фермы, молельни и монастырь отца Амвросия, угнездившийся внизу, в долине. Порой вся долина окутывалась вечерним туманом, а за ней поднимались Раднорские горы, и их горбатые серые очертания, проступавшие на сером фоне, тянулись, казалось, до самого края света.

Сэм знал все их названия: Уимбл, Бах, Блэк-Миксен, «а вот Смэтчер, неподалеку от которого

я родился». Он пересказывал внукам разные предания: о принце Лливелине и его верном псе, о более призрачных героях — Артуре и Мерлине, или о Черном Вогане; стоило ему чуть-чуть дать волю фантазии, как Вильгельм Завоеватель запросто менялся местами с Наполеоном Бонапартом.

Близнецы считали тропу, которая вела к Орлиному камню, своей частной собственностью.

— Это наша тропа! — кричали они, бывало, если вдруг встречали группу туристов.

Достаточно было увидеть отпечаток чужого ботинка, и они приходили в ярость и бросались палкой стирать этот след.

Однажды на закате, подойдя к гребню горы, вместо знакомого силуэта они вдруг увидели парочку соломенных шляп. На вершине камня, раскинув в стороны руки, сидели две юные дамы, а в нескольких шагах от них юноша во фланелевом костюме склонился над треногой с фотоаппаратом.

— Замрите, — говорил он, спрятав голову под колышущейся черной накидкой. — Улыбнетесь, когда я скомандую! Раз… два… три… Улыбайтесь!

Вдруг Льюис выхватил у Сэма палку и стукнул фотографа сзади по ногам на уровне колен.

Тренога качнулась, фотоаппарат упал, а девушки, скорчившись от смеха, чуть не свалились с камня.

Реджи Бикертон — это он возился с фотоаппаратом — побагровел лицом и погнался за Льюисом через вересковые заросли, крича: «Шкуру спущу с паршивца!» И хотя сестры кричали ему вослед: «Не надо, Реджи! Не надо! Не бей его!», он схватил мальчишку, положил к себе на колено и отшлепал.

По пути домой Сэм научил внуков говорить по-валлийски «грязные англосаксы», но Мэри, услышав о том, что случилось, очень огорчилась.

Ей сделалось грустно и стыдно — стыдно за своих мальчиков и стыдно оттого, что она их застыдилась. Она пыталась сочинить записку с извинениями для миссис Бикертон, но перо противно скрипело, и подходящие слова не находились.

11

В ту осень, уже заранее ощущая усталость от груза надвигающейся зимы, Мэри стала часто навещать викария. Преподобный Томас Тьюк был знатоком античной словесности; он располагал некоторыми личными средствами и поселился в Леркенхоупе потому, что здешний помещик был католиком, а еще потому, что сад при доме викария стоял на глауконитовых песках — идеальной почве для выращивания редких гималайских кустарников.

У этого высокого, костлявого человека с пышной белоснежной шевелюрой имелось обыкновение устремлять на прихожан пристальный янтарный взгляд, а потом поворачиваться к ним своим великолепным профилем.

Его комнаты свидетельствовали об упорядоченном уме хозяина, а так как экономка была глуха как пробка, он оказался избавлен от необходимости вести с ней разговоры. Полки книжных шкафов были уставлены томами классиков. Он знал наизусть всего Гомера и по утрам, между холодной ванной и завтраком, мог сам запросто сочинить несколько строк гекзаметром. К стене

рядом с лестницей веером крепились весла (в Кембридже он занимался греблей), а в передней, похожие на колонию пингвинов, стояли несколько пар сапог для верховой езды — Тьюк был еще и егермейстером Руленской долины.

Для сельчан их викарий оставался загадкой. Большинство прихожанок были в него влюблены — или хотя бы очарованы тембром его голоса. Но он был слишком занят, чтобы уделять внимание их духовным запросам, а его поступки часто возмущали их.

Однажды в воскресенье, перед приобщением Святых Даров, к церковным вратам подходили несколько женщин в шляпках с цветами, с благоговейными выражениями на лицах, уже настроенные на таинство причастия. Вдруг с шумом распахнулось окно дома викария и оттуда донесся крик хозяина: «Берегите головы!» — после чего раздался выстрел из двустволки по вяхирям, ворковавшим в вязах.

Гильзы со звоном посыпались прямо на могильные камни.

— Чертов язычник! — проворчал Амос, а Мэри едва сдержала смех.

Ей нравилось чувство юмора викария и его острословие. Ему — и лишь ему одному — она

созналась, что деревенский быт подавляет ее, что она истосковалась по разговорам и интересным идеям.

— В этом вы не одиноки, — сказал викарий и пожал ей руку. — Что ж, постараемся как-то исправить положение.

Он стал одалживать ей книги — Шекспира, Еврипида, Упанишады, Золя, и ее ум вольно блуждал по пажитям литературы, вдоль и поперек. Викарий сказал, что никогда еще не встречал такой умной женщины — словно само это словосочетание было оксюмороном.

Он с сожалением говорил о принятом в юности решении стать священником. Предметом его сожаления была даже сама Библия — вплоть до того, что он принялся распространять по деревне переводы «Одиссеи».

— Да кто вообще такие израильтяне? Овцекрады, моя дорогая! — говорил он. — Племя бродячих овцекрадов!

У него было хобби — разведение пчел, и в углу своего сада он высадил бордюр из пыльценосных цветов.

— Вот, посмотрите-ка! — восклицал он, открывая улей. — Чем не Афины мира насекомых!

Затем, показывая на архитектурное устрой-

ство ячеек для меда, он пускался в рассуждения о сущности цивилизации, о ее правителях и подданных, о войнах и завоеваниях, о городах и пригородах, о поколениях рабочих, чьим трудом и живут города.

— А еще есть трутни, — добавлял он. — Мы все хорошо знаем трутней!

— Да, — отзывалась Мэри, — мне они были знакомы.

Он уговорил ее заменить старые ульи. В середине первого сезона в одном из них завелась восковая моль, и пчелы отправились на роение.

Амос пришел на кухню и с усмешкой объявил:

— Там твои пчелы тернослив облепили.

Толку от предложенной им помощи не было никакого. Мэри оставила мальчиков следить, чтобы рой не улетел, а сама побежала в Леркенхоуп за викарием. Бенджамин навсегда запомнил это зрелище: старик спускается с лестницы, а руки, грудь и шея у него сплошь окутаны жужжащей коричневой массой пчел.

— Неужели вы их не боитесь? — спросил он, когда викарий принялся горстями засовывать их в мешок.

— Конечно нет! Пчелы жалят только трусов!

В другом углу своего сада викарий устроил

альпийскую горку для луковичных растений, привезенных из Греции. В марте на горке зацветали крокусы и пролески, в апреле — цикламены, тюльпаны и кандык «собачий зуб», а еще там рос здоровенный темно-фиолетовый аронник, вонявший тухлым мясом.

Мэри нравилось представлять, что эти цветы растут в своей естественной среде, образуя в горах широкие цветные полосы, и жалела их, живущих в изгнании на альпийской горке.

Однажды в ветреный день, когда мальчишки пинали мяч по лужайке, викарий предложил Мэри взглянуть на рябчик, привезенный со склона горы Иды на Крите.

— Очень редко культивируется, — пояснил он. — Половину луковиц пришлось отослать в Кью![19]

Внезапно Льюис подбросил мяч высоко в воздух, сильный порыв ветра отнес его в сторону и опустил прямо на альпийскую горку, на хрупкий колокольчик.

Мэри опустилась на колени и попыталась выпрямить стебель, чуть не плача: не из-за погубленного цветка, а из-за тревоги за будущее

---

[19] Примечания: 19

Кью-Гарденс — королевские ботанические сады с оранжереями в Западном Лондоне.

сыновей.

— Мужланы неотесанные, — сказала она с горечью, — кем только они вырастут, если отец настоит на своем…

— Если вмешаюсь я, то все будет иначе, — сказал викарий и помог Мэри подняться.

После заутрени в следующее воскресенье он стоял у южного крыльца и на прощанье жал прихожанам руки. Когда подошел черед Амоса, священник сказал:

— Подождите минутку, Джонс, хорошо? Мне нужно сказать вам пару слов.

— Да, сэр, — отозвался Амос и принялся ходить вокруг купели, нервно поглядывая на колокольные веревки.

Наконец викарий поманил его в ризницу.

— Я хотел потолковать с вами о мальчиках, — сказал он, снимая стихарь через голову. — Они оба такие умницы! Им уже пора в школу.

— Да, сэр, — запнувшись, пробормотал Амос. Он вовсе не собирался говорить ни «да», ни «сэр», однако тон викария застиг его врасплох.

— Вот и отлично! Значит, договорились. Учеба начинается в понедельник.

— Да, сэр, — повторил Амос, на сей раз уже насмешливо, отчасти выплескивая в эти слова

свою ярость. Он нахлобучил на голову шляпу и зашагал прочь мимо омытых солнечным светом надгробий.

Над колокольней кружились галки; качаясь на ветру, поскрипывали вязы. Мэри с детьми уже забрались в двуколку. Амос щелкнул кнутом над спиной пони, и они, спотыкаясь и виляя, покатили по улице так, что группка баптистов даже бросилась врассыпную.

Маленькая Ребекка завопила от страха.

— Что ты как гонишь? — Мэри дернула мужа за рукав.

— Потому что ты меня бесишь!

За обедом он молчал, а потом вышел пройтись по горе. Ему хотелось работать, но был священный день отдыха. Поэтому он расхаживал по Черной горе то туда, то сюда. Когда он вернулся, мысленно проклиная Мэри и викария, уже стемнело.

12

И все-таки близнецы пошли в школу.

В семь утра они выходили из дома в черных однобортных твидовых куртках и брюках до колен, в рубашках с накрахмаленными итонскими воротничками, натиравшими шею, и с полушелковыми галстуками-бабочками. В сырые дни Мэри пичкала мальчиков рыбьим жиром и заставляла заматываться в шарфы. Бутерброды она заворачивала в вощеную бумагу и совала в ранцы вместе с учебниками.

По классной комнате гуляли сквозняки, черные часы на стене мерно отстукивали время; мистер Бёрдс вел географию, историю и английский, а мисс Клифтон — математику, естествознание и закон Божий.

Мистер Бёрдс им не понравился.

Его багровое лицо с жилками на висках, дурной запах изо рта и привычка харкать в носовой платок производили крайне неприятное впечатление, и мальчики невольно съеживались всякий раз, как он приближался.

Несмотря на это, они научились выразительно читать наизусть стихотворение Шелли «К жаво-

ронку» и правильно писать названия «Титикака» и «Попокатепетль», запомнили, что Британская империя — лучшая из всех возможных, что французы — трусы, а американцы — предатели и что испанцы сжигали на кострах маленьких мальчиков-протестантов.

С бóльшим удовольствием они посещали уроки мисс Клифтон — пышной женщины с молочно-белой кожей и волосами цвета лимонной кожуры.

Бенджамин сделался ее любимцем. Никто не понимал, как она различает близнецов, но всем было очевидно, что он — ее любимец, и, когда она наклонялась к нему поправить арифметическую ошибку, он вдыхал исходивший от нее теплый материнский запах и утыкался головой в пространство между бархатным лифом ее платья и свисавшей золотой цепочкой с крестиком. Она заливалась радостным румянцем, когда он приносил ей букетик турецких гвоздик, а во время перерыва на завтрак в одиннадцать часов приглашала обоих близнецов к себе в комнату и объявляла, что они «настоящие маленькие джентльмены».

Эта ее благосклонность не прибавила мальчикам популярности среди учеников. Главный

школьный задира, сын судебного пристава по имени Джордж Мадж, почувствовал, что его собственный авторитет оказался под угрозой, и вечно норовил разлучить близнецов.

Он развел их по разным футбольным командам. Но в разгар матча они вдруг встречались взглядом и начинали радостно улыбаться, после чего принимались перебрасывать мяч друг другу, не обращая никакого внимания на других игроков и на их возмущенное улюлюканье.

Иногда на уроках они выполняли задания совершенно одинаково. Как-то раз они сделали одну и ту же ошибку в диктанте по стихотворению «Волшебница Шалот»[20], и мистер Бёрдс обвинил их в списывании. Вызвав братьев к доске, он заставил их спустить штанишки и выпорол розгой, оставив на ягодицах каждого по шесть симметричных багровых следов.

— Это несправедливо, — хныкали они, когда Мэри, укладывая их спать, рассказывала сказку.

— Конечно несправедливо, мои милые.

Она задула свечу и на цыпочках зашагала к двери.

В скором времени мистера Бёрдса уволили с

---

[20] Примечания: 20
Баллада английского поэта Альфреда Теннисона (1809–1892).

должности учителя — по причинам, «о которых не положено говорить».

За две недели до Рождества пришла посылка от дядюшки Эдди из Канады — с олеографией, изображавшей краснокожего индейца.

Брат Амоса начинал там простым дровосеком, потом поднялся на ноги и теперь служил управляющим торговой компанией в Мус-Джо в штате Саскачеван. Фотография дяди в меховой шапке, попиравшего ногой мертвого медведя гризли, приводила близнецов в бешеный восторг. Мэри отдала им свой томик Лонгфелло, и вскоре они уже наизусть зачитывали большие отрывки сказаний о Гайавате и Миннегаге.

Вместе с другими ребятами они играли в команчей и апачей в рощице за зданием школы. Льюис взял себе имя Маленький Ворон и отстукивал на днище старого жестяного ведра боевую песнь команчей, а обязанностью Бенджамина было сторожить вигвамы апачей. Оба поклялись, что будут вечными врагами и умрут в бою за свое племя.

Но однажды в обеденный перерыв Джордж Мадж — вождь апачей — застукал эту парочку за дружеской беседой в колючем кустарнике и взревел:

— Измена!

Он кликнул своих прихвостней, и те потащили было Бенджамина на «пытку крапивой», но Льюис преградил им дорогу. Последовала драка, и апачи бежали, бросив своего вождя на растерзание близнецов, а те заломили ему руку и ткнули лицом в грязь.

— Мы шкуру с него содрали, — с гордостью прокричал Бенджамин, когда они с Льюисом ворвались на кухню.

— Неужели? — вздохнула Мэри. Она пришла в ужас, увидев, во что превратилась их одежда.

Зато Амос в кои-то веки обрадовался:

— Вот молодцы! А ну-ка, покажи, куда ты его ударил! Ух ты! Так! Настоящие маленькие бойцы! Ну-ка, еще раз! Так! Так! А ты ему руку выкрутил? Ух ты! Правильно, так ему и надо!..

На фотоснимке, сделанном в пору сенокоса в 1909 году, запечатлена группа довольных, улыбающихся людей перед конной повозкой. У Амоса на плече лежит коса. На старом Сэме его вечная молескиновая жилетка. Мэри в клетчатом платье, в руках у нее сенные грабли. А дети — вместе с юным Джимом из Скалы, который взялся помочь Джонсам за небольшую плату, — сидят на земле, скрестив ноги.

Близнецы здесь все еще неотличимы друг от друга; но спустя годы Льюис припомнил, что именно он тогда держал овчарку, а Бенджамин пытался утихомирить сестру — безуспешно, потому что вместо Ребекки на фотографии получилось какое-то белесое пятно.

Тем же летом, чуть позже, Амос выездил парочку уэльских пони, и мальчики начали кататься верхом по окрестностям. Часто они доезжали до самой леркенхоупской лесопильни.

Это краснокирпичное строение стояло на полоске ровной местности между мельничным желобом и отвесной стеной ущелья. На кровле недоставало черепицы, из канав повырастали папоротники, но водяное колесо все еще вращало пилораму, и снаружи у двери виднелись целые насыпи из смолистых опилок и штабеля желтых досок.

Близнецам нравилось наблюдать за работой Бобби Файфилда, распиловщика, направлявшего бревна к визжащему станку. Но еще больше их интересовала его дочка Рози — озорница лет десяти, как-то очень дерзко встряхивавшая светлыми кудряшками. Мать наряжала ее в вишнево-алые платьица и говорила ей, что она «хорошенькая, как картинка».

Рози водила их в разные укромные места в лесу. Уж ее-то никто не мог бы провести — она никогда не путала близнецов. Из них двоих ей больше нравился Льюис — она льнула к нему и бормотала на ушко всякую милую чепуху.

Обрывая лепестки маргаритки, она приговаривала: «Любит! Не любит! Любит! Не любит!» — и при этом всегда приберегала последний лепесток, чтобы выкрикнуть: «Не любит!»

— Но я же люблю тебя, Рози!

— Докажи!

— Как?

— Пройди вон через эту крапиву, и я разрешу тебе поцеловать мне руку.

Однажды она приложила ладони домиком к его уху и прошептала туда:

— А я знаю, где растет вечерняя примула. Давай сходим туда, только без Бенджамина.

— Давай, — согласился он.

Рози повела его через орешник, и вскоре они вышли на солнечную полянку. Потом она расстегнула платье, и оно соскользнуло к ее ногам.

— Можешь их потрогать, — объявила она.

Льюис робко прикоснулся двумя пальцами к ее левому соску — а потом она умчалась так быстро, что сквозь колыханье листвы только и мелькали

красные и золотые пятна.

— Поймай меня! Поймай! — дразнилась она. — А вот и не поймаешь!

Льюис погнался за ней, споткнулся о корень, поднялся, снова побежал:

— Рози!
— Рози!
— Рози!

Его крики эхом отдавались по лесу. Он видел ее, но упустил. Снова споткнулся и рухнул ничком. В боку у него кололо, где-то далеко внизу жалобно звал Бенджамин, и он пошел на этот зов.

— Она — свинья, — заявил Бенджамин, щурясь от обиды за то, что его так подло бросили.

— Нет, она не свинья. Свиньи симпатяги.

— Ладно, тогда жаба.

Было у близнецов и свое потайное место — в лощине под Крайг-и-Феду. Укромная впадина среди рябин и берез, где вода журчала над скалой, а поросший травой бережок почти долыса объели овцы.

Братья построили там небольшую плотину из дерна и веток, и в жаркие дни, складывая одежду на берегу, окунались в ледяную заводь. Буроватая вода струилась по их узким белым телам, и

в глади озерца отражались алые гроздья рябин.

Как-то раз они лежали на травке и сохли, не говоря ни слова — слышался только тихий плеск воды, протекавшей через их соприкасавшиеся лодыжки. Вдруг ветви позади них раздвинулись, и от неожиданности они подскочили.

— А я все вижу.

Это была Рози Файфилд.

Братья схватились за одежду, но увидели только ее светлые кудряшки, быстро уносившиеся вниз по склону и мелькавшие среди папоротников.

— Она разболтает, — сказал Льюис.

— Не посмеет.

— Разболтает, — хмуро повторил он. — Она же жаба.

13

После праздника сбора урожая чайки улетели подальше от моря, а Джим Уоткинс из Скалы поступил батраком на ферму Видение.

Это был худой, жилистый паренек с необычайно сильными руками; из-под шапки у него торчали уши, будто листья конского щавеля. Ему было четырнадцать лет. Над губой пробивался пушок, нос усеивали черные точки угрей. Он радовался тому, что будет работать не дома. Крещен он был совсем недавно.

Амос учил его обращаться с плугом. Мэри тревожилась из-за того, что лошади слишком большие, а Джим слишком маленький, но вскоре тот научился разворачиваться у лесополосы и проводить по полю ровную борозду. Для своего возраста Джим казался очень шустрым, но когда нужно было чистить лемех, делался медлительным, и Амос ругал его «ленивым заморышем».

Спал он на сеновале, на соломенном тюфяке.

Амос говорил:

— Я сам спал на сеновале, когда был мальцом, а теперь пусть он там спит.

Его любимым занятием было ловить кротов

— роек, как он называл их на раднорский манер (а кротовины — ройкокучками); когда близнецы, принаряженные, уходили по утрам в школу, он перевешивался через ворота и насмехался:

— Эй, вы! Прилизались, как ройки!

Он брал с собой близнецов на разные вылазки, и они выискивали что-нибудь полезное.

Однажды в пасмурную субботу они собирали каштаны в Леркенхоупском парке; вдруг в воздухе раздался свист кнута и показалась мисс Нэнси Бикертон верхом на черном гунтере. Они спрятались за ствол дерева и осторожно выглядывали оттуда. Она проехала так близко, что они хорошо разглядели ячеистую сетку, скреплявшую пучок золотистых волос на затылке. Потом лошадиный круп скрылся в тумане, и все, что осталось от мимолетного виденья, — это кучка дымящегося навоза на жухлой траве.

Бенджамин никак не мог понять, почему от Джима всегда так гадко пахнет. Наконец он набрался смелости и заявил ему:

— Знаешь что? Ты сильно воняешь.

— Это не я, — возразил Джим и загадочно добавил: — Другой.

Он повел близнецов к лестнице на сеновале, порылся в соломе и вытащил мешок, в котором

что-то извивалось. Развязал веревку — и оттуда высунулся маленький розовый нос.

— Мой хорек, — сказал Джим.

Они пообещали не проболтаться про хорька. На коротких каникулах, пока Амос и Мэри были на рынке, все трое тайком сбежали в крольчатник в Нижней Брехфе, прихватив сети. Им удалось поймать трех кроликов, но, увлекшись, вовремя не заметили, как из-за горы наползают черные тучи. Разразилась гроза, посыпался град. Мальчики прибежали домой насквозь промокшие и, продолжая дрожать, сели греться у очага.

— Бестолочи! — выругалась Мэри, когда вернулась и увидела их мокрую одежду.

Она накормила их кашей, дала доверов порошок[21] и отправила в постель.

В полночь зажгла свечу и прокралась в детскую. Малышка Ребекка спала с куклой на подушке и большим пальцем во рту. На соседней кровати братья храпели в унисон.

— Как там мелкие? — Амос перевернулся на другой бок, когда она забралась обратно в постель.

— Хорошо, — ответила она. — С ними все хо-

[21] Примечания: 21

Доверов порошок — лекарство от простуды, придуманное английским врачом Томасом Довером (1660–1742).

рошо.

Но наутро у Бенджамина был нездоровый вид: его явно лихорадило, и он пожаловался на боль в груди.

К вечеру боль усилилась. На следующий день появились спазмы, он начал выкашливать комочки твердой слизи цвета ржавчины. Бледный, как облатка для причастия, с пятнами лихорадочного румянца на щеках, он лежал на взбугренной постели и слушал: не шуршит ли материнская юбка, не топает ли его брат по лестнице; впервые в жизни близнецы улеглись спать врозь.

Пришел доктор Булмер и поставил диагноз: воспаление легких.

Две недели Мэри почти не отходила от постели Бенджамина. Она поила его с ложечки сиропом из лакричного корня с бузиной и при малейших признаках оживления пичкала заварным кремом и ломтиками тостов с маслом.

Иногда он хныкал:

— Мама, когда я умру?

— Я тебе скажу когда, — отвечала она. — Еще очень-очень нескоро.

— Хорошо, мама, — шептал он и тихонько засыпал.

Иногда больного навещал старый Сэм и молил

Бога прибрать его самого вместо внука.

А потом ни с того ни с сего в первый день декабря Бенджамин сел в кровати и объявил, что ему страшно хочется есть. К Рождеству он уже совершенно ожил, хотя болезнь сильно изменила его.

— Теперь мы знаем, который из двоих — Бенджамин, — говорили соседи. — Он такой чахлый, бедняга.

Действительно, мальчик весь как-то ссутулился, ребра выпирали гармошкой, глаза ввалились. Он дважды падал в обморок в церкви. Его преследовали мысли о смерти.

Когда наступили теплые дни, он обходил леса и подбирал мертвых птичек и зверушек, чтобы похоронить по-христиански. У дальнего конца капустной грядки Бенджамин устроил миниатюрное кладбище и каждую могилку отмечал крестом из веточек.

Теперь, когда они шли куда-нибудь вместе с Льюисом, он старался идти не вровень с ним, а отставать на шаг: ступать по его стопам, дышать воздухом, которым уже дышал его брат. В те дни, когда ему нездоровилось и не было сил идти в школу, он ложился на Льюисову половину матраса и укладывался головой в ямку, оставленную на подушке головой брата.

Однажды дождливым утром, когда в доме стояла необычная тишина, Мэри услышала, как наверху скрипнула половица, и поднялась на второй этаж. Открыв дверь спальни, она увидела своего любимого сынка, закутавшегося до подмышек в ее зеленую бархатную юбку; ее свадебная шляпка закрывала ему пол-лица.

— Тсс! Ради бога, — прошептала она, — только не показывайся на глаза отцу! — Она услышала, как сапожные гвозди клацают по полу кухни. — Снимай все это! Живо! — и смоченной губкой она принялась тереть Бенджамина, чтобы смыть запах одеколона.

— Обещай, что больше никогда не станешь так делать.

— Обещаю, — ответил он и спросил, можно ли ему испечь для Льюиса пирог к чаю.

Он растер сливочное масло, взбил яйца, просеял муку, а потом смотрел, как образуется румяная корочка. Затем, пропитав два коржа малиновым джемом, покрыл верхний слой сахарной глазурью; когда Льюис с волчьим аппетитом вернулся из школы, Бенджамин с гордостью принес к столу готовый пирог.

Льюис откусил — и его брат затаил дыхание.

— Вкусно, — сказал Льюис. — Очень вкусный

пирог.

В болезни Бенджамина Мэри увидела повод дать ему образование получше — и взялась обучать его сама. Они вместе читали Шекспира и Диккенса; поскольку Мэри изучала когда-то латынь, она взяла у викария латинскую грамматику, словарь и несколько книг полегче: Цезаря, Тацита, Цицерона, Вергилия (а вот оды Горация им, конечно же, были не по зубам).

Когда Амос принимался ворчать, она прерывала его:

— Ладно, перестань: уж один-то книжный червь может вырасти в нашей семье?

Но тот только пожимал плечами и возражал:

— Ничего хорошего из этого не выйдет.

Против образования как такового он ничего не имел. Его беспокоило другое: он опасался, что его сыновья вырастут чересчур грамотными и не захотят остаться на родной ферме.

Ради поддержания мира в доме Мэри часто укоряла своего ученика:

— Бенджамин, сейчас же ступай и помоги отцу!

Втайне же ее переполняла гордость, когда сын, не отрывая глаз от книги, отвечал:

— Ну мама! Разве ты не видишь, что я читаю?

Ее ждал приятный сюрприз, когда викарий, проверив его познания, сказал:

— Я уверен, что у нас подрастает будущий ученый.

Однако неожиданностью для всех стала реакция Льюиса. Он дулся, отлынивал от обязанностей. Однажды глубокой ночью Мэри услышала какую-то возню на кухне и застигла там Льюиса: с покрасневшими глазами он сидел при свече с одной из книг, по которым занимался брат, и пытался извлечь из нее хоть какой-то смысл. Хуже того, между близнецами начались препирательства из-за денег.

Свои сбережения они хранили в глиняной свинье-копилке. И хотя им без слов было понятно, что монеты, лежавшие в ее брюхе, принадлежат им обоим, когда Льюис захотел разбить копилку, Бенджамин отрицательно качал головой.

За несколько месяцев до этого перед началом футбольного матча Льюис передал свои карманные деньги на хранение брату — для инвалида игра в футбол была слишком буйной, — и с тех пор повелось, что Бенджамин контролировал все расходы; Бенджамин не разрешил купить брату водяной пистолет, да и вообще редко позволял ему истратить хоть фартинг.

Потом неожиданно у Льюиса проснулся интерес к авиации.

На уроках естествознания мисс Клифтон рассказала о перелете месье Блерио через Ла-Манш; глядя на ее рисунок на доске, близнецы представили себе моноплан чем-то вроде механической стрекозы.

Однажды в понедельник, в июне 1910 года, мальчик по имени Альфи Бафтон вернулся после выходных в школу с сенсационным известием: в субботу родители взяли его на авиационный парад, проходивший во время сельскохозяйственной выставки Вустера и Херефорда, и там он собственными глазами увидел не только моноплан Блерио, но и его крушение.

Всю неделю Льюис с нетерпением ждал следующего выпуска «Херефорд Таймс», но разворачивать газету запрещалось, пока ее первым не прочитает отец. Амос стал читать ее после обеда — вслух. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он дошел до катастрофы.

Первая попытка авиатора взлететь потерпела фиаско. Машина поднялась в воздух всего на несколько футов и рухнула на землю. Толпа зрителей заулюлюкала и принялась требовать свои деньги назад, после чего летчик-сорвиголова убе-

дил полицию расчистить взлетно-посадочную полосу и сделал вторую попытку взлететь. Машина снова поднялась, на этот раз выше, а потом вдруг отклонилась от курса вправо и разбилась недалеко от Цветочного павильона.

— «Пропеллер, способный совершать две тысячи семьсот оборотов в минуту, — продолжал читать Амос, делая драматические паузы, — наносил удары направо и налево».

Было ранено несколько зрителей, а некая миссис Питт из Хиндлипа, доставленная в вустерскую больницу, скончалась от полученных повреждений.

— «Что поразительно, — тут Амос понизил голос на октаву, — спустя три четверти часа после катастрофы над территорией выставки очень низко пролетел лебедь. Его грациозный полет, казалось, окончательно посрамил неудачливого авиатора».

Прошла еще целая неделя, прежде чем Льюису разрешили вырезать ту заметку, проиллюстрированную тонкой штриховой гравюрой, и приклеить к себе в альбом. В итоге весь этот альбом оказался отведен для авиакатастроф; в дальнейшем коллекция вырезок росла и разрасталась, том за томом, почти до самой смерти

Льюиса. И если кто-нибудь упоминал о крушениях «Комет» в 1950-е годы или о столкновении «Боингов» на Канарах, он лишь качал головой и сумрачно говорил:

— А я еще помню вустерскую катастрофу.

Другим памятным событием 1910 года стала их поездка к морю.

14

Всю весну и все лето Бенджамин продолжал выкашливать зеленую мокроту, а когда в ней обнаружилось немного крови, доктор Булмер порекомендовал переменить климат.

У преподобного Тьюка была сестра, а у нее — дом в Сент-Дэвидсе в Пембрукшире. И поскольку пришла пора его ежегодной поездки на эскизы, он предложил взять с собой двух юных друзей.

Амос заартачился, когда Мэри заговорила с ним об этом.

— Ага, опять ты за свое! Мало тебе чудных разговоров, еще подавай каникулы на море!

— Вот как? А ты, значит, хочешь, чтобы твой сын заболел чахоткой? — (Амос хмыкнул и почесал морщинистую шею.) — Ну так что?

Пятого августа курат[22] мистер Фогарти отвез всю компанию к железнодорожной станции в Рулене. Здание вокзала недавно покрасили в коричневый цвет, на платформе между столбами были подвешены плетеные корзины с ползучими

---

[22] Примечания: 22

Курат — католический священник без собственного прихода, имеющий право выслушивать исповеди и проповедовать.

геранями. Начальник станции улаживал неприятность с пьяницей.

Это был валлиец, не заплативший за проезд на прибывшем поезде. Выходя, он отпихнул проводника. Проводник врезал ему по челюсти, и теперь он лежал ничком на перроне в порванном твидовом пальто. Изо рта у него текла кровь. Часы выпали из кармана, стекло на них разбилось, и собравшиеся зеваки давили осколки каблуками.

Проводник сел на корточки и проорал пьянице в самое ухо:

— Вставай, таффи![23]

— Пшел! Пшел вон! — проворчал бедолага.

— Мама, зачем они его мучают? — громко спросил Бенджамин, пытаясь разглядеть что-нибудь за рядом блестящих коричневых гамаш.

Пьяный попытался встать, но ноги под ним подкосились; только на этот раз двое проводников не дали ему рухнуть, подхватив под мышки. Лицо у него было серое. Глаза закатились куда-то под самый лоб, так что виднелись одни покрасневшие белки.

— Но что он сделал? — не унимался Бенджамин.

---

[23] Примечания: 23

Таффи — собирательное прозвище валлийцев.

— Что я сделал? — прохрипел пьяный. — Да ни-ча-во! — И, разинув рот, разразился целым потоком непристойностей.

Толпа отпрянула. Кто-то крикнул: «Позовите констебля!» Проводник снова двинул кулаком, и по подбородку валлийца потекла свежая струя крови.

— Грязные англосаксы! — пронзительно крикнул Бенджамин. — Гряз…

Но Мэри закрыла ему ладонью рот и сердито шепнула:

— Еще одно слово — и ты возвращаешься домой.

Она потащила близнецов в конец платформы, откуда можно было наблюдать, как останавливается локомотив. День был жаркий, и небо казалось темно-голубым. Рельсовые пути блестели, огибая опушку соснового бора. Они еще никогда не ездили на поезде.

— Я хочу знать: что он сделал? — Бенджамин подскакивал на месте.

— Да замолчишь ты?

Тут раздался сигнал — резкий металлический звук, и из-за поворота показался несущийся поезд, выпускающий клубы пара. У локомотива были красные колеса, и поршень ходил взад-впе-

ред, все медленнее и медленнее, пока поезд со свистом не остановился.

Мэри и мистер Фогарти помогли священнику втащить багаж в купе. Послышался гудок, дверь захлопнулась, близнецы прильнули к окну и замахали на прощанье. Мэри махала в ответ платочком, улыбалась и одновременно плакала, видя, каким молодцом держится Бенджамин.

Поезд проезжал по извилистым долинам, мимо беленых крестьянских домиков, лепившихся к склонам холмов. Братья наблюдали за телеграфными проводами, которые будто плясали за окном, сходились и перекрещивались, а потом с гудением перескакивали через крышу вагона. Они проезжали станции, тоннели, мосты, церкви, газовые заводы и акведуки. Пассажирские сиденья были обиты материей, напоминавшей камыш. Они увидели, как низко над рекой пролетела цапля.

Из-за того что поезд опаздывал, они не успели к пересадке в Кармартене и упустили последний омнибус, отходивший из Хаверфордуэста в Сент-Дэвидс. К счастью, викарий нашел фермера, который предложил подвезти их в своем фургончике.

К вершине Кистон-хилл они подъезжали уже в

темноте. Одна из постромок соскользнула, и, когда возница слез, чтобы как следует ее подтянуть, близнецы тоже вышли и воззрились на залив Сент-Брайдс.

Лица им обдувал легкий морской бриз. Полная луна отражалась в черной воде скоплением мерцающих пятнышек. Плавно проплыла и пропала из виду рыбацкая лодка под парусом, похожим на крыло летучей мыши. Послышался тихий плеск волн, набегавших на берег, глухо простонал бакен с колоколом. Блеснули лучами два маяка — один на острове Скомер, другой на Рэмси. Улицы в Сент-Дэвидсе были пустынными; фургончик с грохотом проехал по булыжной мостовой, миновал собор и остановился у больших белых ворот.

Первые несколько дней близнецы робели перед «художественной» обстановкой, царившей в доме, и перед жившими там дамами.

Художницей была мисс Кэтрин Тьюк — миловидная, хрупкая женщина с седоватой челкой. Она медленно перемещалась из комнаты в комнату в своем цветастом кимоно и редко улыбалась. Глаза у нее были такого же цвета, как у ее русской голубой кошки; у себя в мастерской она выложила композицию из прибитых к берегу

коряг и приморского аканта.

Зимы мисс Кэтрин проводила в Неаполитанском заливе; там она написала множество видов Везувия и сцен из античных мифов. Летом же она работала над морскими пейзажами и копировала картины старых мастеров. Иногда прямо за завтраком или обедом она вдруг восклицала: «А!» — и, не доев, уходила работать. Бенджамина околдовало одно полотно: красивый юноша стоял нагой на фоне синего неба; в него вонзилось множество стрел, а он продолжал улыбаться.

Компаньонку мисс Кэтрин звали мисс Адела Харт.

Эта дама была гораздо крупнее, она вечно грустила и все время нервничала. Почти весь день она возилась на кухне и стряпала блюда, которые научилась готовить в Италии. На ней всегда был один и тот же наряд с гелиотропами, представлявший собой нечто среднее между платьем и платком. А еще она носила ожерелье из янтарных бус и часто плакала.

Она плакала на кухне, плакала во время еды. Всхлипывала в свой кружевной носовой платок и обращалась к своей подруге: «Милая моя!», или «Кисонька!», или «Лапушка!» А мисс Кэтрин хмурилась, как бы говоря: «Не надо при гостях!»

Но это только все портило, потому что тогда мисс Адела совсем переставала сдерживаться.

— Не могу, — кричала она. — Нету сил!

Мисс Кэтрин поджимала губы и говорила:

— Пожалуйста, ступай к себе в комнату.

Как-то раз Бенджамин спросил викария:

— А почему она называет ее кисонькой?

— Не знаю.

— Это мисс Харт нужно называть кисонькой. У нее усы.

— Не говори дурно о мисс Харт.

— Она нас ненавидит.

— Она вас не ненавидит. Ей просто непривычно, что в доме маленькие мальчики.

— Ну, мне бы не понравилось, если бы меня называли кисонькой.

— А тебя никто и не собирается называть кисонькой, — сказал Льюис.

К морю ходили по белой дороге. В заливе виднелись барашки волн, на ветру качались золотые колоски ячменя. Священник придерживал панаму и мольберт. Бенджамин нес ящик с красками; Льюис, волоча за собой сеть для ловли креветок, оставлял в дорожной пыли ужиный след.

Когда они доходили до бухты, старик устанав-

ливал мольберт, а близнецы убегали играть в мелких заводях среди камней.

Они ловили креветок и морских собачек, совали пальцы в морские анемоны, гладили водоросли, напоминавшие наощупь скользкое овечье руно. Волны одна за другой накатывали на галечный пляж, где ловцы омаров конопатили свою лодку.

Во время отлива на берег слетались кулики-сороки и своими длинными, как шило, ярко-красными клювами принимались склевывать моллюсков. У входа в бухту лежал выброшенный на берег остов шхуны с гнутым форштевнем; с досок, облепленных створками мидий и морскими желудями, свисали гирлянды водорослей.

Близнецы подружились с одним из ловцов омаров, жившим в домике с белой крышей; когда-то он был членом судовой команды, ходившей на той самой шхуне.

В молодости он огибал мыс Горн. Видел патагонских гигантов[24] и таитянок. Льюис слушал его рассказы с разинутым ртом и потом уходил куда-нибудь помечтать в одиночестве.

Он представлял себе, будто сидит в «вороньем

---

[24] Примечания: 24

Легенды о великанах, которых якобы заметили на побережье Южной Америки участники экспедиции Магеллана, были развенчаны в XVIII веке.

гнезде» на трехмачтовом корабле и вглядывается в горизонт, ожидая, не покажется ли опушенный пальмами берег. Или, бывало, ложился среди армерий и всматривался в шхеры, где чайки перебегали с места на место, как солнечные зайчики, а ниже зеленые волны бились в скалы, взметывая вверх целые занавесы брызг.

Однажды в штиль старый моряк взял их на ловлю скумбрии на своем люгере. Они зашли за скалу Гиймо, закинули блесну и почти сразу почувствовали, как леска задергалась, и увидели в воде что-то серебристое. Когда моряк снимал рыбину с крючка, по пальцам у него текла кровь.

К середине утра дно трюма было уже завалено рыбой — она билась, трепыхалась, переливалась радужными оттенками в предсмертной агонии. Алые жабры напомнили мальчикам гвозди́ки, которые росли у мистера Эрншо в теплице. Мисс Харт приготовила скумбрию на ужин, и с той поры они стали добрыми друзьями.

В день отъезда моряк подарил близнецам корабль в бутылке с реями из спичек и парусами из носового платка. Когда поезд подъехал к руленскому вокзалу, Бенджамин выскочил на платформу с криками: «Смотрите-что-у-нас-есть! Корабль-в-бутылке!»

Мэри не могла поверить, что этот улыбающийся загорелый мальчуган — ее болезненный сынок, которого она провожала. Ни она, ни Амос почти не обратили внимания на Льюиса, который вышел из вагона с сетью для ловли креветок и сказал — спокойно и выразительно:

— Когда я вырасту, стану моряком.

15

Осень выдалась очень суровая. Накануне ночи Гая Фокса[25] Мэри поглядела на сумрачный желтый свет над горой и сказала:

— Похоже на снег.

— Слишком рано для снега, — возразил Амос.

Но Мэри оказалась права. Снег выпал ночью и растаял, оставив длинные белые полосы на осыпях склона. Потом он снова пошел — на сей раз уже всерьез. И хотя многих овец удалось откопать из сугробов, воронам тоже досталось, чем попировать, когда наступила оттепель.

А еще заболел Сэм.

Сначала у него что-то случилось с глазами. Однажды он проснулся и не смог разлепить веки — их покрыла засохшая корка выделений, и Мэри пришлось смывать ее теплой водой. Он начал заговариваться. Заладил одно и то же — про какую-то девчонку из заведения в Росгохе, где продавали сидр, и про то, что он спрятал там в нише у камина какую-то кружку из рога.

---

[25] Примечания: 25

Ночь Гая Фокса — ночь на 5 ноября, когда в Британии отмечается неофициальный праздник — провал Порохового заговора в 1605 году.

— Хочу эту кружку, — твердил он.

— Она наверняка на месте, — отвечала Мэри. — Когда-нибудь поедем туда и заберем.

К концу ноября у них начали пропадать куры.

У Льюиса была любимая курочка, клевавшая зерно прямо с ладони, и вот однажды утром, отворив заслонку в курятнике, он обнаружил, что она исчезла. А через неделю Мэри недосчиталась уже шести птиц. Потом за одну ночь пропали еще две. Она принялась искать улики — и нашла: но только не кровь и перья, а отпечаток мальчишеского башмака в грязи.

— Боже мой, — вздохнула она, обтирая яйца и складывая их в ячеистую коробку, — боюсь, что к нам повадилась двуногая лиса.

Она решила не рассказывать о своих подозрениях Амосу, пока у нее не появятся доказательства. Он и так пребывал в отвратительном настроении.

После снегопада Амос отогнал половину отары с горы вниз и пустил овец пастись на овсяную стерню. Вдоль верхней части поля тянулась полоса диких зарослей, где под колючими кустарниками прятались барсучьи норы, а у дальнего конца была ветхая изгородь, обозначавшая границу между Видением и Скалой. Однажды Мэри

пошла туда собирать терн и вернулась с известием: овцы Уоткинса проломили изгородь и теперь пасутся вместе с их отарой.

Амос пришел в ярость — не столько из-за того, что чужие овцы кормятся на его территории, сколько из-за опасений, что от них перекинется чесотка (Уоткинс обычно ленился купать свою скотину). Амос отсортировал приблудившихся и велел Джиму увести их обратно на свою ферму — по дороге.

— Давай, будь молодцом, — напутствовал он парнишку. — И передай отцу, пусть следит за своей скотиной.

Прошла неделя, и овцы снова прорвались с той стороны. Но на этот раз Амос присмотрелся к чаще кустарников, заметил свежесрезанные ветки и понял, что кто-то специально прорубил проход.

— Теперь все ясно, — сказал он.

Он взял топор, два резака и, позвав близнецов, отправился сам чинить изгородь.

Земля была твердая, небо — синее. По светлому жнивью валялись кучи оранжевой кормовой свеклы, наполовину обглоданной; вокруг них теснились чумазые белые овцы. По колючкам стлались, как дымовая завеса, побеги ломоноса.

Не успели они срубить первый терновый куст, как на пастбище заявился, хромая, сам Уоткинс с дробовиком в руке.

Лишившись от злости дара речи, он встал спиной к косо падавшему солнечному свету; его указательный палец плясал вокруг спусковой скобы.

— Убирайся, Амос Джонс, — наконец нарушил он молчание. — Эта земля нашенская. — И разразился отборной руганью.

Нет, буркнул в ответ Амос. Земля принадлежит владельцам поместья, и он может это доказать: у него есть карта.

— Нет! Нет! — орал Уоткинс. — Нашенская она!

Они еще некоторое время кричали друг на друга, но Амос понял, что провоцировать старика дальше опасно. Он постарался успокоить своего соседа, и они уговорились встретиться в Рулене, в «Красном драконе», в базарный день.

В распивочном зале «Красного дракона» было душновато. Амос сел подальше от очага и смотрел через грязные сетчатые занавески на улицу. Бармен протирал губкой стойку. Парочка лошадиных барышников отхлебывала пиво из высоких кружек и смачно сплевывала на посыпанный опилками пол; от другого стола

доносился стук костяшек домино и шумный пьяный смех. За окном с серого неба сыпалась крупа, мороз крепчал. Часы показывали, что Уоткинс опаздывает на двадцать минут. Напротив окна распивочной взад-вперед по улице расхаживал кто-то в черном котелке.

— Даю ему еще десять минут. — Амос снова поглядел на часы.

Спустя семь минут дверь распахнулась, и Уоткинс протолкнулся в зал. Вместо приветствия он кивнул с видом одухотворенного человека, явившегося на молитвенное собрание. Не стал снимать свою черную шляпу и садиться.

— Что будешь пить? — спросил Амос.

— Ничего, — ответил Уоткинс, скрестил руки на груди и втянул щеки — так, что кожа у него на скулах заблестела.

Амос вытащил из кармана копию своего договора об аренде Видения. На столешнице остался липкий круг от пивного стакана. Амос вытер его рукавом и только потом расстелил на столе карту. И показал ногтем маленький розовый выступ в виде язычка с пометкой: «1/2 акра».

— Вот! — сказал он. — Смотри!

Было совершенно ясно, что по закону поросшая кустарником полоса земли относилась к владе-

ниям поместья Леркенхоуп.

Уоткинс щурился, всматриваясь в карту и силясь разобраться в лабиринте из линий, букв и цифр, и со свистом дышал. Вдруг он весь затрясся, скомкал карту и швырнул ее через весь зал в камин.

— Держите его! — закричал Амос.

Но пока он спасал уже начавшую обугливаться бумагу, Уоткинс успел сбежать из бара. В тот вечер и Джим тоже не показывался.

На следующее утро, задав корм скотине, Амос переоделся в воскресный костюм и отправился к агенту Бикертонов. Агент слушал его рассказ, уперев в щеки кулаки и изредка приподнимая бровь. Речь здесь шла о территориальной целостности поместья, и надлежало действовать.

Четырех человек отрядили строить стену на границе двух ферм, а в Крайг-и-Феду явился констебль и предупредил Уоткинсов, чтобы они не смели трогать ни камня.

Каждый год в Видении предрождественская неделя отводилась для ощипывания уток и гусей.

Амос сворачивал птицам шеи и подвязывал их одну за другой за перепончатые лапы к потолочной балке. К вечеру в сарае как будто бушевала

вьюга. Маленькая Ребекка чихала, запихивая пух в мешок. Льюис опалял туши свечным пламенем, а Бенджамин не выказывал ни малейшей брезгливости, когда дело доходило до выпускания кишок.

Разделанные тушки складывали в маслодельне — считалось, что туда не могут забраться крысы. Амос выстлал дно фургона соломой, а потом отослал всех спать: вставать нужно было в четыре утра, чтобы успеть застать бирмингемских закупщиков.

Ночь была безоблачной, и лунный свет мешал Мэри уснуть. После полуночи ей показалось, что во дворе завозилось какое-то животное. Она на цыпочках подошла к окну и выглянула. Лиственницы опутали луну черными волосами своих веток. В тень коровника прошмыгнула мальчишеская фигурка. Скрипнула щеколда. Собаки не залаяли.

— Ага, — чуть слышно сказала Мэри. — Вот она, наша лиса.

Она разбудила мужа. Амос накинул пальто и поймал Джима в маслобойне с поличным: он успел засунуть в мешок пять гусиных туш. Раздались такие пронзительные вопли, что ломовые лошади проснулись и заржали.

— Надеюсь, ты его не изувечил, — сказала Мэри, когда Амос забирался обратно в кровать.

— Грязные ворюги! — выругался он, переворачиваясь на другой бок.

В Рулене накануне Рождества в сумерках снова пошел снег. Перед мясной лавкой на Широкой улице раскачивались на ветру веревки, увешанные зайцами, индейками и фазанами. Снежинки поблескивали на гирляндах из остролиста и плюща. Покупатели проходили вереницами под слепящим светом газовых фонарей; то и дело распахивалась какая-нибудь дверь, поперек мостовой ложилась полоса яркого света, и изнутри доносился веселый голос: «С Рождеством Христовым! Заходите к нам на стаканчик грога!»

Хор детей распевал рождественские гимны, и снежинки издавали шипенье, ударяясь о керосиновую лампу.

— Смотри-ка! — Бенджамин легонько толкнул мать под локоть. — Миссис Уоткинс!

Эджи Уоткинс шла по улице в шляпе, увитой черными лентами, и в коричневом клетчатом платке. Под мышкой она держала корзину яиц:

— Свежие яйца! Свежие яйца!

Мэри поставила наземь свою корзину и подошла к миссис Уоткинс с серьезной улыбкой:

— Эджи, мне очень жаль, что с Джимом так вышло, но…

Она едва успела отпрянуть, когда изо рта старухи вылетел жирный плевок — и угодил ей на край юбки.

— Свежие яйца! Свежие яйца!

Хриплый голос Эджи становился все громче. Она ковыляла кругами то в одну, то в другую сторону и выкликала: «Свежие яйца! Свежие яйца!» Какой-то мужчина остановил было ее, но она только бессмысленно таращила глаза на газовые фонари: «Свежие яйца! Свежие яйца!» А когда херефордский закупщик преградил ей путь: «Ладно тебе, матушка Уоткинс! Сегодня же Рождество! Сколько тебе дать за всю корзину?» — она только злобно выставила руку, как будто он собирался украсть у нее младенца: «Свежие яйца! Свежие яйца!» А потом вокруг нее сомкнулась метель, и старуху поглотила ночная темень.

— Бедняжка, — проговорила Мэри. Она уже забралась в двуколку и укрывала детей пледом. — Боюсь, она малость тронулась умом.

16

Три года спустя Мэри, с большим синяком вокруг левого глаза, писала сестре в Челтнем, объясняя, почему она решилась уйти от Амоса Джонса.

Она не оправдывалась. Не искала сочувствия. Лишь просила приютить ее, пока она не подыщет себе работу. В то же время ее слезы оставляли кляксы на почтовой бумаге, и она говорила себе, что их брак еще не обречен, что все еще может наладиться — ведь они когда-то были влюблены, да и по-прежнему любили друг друга — и что все их напасти начались после пожара.

Второго октября 1911 года, в одиннадцать часов вечера Амос уже отложил свои резцы и стамески и смотрел, как жена делает последние стежки на образце вышивки, когда вдруг по лестнице вниз сбежал Льюис с возгласом: «Пожар! Там пожар!»

Отбросив занавески, они увидели рыжее свечение над кровлей коровника. В тот же миг в темноте взметнулся целый столб искр и пламени.

— Это стога, — сказал Амос и бросился на двор.

У него стояло два стога на ровном участке земли

между строениями фермы и фруктовым садом.

Ветер дул с востока и раздувал пламя. Клочки загоревшегося сена взлетали в облако дыма и падали. Животные, перепуганные ярким светом и треском, переполошились. Бык мычал, лошади били копытами в конюшне, а голуби — розовые в отсветах пламени — летали и летали беспорядочными кругами.

Мэри взялась за ручку насоса, близнецы, расплескивая воду, таскали ведра отцу: он взобрался на стремянку и отчаянно пытался затушить огонь, перекинувшийся на верх второго стога. Но горящее сено ложилось все более толстыми слоями, и вскоре второй стог тоже превратился в горнило пламени.

Пожар полыхал такой, что видно было за несколько миль, и к тому времени, когда подоспел Дай Морган вместе со своим батраком, бока у стогов успели сильно просесть.

— Прочь, — прорычал Амос.

Когда Мэри попыталась взять его за руку, он отогнал и ее.

Когда рассвело, над строениями фермы стояла густая пелена серого дыма, а Амоса не было видно. Откашливаясь от едкого дыма, Мэри принялась звать мужа испуганным голосом:

— Амос! Амос? Отзовись! Ты где?

Оказалось, что он, усталый как собака, с почерневшим лицом, валялся в навозной жиже под самой стеной свинарника.

— Ступай в дом, — сказала она. — Тебе нужно поспать. Ты все равно больше ничего не сделаешь.

Он стиснул зубы и ответил:

— Я убью его.

Разумеется, он считал, что это поджог и поджигатель — Уоткинс. Но мистер Хадсон — констебль, которому поручили рассмотрение этого дела, розовощекий кроткий малый, — не желал вмешиваться в ссору между соседями. Он предположил, что сено было влажным, и тление долго оставалось незамеченным.

— Запоздалое возгорание, наиболее вероятно, — сказал он, приподнимая форменный шлем и перекидывая ногу через велосипедную раму.

— Я ему покажу запоздалое возгорание!

Амос бросился в дом, разнося грязь по полу кухни. Мимо головы Мэри пролетела чайная чашка и разбила стекло горки. Мэри поняла, что грядут тяжелые времена.

У Амоса начали целыми прядями выпадать волосы. На щеках проступили сизоватые жилки,

а синие глаза, когда-то дружелюбные, глубоко ввалились и смотрели теперь на враждебный мир словно из тоннелей.

Он перестал мыться и редко брился — хотя последнее, пожалуй, было даже к лучшему, потому что, когда он принимался точить бритву, по его лицу пробегало такое зверское выражение, что Мэри затаивала дыхание и пятилась к двери.

В постели он был с ней очень груб. Чтобы заглушить ее стоны, ладонью затыкал ей рот. Мальчики, лежавшие у себя в комнатке рядом с лестничной площадкой, слышали звуки ожесточенного барахтанья и жались друг к дружке.

Их он бил за малейшую провинность. Даже за слишком грамотную речь. Тогда они научились строить фразы иначе — изъясняться на раднорском диалекте.

Теплые чувства он испытывал теперь, похоже, только к дочери — своенравной девочке с недобрыми глазками, которая забавы ради любила отрывать ноги паукам-сенокосцам. У нее были прямые, гладкие огненно-рыжие волосы. Амос усаживал ее себе на колено, качал и ласково приговаривал: «Вот ты меня любишь, правда же? Правда?» И Ребекка, чувствовавшая недостаток привязанности со стороны Мэри, сердито смот-

рела на мать и на братьев, будто на заклятых врагов.

Мало-помалу война со Скалой переросла в ритуал набегов и контрнабегов: обращаться за помощью к закону было ниже достоинства обеих враждующих сторон. Не просматривалось в их взаимных действиях и какого-либо тщательно обдуманного плана, однако противники время от времени подбрасывали друг другу знаки — то освежеванного ягненка, то убитого теленка, то подвешенного к дереву гуся; знаки, которые служили напоминаниями о том, что междоусобица продолжается.

Мэри давно привыкла к приступам лютости мужа, которые находили на него в определенную пору года. Она даже радовалась им, как радуются грому, потому что потом их прежняя любовь, по обыкновению, возвращалась.

Некоторое время между ними существовал негласный уговор: буря должна улечься к Пасхе. Всю Страстную неделю она наблюдала, как он борется со своими демонами. В Страстную субботу они шли на прогулку в лес и возвращались с корзинкой примул и фиалок — чтобы смастерить цветочный крест для алтаря леркенхоупской церкви.

После ужина Мэри раскладывала цветы на столе и, отбирая фиалки для букв INRI[26], вплетала цветоножки примул в раму из медной проволоки. Амос стоял позади и поглаживал ее по затылку. Когда последняя буква бывала закончена, он подхватывал жену на руки и относил в постель.

Но в тот год — год пожара — он не пошел с ней в лес и не стал ужинать. А когда она, с тревогой в сердце, разложила на столе примулы, он набросился на них и принялся колотить, будто мух, пока не превратил в зеленоватую кашицу.

Она издала сдавленный вопль и выбежала из дома в темноту.

Тем летом сено сгнило и овцы остались нестриженными.

Амос не позволял Мэри видеться с теми немногими друзьями, что у нее оставались. Как-то раз ударил ее за то, что она положила вторую щепотку заварки в чайник. Он запрещал ей даже заходить в магазин тканей «Альбион», чтобы она не транжирила деньги на вышивальный шелк. А когда пришло известие о смерти преподобного Тьюка (он скончался от воспаления легких после того, как упал в лососевый пруд), Амос не дал ей

---

[26] Примечания: 26

Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum — Иисус Назарянин Царь Иудейский *(лат.)*.

отправить цветы на его похороны.

— Он был мне другом, — сказала Мэри.

— Он был язычником, — сказал Амос.

— Я уйду от тебя, — сказала она, но уходить ей было некуда, и к тому же умирал другой ее друг — старый Сэм.

Всю весну он жаловался на то, что у него в левом боку что-то «сгущается», и от слабости не выходил из своей чердачной каморки. Он лежал под засаленным стеганым одеялом, глазея на паутину и медленно задремывая. Однажды, когда Бенджамин принес ему еду на подносе, он сказал:

— Хочу мою кружку. Будь умницей! Сбегай в Росгох, пусть она даст тебе мою кружку.

К июню Сэм уже едва переносил боль этой жизни. Он страдал из-за Мэри и в минуту просветления пытался урезонить сына.

— Не лезь не в свое дело, — огрызнулся Амос. — Глупый старый болван!

Однажды в базарный день, когда в доме остались только Сэм и невестка, он убедил ее сходить к Эджи Уоткинс:

— Попрощайся с ней за меня! Она добрая женщина. Милая, опрятная, никогда никому зла не желала.

Мэри надела галоши и пошла, хлюпая грязью, к Скале по заболоченному пастбищу. Над полем дул ветер. Верхушки трав мелькали туда-сюда, словно косяки мелкой рыбешки; лиловели головки орхидей, краснели соцветия щавеля. Взлетела с криком парочка ржанок, а их мать тут же опустилась на землю рядом с тростниковыми зарослями и выставила для отвода глаз «сломанное» крыло. Развязывая веревку, скреплявшую входные ворота Крайг-и-Феду, Мэри мысленно произнесла молитву.

Залаяли собаки, и на пороге показалась Эджи Уоткинс. На ее лице не угадывались никакие чувства — оно совсем ничего не выражало. Перегнувшись вперед, она отвязала черную беспородную собаку, привязанную к кадке для дождевой воды.

— Пшла, — скомандовала она.

Собачонка только припала к земле и оскалилась, но, когда Мэри развернулась к воротам, бросилась вперед и впилась зубами ей в ладонь.

Амос, увидев забинтованную руку, догадался обо всем. Он пожал плечами и буркнул:

— Поделом!

К воскресенью рана загноилась. В понедельник Мэри пожаловалась на опухшую железу в под-

мышке. Амос с недовольным видом предложил отвезти ее на вечерний прием к врачу — заодно с маленькой Ребеккой, у которой болело горло.

Близнецы, вернувшись из школы домой, застали отца за смазыванием колесных осей. На кухне сидела Мэри — бледная, с рукой на перевязи, но улыбающаяся.

— А мы вас дожидались, — сказала она. — Не волнуйтесь. Делайте домашние задания и присматривайте за дедушкой.

На закате близнецы были вне себя от горя: старый Сэм уже два часа как отдал богу душу.

В пять часов вечера мальчики сидели за кухонным столом и решали арифметические задачки, и вдруг скрипнула половица на лестничной площадке. Дед осторожно, на ощупь, спускался вниз.

— Тсс! — шепнул Бенджамин, дернув брата за рукав.

— Ему нужно лежать, — сказал Льюис.

— Тсс! — повторил тот и оттащил брата вглубь кухни.

Старик проковылял через кухню и распахнул дверь. Дул ветер, перистые облака, казалось, танцевали вместе с лиственницами. Сэм нарядился как на свадьбу: на нем были сюртук с брюками и лакированные кожаные бальные туфли. В

красном шейном платке он выглядел молодым; в руке у него была скрипка со смычком.

Близнецы выглядывали из-за занавески.

— Ему нужно вернуться в постель, — прошептал Льюис.

— Тихо! — цыкнул на брата Бенджамин. — Он сейчас заиграет.

Старый инструмент издал грубый хрип. Но вторая нота оказалась мягче, а потом полились еще более приятные звуки. Сэм запрокинул голову. Его подбородок воинственно торчал над корпусом скрипки, ноги безупречно отстукивали такт по плитам пола.

Потом он кашлянул, и музыка прекратилась. Шажок за шажком, он с трудом взобрался по лестнице. Кашлянул еще и еще раз, а потом наступила тишина.

Мальчики поднялись на чердак и увидели, что дед лежит на стеганом одеяле и прижимает к себе скрипку. На его лице не было ни кровинки, на нем читалась какая-то веселая снисходительность. Шмель, залетевший внутрь, жужжал и бился об стекло.

— Не плачьте, милые мои! — Мэри приобняла сыновей здоровой рукой, когда они, рыдая, сообщили новость. — Пожалуйста, не плачьте. Ведь

рано или поздно это все равно бы случилось. Это была счастливая смерть.

Амос не пожалел денег на похороны и заказал окантованный латунью гроб у фирмы «Ллойд и Ллойд» из Престина.

Катафалк везла пара лоснившихся черных лошадей; на всех четырех углах крыши стояли черные урны с желтыми розами. Траурная процессия шла позади, аккуратно обходя лужи и глубокие колеи. Мэри надела ожерелье из мелких черных гагатов, доставшееся ей по наследству от тети.

Мистер Эрншо прислал венок из аронников, чтобы положить на крышку гроба. Когда гроб наконец опустили на пол у алтаря, на нем постепенно выросла целая гора из венков.

Большинство прислали люди, о которых Мэри ничего не слышала, зато все они прекрасно знали Сэма. В толпе, собравшейся в церкви, она почти ни с кем не была знакома. Оглядываясь по сторонам, она мысленно спрашивала себя: кто все эти старые кумушки, утирающие слезы и шмыгающие в носовые платки? Не может же быть, думала она, что у него было столько тайных пассий?

Амос поставил Ребекку на скамью, чтобы ей было видно происходящее.

— «Смерть, не тщеславься…»[27] — так начал свое обращение новый викарий. Но, хотя слова он произносил красивые, хотя голос у него был звучный и приятный, Мэри то и дело отвлекалась и возвращалась мыслями к сидевшим возле нее сыновьям.

Как же они выросли! Скоро начнут бриться, думала она. Но какие же они худые и изможденные! Как это тяжело — приходить домой из школы уставшими, а потом еще и вкалывать на ферме. И как нескладно они смотрятся в этих убогих костюмах. Если бы только у нее были деньги, она бы купила им красивую новую одежду. И обувь! Несправедливо все-таки заставлять их ходить в ботинках, которые малы им на целых два размера. И не давать им еще раз съездить на море. Ведь прошлым летом они так хорошо отдохнули, так порадовались жизни. А теперь вот Бенджамин снова кашляет. Хорошо бы связать ему еще один шарф на зиму, да только где же взять шерсть?

— «Пепел к пеплу, прах к праху…»

Комья земли с глухим стуком посыпались на крышку гроба. Мэри дала кладбищенскому сторожу соверен и вместе с Амосом пошла к

---

[27] Примечания: 27

Строка из «Священных сонетов» Джона Донна (1572–1631). Перевод Г. Кружкова.

погребальным воротам, где они встали, чтобы попрощаться со всеми, кто явился на похороны.

— Спасибо, что пришли, — говорила она. — Спасибо… Нет. Он умер тихой смертью… Это была благодать… Да, миссис Уильямс, хвала Господу! Нет. В этом году мы не приедем. Столько хлопот… — Она все кивала, вздыхала, улыбалась и пожимала руки всем этим добрым, соболезнующим людям, одному за другим, пока от рукопожатий у нее не заныли пальцы.

Потом, уже дома, когда шляпные булавки были вынуты и ее шляпка лежала, будто слизняк, на кухонном столе, она повернулась к Амосу с выражением искренней сердечной тоски и сочувствия, но он только отвернулся от нее и насмешливо пробурчал:

— Можно подумать, у тебя своего отца никогда не было.

17

В октябре того же года среди постоянных гостей Видения появилось новое лицо.

Мистер Оуэн Гомер Дэвис был священником конгрегационалистской церкви, он недавно переехал из Балы в Рулен и возглавил молельню в Майсифелине. Жил он вместе с сестрой на улице Джубили-террис в доме номер три; в саду у него стояла поилка для птиц и росла юкка.

Мистер Дэвис был грузным мужчиной с неприятно белой кожей, с валиком жира над воротником и с чертами лица, которые образовывали нечто вроде греческого креста. Его резко очерченный рот становился еще резче, если священнику вдруг случалось улыбнуться. Рукопожатие у него было ледяным, а голос — мелодичным и певучим.

Приехав сюда, он чуть ли не первым делом поссорился с Томом Уоткинсом из-за стоимости гроба. Одного этого было достаточно, чтобы расположить к нему Амоса, хотя Мэри видела в нем какую-то ходячую несуразность.

Библию он воспринимал совсем по-детски. Понятие Пресуществления было слишком невра-

зумительным для его буквалистского ума; глядя на то, с каким ханжеским видом он опускал в чашку чая таблетку сахарина, Мэри заподозрила его в слабости к липким пирожным.

На одном из чаепитий он с важным видом положил на стол кулаки и заявил, что в аду «жарче, чем в Егилипте или Ямайко!» Тут Мэри пришлось прикрыть лицо салфеткой (хотя за последнюю неделю она ни разу не улыбнулась).

Она нарочно провоцировала его, надевая много украшений.

— Ах! — укоризненно вздыхал он. — Грех Иезавели!

Он морщился всякий раз, как Мэри открывала рот, словно давая понять, что уже один английский выговор обрекает ее на муки вечные, и, похоже, вознамерился увести ее мужа на иную стезю — впрочем, Амос и сам легко поддавался влиянию.

Вражда с Уоткинсом давно лишила его покоя. Он просил у Бога наставлений. И вот появился человек Божий, который пожелал принять его сторону. Амос с яростной сосредоточенностью прочитал брошюрки, которые проповедник выкладывал на чайный столик, и вышел из лона англиканской церкви, забрав близнецов из шко-

лы. Он заставил Бенджамина спать отдельно от брата — на сеновале; а когда увидел, как сын крадучись поднимается по лестнице с кораблем-в-бутылке, отобрал сувенир.

Близнецам приходилось трудиться день-деньской, по десять-двенадцать часов, пока они не падали от усталости, — конечно же, кроме воскресений, когда вся семья только и делала, что молилась.

Молельня в Майсифелине была одной из старейших неангликанских молелен в стране.

Это длинное каменное здание, лишенное каких-либо украшений, если не считать солнечных часов над входом, располагалось между рекой и улицей и по периметру было обсажено португальской лавровишней. Рядом стояла трапезная — строение из гофрированного железа, выкрашенного зеленой краской.

Внутри молельни стены были побелены. Здесь стояли отдельные огороженные дубовые сиденья и простые дубовые скамьи, а на кафедре значились имена прежних священников — всех этих Парри, Уильямсов, Воганов и Джонсов, — которые служили здесь еще с эпохи Английской республики. В восточном конце стоял алтарь с выгравированной датой: «1682».

В Индии Мэри насмотрелась на повадки неангликанских миссионеров, и для нее само слово «молельня» служило синонимом грубости, ограниченности и нетерпимости. И все же она сумела затаить свои чувства и согласилась туда ходить. Мистер Гомер Дэвис казался столь отъявленным жуликом, что, пожалуй, лучше всего было не вмешиваться, чтобы он и дальше охмурял Амоса: тогда, быть может, в один прекрасный день муж и сам опомнится. Она отправила викарию записку, в которой объясняла причину своего отсутствия. «Это временный этап», — приписала она в постскриптуме: она просто не могла относиться ко всему этому всерьез.

Как можно было сохранять серьезную мину при виде миссис Реувен-Джонс, наигрывавшей гимны Уильяма Уильямса[28] на хрипливой фисгармонии? Или не рассмеяться, слушая щебет голосов и глядя на колыханье всех этих перьев на шляпках? А мужчины? Всю неделю это были рассудительные фермеры, а сейчас они потели, раскачивались и выкрикивали: «Аллилуйя!», «Аминь!» и «О да, Господи! Да!». А когда посреди чтения 150-го псалма миссис Гриффитс из Кум-

[28] Примечания: 28

Уильям Уильямс (Уильям Уильямс Пантицелин; 1717–1791) — известный валлийский поэт и писатель, автор многих религиозных гимнов.

Кринглина полезла в сумочку и вытащила оттуда тамбурин, Мэри снова пришлось закрыть глаза и подавить непроизвольный смех.

Ну а проповеди? Ведь это же была несусветная чушь!

Однажды в воскресенье мистер Гомер Дэвис перечислил всех животных, взошедших на Ноев ковчег, а на вечерней службе превзошел самого себя. Он поставил пять зажженных свечей на краю своей кафедры и устремил палец на паству, отбросив пять теней на потолок. А потом низким, «литургическим» голосом начал проповедь:

— Я вижу ваши грехи, как кошачьи глаза в ночной тьме…

Несмотря на все это, пришло время, когда Мэри стало стыдно при мысли о том, что она потешалась в душе над этими строгими и сдержанными церемониями; пришло время, когда от звучания Слова Божия задрожали стены, и заезжий проповедник сумел пробрать ее до глубины души своим красноречием:

— Он — Черный Агнец, мой возлюбленный Агнец, он черен как ворон, и лучше тысячи других. Возлюбленный мой — Белый Агнец, он румяный Агнец и лучше десяти тысяч других. Он — Красный Агнец. Кто это идет от Едома, в червленых

ризах от Восора? Не Дивный Агнец ли это, братья мои? Заклинаю вас, братья мои, поймайте же Агнца сего! Поймайте, удержите его! Удержите же за ногу Агнца сего!..[29]

После проповеди пастырь пригласил прихожан причаститься. Они расселись на скамьи — мужья напротив жен. Вдоль всего стола тянулась дорожка свежевыстиранной льняной ткани.

Проповедник разре́зал хлеб на ломти, благословил их и стал передавать по кругу на оловянном блюде. Потом благословил вино в оловянном кубке. Мэри взяла кубок из рук соседки, и, когда ее губы коснулись края, на нее снизошло озарение: вот же, это и есть Тайная вечеря; это и есть Верхняя горница; все большие соборы построены не столько во славу Господа, сколько из тщеславия человека; все папы и епископы суть кесари и князья земные. И если потом кто-то укорял Мэри за то, что она оставила лоно англиканства, она, понурив голову, просто отвечала:

— Молельня дает мне большое утешение.

Амос же все бесновался, ярился и мучился от головных болей и бессонницы. Еще никогда и нигде — даже среди факиров и флагеллантов

---

[29] Примечания: 29

Здесь вольно смешаны мотивы и цитаты из библейских книг: Песн. 5: 10, Ис. 63: 1.

— Мэри не наблюдала такого фанатизма. Вечерами, напрягая зрение при свечах, он выискивал в Библии оправдания своей правоты. Он читал Книгу Иова: «Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя…»[30]

Он грозился уехать, купить ферму в Кармартеншире, в самом сердце Уэльса. Но на банковском счету у него было пусто, и жажда мщения приковывала его к месту.

В марте 1912 года он застиг Уоткинса, когда тот пытался сбить ворота. Произошла драка, и домой он пришел пошатываясь, с глубоким порезом над виском. Через неделю почтальон нашел на обочине дороги мула Уоткинсов с выпущенными кишками, но еще дышавшего. А первого апреля, в день дурака, Амос, проснувшись, обнаружил на навозной куче труп своей любимой собаки. Такого удара он не ожидал и долго рыдал, как дитя.

Мэри с тоской думала, что это не кончится никогда. Она смотрела в зеркало на свое лицо — более серое и потрескавшееся, чем пятнистая поверхность амальгамы. Ей хотелось умереть, но она понимала, что должна жить ради близнецов. Чтобы как-то отвлечься, она читала те романы,

---

[30] Примечания: 30
Иов 30: 17.

что любила в юности, пряча их от Амоса, потому что, пребывая в теперешнем ужасном настроении, он бы просто их сжег. Однажды в зимний день, сомлев у очага, она задремала с раскрытым «Грозовым перевалом» на коленях. Пришел Амос, грубо встряхнул жену и ударил ее книгой по лицу так, что угол переплета угодил ей прямо в глаз.

Мэри вскочила. С нее было довольно. Страх покинул ее, она снова ощутила свою силу. Выпрямила спину и бросила ему в лицо:

— Безмозглый дурак!

Он стоял возле пианино с отвисшей нижней губой, не переставая трястись. А потом исчез.

Теперь ей оставался только один путь — уехать к сестре в Челтнем. Ведь у сестры был дом и доход. Она вынула из секретера два листка почтовой бумаги. «Нет большего одиночества, — завершала она последний абзац своего письма, — чем одиночество в браке…»

На следующее утро перед завтраком Амос, выкатывая из маслобойни бидон с молоком, увидел, как она передает почтальону конверт. Казалось, он угадал содержание письма — от первой строчки до последней. Он попытался быть поласковей с близнецами, но они глядели на него по-волчьи.

По мере того как синяк вокруг глаза из тем-

но-сизого делался желтовато-лиловым, Мэри все больше смягчалась и веселела. Зацвели нарциссы. Она уже начала прощать его — и, ловя виноватые взгляды мужа, поняла, что он принимает ее условия. Она боролась с соблазном злорадства. Пришло письмо из Челтнема. Он страшно нервничал, глядя, как она вскрывает конверт.

Ее глаза забегали по строчкам, написанным стародевическим почерком, а потом она запрокинула голову и рассмеялась.

...Отец всегда говорил, что ты своевольная и порывистая... Никто не может сказать, что я не предостерегала тебя... Но супружество есть супружество... Священный долг... И ты должна оставаться с мужем и в радости, и в горе...

Мэри объявила:

— Я даже не стану тебе пересказывать, что там написано.

Она поцеловала его. Ее губы дрожали от нежности, а письмо уже лизали языки пламени.

18

Через полтора года Бенджамин вдруг вытянулся и обогнал Льюиса в росте на три дюйма.

Вначале у него пробились черные усики, потом пушок перекинулся на щеки и подбородок. Все лицо покрылось прыщами, и на него стало страшно смотреть. Ему было стыдно и неловко из-за того, что он так вымахал и стал крупнее брата.

А Льюис мучился от зависти — он завидовал ломающемуся голосу брата и даже его прыщам и тревожился, что сам никогда не вырастет таким же высоким. Они перестали смотреть друг другу в глаза и помалкивали во время еды. В то утро, когда Бенджамин впервые побрился, Льюис с громким топотом выскочил из дома.

Мэри принесла настольное зеркало и поставила на кухонный стол тазик с теплой водой. Амос заточил бритву о свой кожаный ремень и показал сыну, как ее держать. Но Бенджамин так волновался и рука у него двигалась так неуверенно, что, когда он смыл пену, все лицо оказалось в кровоточащих порезах.

Через десять дней он снова побрился — уже в одиночестве.

Раньше бывало так, что если один из близнецов вдруг видел собственное отражение — в зеркале, в окне или даже на водной глади, то часто принимал его за брата. Вот и теперь, когда Бенджамин приблизил к лицу острую бритву и посмотрел в зеркало, ему вдруг померещилось, что он собирается перерезать горло Льюису.

После этого он упрямо отказывался бриться до тех пор, пока Льюис не догонит его в росте и не отрастит бороду. Мэри наблюдала за сыновьями и думала о том, что когда-нибудь они снова вернутся к прежним знакомым привычкам и будут жить с оглядкой друг на друга. Между тем Льюис ухлестывал за девушками, а так как он был проворным и привлекательным, девушки его поощряли.

Льюис встречался с Рози Файфилд. Как-то раз они поцеловались за стогом сена так, что дыхание перехватило, а в другой раз на хоровом вечере двадцать минут держались за руки. Однажды безлунным вечером, идя по улице в Леркенхоуп, он заметил девушек в белых платьях, искавших светляков в живой изгороди. Услышал смех Рози, журчавший в темноте, как чистый холодный ручеек, и обвил рукой ее талию под атласным пояском, но она шлепнула его:

— А ну-ка, поди прочь, Льюис Джонс! И не тычься мне в лицо своим большим носом!

Бенджамин любил мать и брата, а девочки ему не нравились. Всякий раз, как Льюис выходил из комнаты, он смотрел ему вслед и задерживал взгляд на дверном проеме, а его радужные оболочки приобретали серый оттенок; когда же Льюис возвращался, зрачки у Бенджамина блестели.

Братья так и не вернулись в школу. Они трудились на ферме и, если только работали вместе, управлялись за четверых. Когда же их разлучали — например, одному поручалось копать картошку, а второму толочь кормовую репу, — то у Бенджамина силы быстро иссякали, он начинал хрипеть, кашлять и слабеть. Отец заметил это и (как сметливый фермер, привыкший думать прежде всего о выгоде) понял, что разлучать их не стоит. Близнецам понадобилось еще десять лет, чтобы все-таки выработать разумную систему разделения труда.

Льюис по-прежнему мечтал о дальних краях, но интерес его со временем сместился на воздухоплавание. Когда в газете появлялась фотография цеппелина — или даже просто упоминалось имя его создателя-графа, — он обязательно вырезал

эту статью и приклеивал в свой альбом.

Бенджамин говорил, что цеппелины похожи на огурцы.

Он никогда не задумывался о других странах. Он хотел всю жизнь прожить вместе с Льюисом, есть одну с ним пищу, носить такую же одежду, делить с ним кровать и всегда замахиваться топором в ту же сторону, что и брат. К Видению вели четверо ворот — и в глазах Бенджамина они были четырьмя вратами рая.

Он любил овец, и работа на свежем воздухе снова сделала его сильным. Обычно он первым замечал у овец размягчение почек или выпадение матки. В пору окота обходил стадо с крюком на руке и проверял сосцы у овец, чтобы убедиться, что у всех течет молоко.

А еще он был очень религиозен.

Однажды вечером, пересекая пастбище и наблюдая за ласточками, носившимися совсем низко над одуванчиками, и за овцами на фоне заката, Бенджамин заметил, что у каждой вокруг головы — золотой ореол. В тот миг он понял, почему Агнец Божий всегда изображается с нимбом.

Бенджамин часами упорядочивал свои понятия о грехе и воздаянии, выстраивая их в обширную богословскую систему, которая — как

знать — когда-нибудь спасет мир. А потом, когда глаза его утомлялись от мелкого шрифта (у обоих близнецов зрение было неважное), рассматривал цветную репродукцию «Широкого и узкого пути».

Ее подарил Амосу мистер Гомер Дэвис, и она висела рядом с камином в рамке с готической резьбой.

С левой стороны дамы и господа группками направлялись к «Пути погибели». По бокам от ворот, ведущих туда, стояли изваяния Венеры и Пьяного Вакха, за ними виднелась веселая толпа — там пили, танцевали, играли в азартные игры, ходили по театрам, закладывали имущество в ломбард и ездили на поездах по воскресеньям.

Потом изображались люди, зашедшие по той же дороге еще дальше: те грабили, убивали, порабощали и шли на войну. И наконец, еще выше, паря над какими-то пылающими башенками, похожими на Виндзорский замок, прислужники Дьявола взвешивали на весах души грешников.

На правой же стороне картины был показан «Путь спасения», и там постройки имели безошибочно узнаваемый уэльский облик. Более того, молельня, воскресная школа и институт диаконис — с высокими щипцами и шиферными

кровлями — напоминали Бенджамину иллюстрации из брошюры с видами Лландриндод-Уэллс.

На этой узкой и трудной дороге видны были лишь представители низших сословий. Совершая бесчисленные благочестивые поступки, они тоже в конце концов взбирались по склону горы — и склон этот выглядел точь-в-точь как Черная гора. А там, на вершине, раскинулся Град Новый Иерусалим, где праведников ждал Агнец Сионский и встречал хор трубящих ангелов.

Этот-то образ и преследовал воображение Бенджамина. Он всерьез верил, что дорога в ад — это дорога, ведущая в Херефорд, а дорога в рай уводит к Раднорским горам.

19

А потом началась война.

Уже много лет торговцы в Рулене твердили, что будет война с Германией, хотя никто толком не понимал, что такое война и что она принесет. Настоящей войны ведь не было со времен Ватерлоо, и все сходились на том, что теперь, когда существуют железные дороги и современное оружие, война окажется совершенно ужасной или закончится очень быстро.

Седьмого августа 1914 года Амос Джонс и его сыновья косили чертополох, когда какой-то человек прокричал из-за изгороди, что немцы вошли в Бельгию и отвергли ультиматум Англии. Еще он сообщил, что в городской ратуше открылся вербовочный пункт и двадцать местных парней уже записались добровольцами.

— Ну и дураки. — Амос пожал плечами и бросил сердитый взгляд вниз, в сторону Херефордшира.

Все трое продолжали косить, но позже, когда садились за ужин, у мальчиков был очень напуганный вид.

Мэри в тот день мариновала свеклу, и фартук у нее был в лиловых пятнах.

— Не бойтесь, — сказала она. — Вас не заберут на фронт, вы еще годами не вышли. Да и война, наверное, к Рождеству закончится.

Пришла зима, а войне и конца не было видно. Мистер Гомер Дэвис начал произносить патриотические проповеди, а однажды в пятницу передал весточку на ферму Видение: Джонсам предписывалось явиться в пять часов в зал для собраний на лекцию с показом диапозитивов.

Небо темнело, багровые тучи постепенно становились свинцовыми. На улице рядом с молельней были припаркованы два лимузина, и сбившиеся в толпу деревенские пареньки, вырядившиеся в свою лучшую воскресную одежду, болтали с шоферами или просто заглядывали через окна внутрь салонов, рассматривая меховые коврики и кожаную обивку сидений. Близнецы никогда еще не видели подобных автомобилей вот так, вблизи. В сарае рядом шумел электрогенератор.

Мистер Гомер Дэвис стоял в вестибюле и приветствовал всех входящих рукопожатием и гадкой улыбочкой. Война, говорил он, это крестовый поход во имя Христово.

Внутри зала стояла горячая печка и окна запотели. Выстроенные в ряд электрические лампочки отбрасывали туманный желтый свет на дощатые

лакированные стены. Там и сям пестрели маленькие государственные флаги и висел портрет лорда Китченера[31].

Посреди прохода стоял проектор. Вместо экрана на стене вывесили белую простыню, и майор в форме цвета хаки, с рукой на перевязи, передавал ящичек со слайдами даме, настраивавшей аппарат.

Окутанный сигарным дымом главный оратор, полковник Бикертон, уже занял место на сцене и болтал с ветераном англо-бурской войны. Свою искалеченную ногу он вытянул в сторону публики. На зеленой суконной скатерти, рядом с графином воды и высоким стаканом, лежала шелковая шляпа.

Различные служители Бога (все они позабыли о своих разногласиях, утопив их в пламени патриотизма) подходили к сквайру, чтобы засвидетельствовать свое почтение и участливо поинтересоваться, не нужна ли ему какая-нибудь помощь.

— Нет, благодарю вас, я здесь очень удобно

---

[31] Примечания: 31

Горацио Герберт Китченер (1850–1915) — британский военачальник, главнокомандующий во время Второй англо-бурской войны. В августе 1914 года был военным министром Великобритании и развернул масштабную кампанию по вербовке добровольцев, а в 1916 году ввел всеобщую воинскую повинность.

расположился. — Полковник отчетливо выговаривал каждый слог. — Спасибо, что так обо мне заботитесь. Я смотрю, явилось много людей. Это обнадеживает, правда?

Зал и впрямь набился битком. Молодые люди со свежеобветренными лицами теснились на скамейках или проталкивались вперед, чтобы как следует рассмотреть дочку Бикертонов, мисс Изабеллу. Брюнетка с влажными алыми губами и влажными карими глазами, она расположилась рядом с помостом, спокойная и улыбчивая, в накидке из меха черно-бурой лисицы. Из ее изящной шляпки торчало серо-розовое страусиное перо, смазанное глицерином. Рядом с ней сидел, скорчившись, юноша с морковно-рыжими волосами и широко разинутым ртом.

Это был Джим из Скалы.

Джонсы сели на скамью в самом конце зала. Мэри чувствовала, что сидевший рядом муж внутренне напряжен и очень зол. Она боялась, как бы он не устроил скандал.

Заседание открыл руленский викарий: он поблагодарил мистера Гомера Дэвиса за предоставленное помещение и за электричество.

Весь зал огласился гулом: «Правильно! Правильно!» И священник приступил к делу: загово-

рил об истоках и причинах войны.

Мало кто из фермеров-горцев понял, почему убийство какого-то эрцгерцога на Балканах должно было привести к вторжению в Бельгию, но, когда викарий заговорил об «угрозе нашей любимой империи», люди распрямили спины.

— Не настанет покой, — возвышал голос оратор, — пока эта раковая опухоль не будет вырвана из тела европейского общества. Немцы еще завизжат, как визжат все задиры, когда их загоняют в угол. Но не должно быть никаких компромиссов — дьяволу не жмут руку. Бесполезно читать мораль аллигатору. Его нужно убивать!

Публика захлопала, и священник сел.

Следующим выступал майор, получивший ранение (по его словам) при Монсе[32]. Свою речь он начал с шутки про «рейнских свиноделов». Полковник встрепенулся и вставил:

— А вот мне никогда рейнвейны не нравились. Слишком фруктовый букет, не правда ли?

Потом майор поднял свою щегольскую тросточку.

— Свет! — скомандовал он, и свет погас.

По экрану одно за другим проносились раз-

---

[32] Примечания: 32

Сражение при Монсе в Бельгии произошло в ходе Первой мировой войны в августе 1914 года.

мытые изображения: томми[33] в лагере, томми на параде, томми на пароме, пересекающем Ла-Манш, томми во французском кафе, томми в окопах, томми, примыкающие штыки, томми, идущие в атаку. Некоторые из слайдов были настолько расплывчатыми, что, глядя на экран, невозможно было понять, что это: тень от страусиного пера мисс Изабеллы или же взрыв снаряда.

Последний слайд изображал нелепую физиономию с вороньими крыльями над верхней губой и золотым орлом на шлеме.

— Это наш враг, — сказал майор, — кайзер Германии Вильгельм Второй.

Раздались крики: «Вздернуть его!» и «Перемолоть на фарш!» — после чего майор сел на место.

Затем поднялся на ноги полковник Бикертон и принес извинения за отсутствие жены — ей нездоровилось.

Его сын, сообщил он, воюет во Фландрии. И он очень надеется, что после тех волнующих сцен, что были сейчас продемонстрированы публике, среди местных жителей найдется не много желающих уклониться от своего долга.

---

[33] Примечания: 33

Томми — собирательное прозвище британского солдата.

— Когда война закончится, — сказал он, — в нашей стране будет два класса людей. Те, кто был годен к службе в наших вооруженных силах и воздержался от вступления в них…

— Позор! — пронзительно закричала женщина в голубой шляпке.

— Я — первый! — прокричал молодой человек и вскинул руку.

Но полковник поднял руки, показав публике свои запонки, и толпа умолкла.

— …и те, кто был годен и вызвался исполнить свой долг перед своим королем, своей страной… и своими женщинами…

— Да! Да! — Вновь с проворным изяществом в воздух взлетели руки, а потом толпа снова затихла.

— Второй из упомянутых классов, излишне говорить, станет цветом нации, а его представители, по сути, истинными аристократами; на склоне дней этих людей будет утешать сознание выполненного долга — вот чего Англия ждет сейчас от каждого мужчины…

— А как насчет Уэльса? — раздался певучий голос справа от мисс Бикертон.

Но реплика Джима потонула в общем многоголосом гуле.

Добровольцы ринулись к майору, выкрикивая свои имена. Слышались возгласы: «Гип-гип-ура!» Другие затянули песню: «Ведь они такие славные ребята…» Женщина в голубой шляпке хлестала своего сына по лицу и визжала: «А я сказала, ты пойдешь!» На лицо полковника снизошло выражение детской безмятежности.

Волнующим тоном он продолжил:

— И знайте, когда лорд Китченер говорит, что вы нужны ему, он говорит это ВАМ. Потому что каждый из вас, отважных молодых людей, неповторим и необходим. Несколько минут назад я слышал голос, раздавшийся слева от меня и спрашивавший: «А как насчет Уэльса?»

Внезапно наступила мертвая тишина.

— Поверьте, эти слова — «А как насчет Уэльса?» — попадают мне в самое сердце. Ведь в моих жилах течет валлийская кровь, поровну смешанная с кровью английской. И потому… потому-то сегодня вечером мы с дочерью привезли сюда два автомобиля. Те из вас, кто хочет записаться в наш любимый Херефордширский пехотный полк, могут поехать со мной… А те из вас, о верные валлийцы, кто предпочтет сражаться в другом славнейшем полку — с пограничниками Южного Уэльса, могут поехать вместе с моей дочерью и

майором Лливелин-Смитом в Брекон…

Вот так Джим из Скалы и попал на войну — чтобы уехать из дома подальше, и ради девушки с влажными алыми губами и влажными карими глазами.

20

В Индии Мэри однажды видела уланов, ехавших к фронтиру, и теперь от звуков рожка у нее по спине бежали мурашки. Она воодушевилась делом союзников, поверила в необходимость победы. И, откликаясь на призыв миссис Бикертон «вязать для солдат теплые вещи», вместе с Ребеккой в свободные часы вязала перчатки и балаклавы для мальчиков на фронте.

Амос же ненавидел войну и не желал иметь с ней ничего общего.

Он спрятал своих лошадей от ремонтёров[34] и проигнорировал распоряжение министерства посеять пшеницу на северном склоне. Для него было делом чести — как для мужчины и валлийца — не дать своим сыновьям воевать за англичан.

Он выискивал в Библии подтверждение своих взглядов. Конечно же, война была карой небесной, насланной Богом на нечестивые города равнины. Конечно же, все, о чем теперь писали в газетах, — обстрелы, бомбежки, подводные

---

[34] Примечания: 34

Ремонтёр — должностное лицо в армии, занимающееся закупкой лошадей для войск.

лодки и горчичный газ, — все это были орудия Его возмездия. А что, если кайзер — это новый Навуходоносор? Что, если англичан ждет семидесятилетнее пленение, а пощаду заслужат лишь те немногие, кто, подобно рехавитам, не пьет вина, не живет в городах и не поклоняется ложным идолам, а чтит Бога живого?

Амос изложил эти соображения мистеру Гомеру Дэвису, но тот уставился на него как на сумасшедшего и обозвал предателем. Амос в свою очередь обвинил его в попрании шестой заповеди и перестал ходить к нему в молельню.

В январе 1916 года после того, как вышел указ о всеобщей воинской повинности, он узнал, что в Рулене проводит регулярные собрания Общество друзей рехавитов, и таким образом познакомился с сознательными отказчиками.

Он брал с собой близнецов на эти собрания, проходившие на продуваемом сквозняками чердаке над сапожной лавкой на Южной улице.

Большинство членов общества оказались ремесленниками или рабочими, но был среди них и один джентльмен — долговязый молодой парень с большим кадыком, носивший обтрепанный твидовый костюм и переписывавший выспренней прозой протоколы заседаний.

Рехавиты считали чай греховным возбуждающим средством, поэтому из угощений подавали только черносмородиновую наливку и тонкие печенья из аррорута. Выступавшие один за другим заявляли о своей вере в мир без войны и рассказывали о судьбе своих товарищей. Многим был вынесен приговор военно-полевого суда, другие сидели в тюрьме. Один из отказчиков, каменотес, сидевший в Херефордских казармах для арестантов, объявил голодовку, когда сержанты пытались заставить его торговать налево полковыми запасами рома. Он умер от пневмонии после принудительного кормления: ему в легкие попала смесь молока с какао, впрыснутая шприцом через ноздри.

— Бедный Том! — вздохнул сапожник и призвал почтить его память трехминутным молчанием.

Все присутствующие встали и преклонили лысые головы, заблестевшие в круге света. Потом взялись за руки и запели песню, слова которой они знали, а мелодию — нет:

Народ с народом, земля с землей,
Оружье сложив, задышат свободно!
В едином порыве душ и умов

Родится всемирное братство[35].

Поначалу Мэри с трудом удавалось примирить буйный нрав мужа с его пацифизмом; но после новостей с Соммы[36] она стала думать, что, пожалуй, правда на его стороне.

Дважды в неделю она спускалась в Леркенхоуп, чтобы приготовить еду для Бетти Палмер — бедной вдовы, у которой единственный сын погиб в бою, после чего она потеряла желание есть. А в мае 1917 года Мэри помирилась наконец с Эджи Уоткинс.

Она увидела одинокую фигуру в черном на рынке — она таскалась от ларька к ларьку и утирала слезы рукавом.

— Видать, Джима убили! — кричала она.

Лицо у Эджи распухло от плача, шляпка съехала набок. Моросил дождь, уличные торговцы накрывали товары и прятались под арками ратуши.

— Джим! — рыдала Эджи. — Он во Франции, в обозе с мулами. И вот приходит эта карточка, а

---

[35] Примечания: 35

Отрывок из гимна английского поэта, критика и педагога Джона Аддингтона Симондса (1840–1893).

[36] Примечания: 36

В битве при Сомме — одном из крупнейших сражений в ходе Первой мировой войны — было убито и ранено более 1 000 000 человек.

там, видать, написано, что его убили.

Она потыкала скрюченными от артрита пальцами в свою корзину с яйцами, вытащила помятую карточку и протянула ее Мэри.

Это была одна из стандартных открыток полевой службы, которые солдатам, находившимся на линии фронта, разрешалось посылать домой после сражения.

Мэри нахмурилась, пытаясь разобрать, что же там накарябано, а потом ее лицо расплылось в улыбке.

— Да нет, Эджи, его не убили! С ним все хорошо. Посмотри! Этот крест значит: «Со мной все в порядке».

Лицо старухи исказила судорога. Не поверив своим ушам, она вырвала у Мэри карточку. Но потом, увидев распростертые для объятья руки и слезы на глазах Мэри, выронила корзину, и две женщины обнялись и расцеловались.

— Ну посмотри, что ты наделала, — сказала Мэри, показывая на яичные желтки, растекавшиеся по блестящим мокрым булыжникам.

— Яйца! — презрительно фыркнула миссис Уоткинс.

— И гляди-ка! — сказала Мэри, вновь беря у нее открытку. — Здесь есть адрес, куда отправлять

посылки. Давай пошлем ему пирог!

В тот же день она испекла большой фруктовый пирог — с изюмом, орехами и глазированными вишнями. На верхней корочке она вывела бланшированным миндалем: «ДЖИМ ИЗ СКАЛЫ» и оставила пирог на столе, чтобы Амос тоже полюбовался.

Он только пожал плечами и сказал:

— Я бы тоже не отказался от такого пирога.

А спустя день или два он повстречал на улице Тома Уоткинса. Они кивнули друг другу — тем самым молча обозначив перемирие.

Но новости с фронтов Великой войны становились все хуже и хуже.

Матери сидели на своих кухнях и беспомощно дожидались стука почтальона. Когда приходило письмо от короля, на окне появлялась карточка с черной полосой. В одном домике по дороге в Рулен Мэри увидела сразу две такие открытки между стеклом и сетчатой занавеской. А после битвы при Пашендейле[37] к ним присоединилась третья.

— Какой ужас, — ахнула она и схватила Амоса за рукав, когда они проезжали мимо. — Неужели

---

[37] Примечания: 37

Битва при Пашендейле продолжалась с 31 июля по 10 ноября 1917 года.

всех троих?

Близнецам должно было исполниться восемнадцать в августе, и они подлежали призыву в армию. Всю зиму Мэри преследовал один и тот же сон: ей снился Бенджамин, стоявший под яблоней, с красной дыркой от пули во лбу и укоризненной улыбкой.

Двадцать первого февраля — эта дата долго потом вызывала у Мэри содрогание — к Видению подъехал на своем автомобиле мистер Аркрайт, руленский стряпчий. Он был одним из пятерых членов местной военной медкомиссии. Это был франтоватый миниатюрный человек с арктическими глазами и песочного цвета вощеными усами, в серой фетровой шляпе и сером саржевом пальто; на пассажирском сиденье сидела его рыжая сука — ирландский сеттер.

Он начал с того, что требовательным тоном поинтересовался: почему, во имя всего святого, близнецы не явились за удостоверениями личности и не встали на воинский учет? Разве они не понимают, что уже нарушили закон? Потом, всеми силами стараясь не запачкать свои гетры и ботинки, он принялся записывать данные: площадь участка, поголовье скота, количество строений, и под конец — с торжественным видом

судьи, выносящего приговор, — объявил, что Видение — слишком маленькая ферма и потому на освобождение от воинской службы может рассчитывать только один из сыновей.

— Конечно, — добавил он, — никому из нас не нравится отрывать ребят от земли. Нехватка продовольствия и все такое. Но закон есть закон!

— Они же близнецы, — запинаясь, пробормотал Амос.

— Я знаю, что они близнецы. Но, голубчик мой, мы же не можем делать поблажки…

— Если их разлучить, они умрут…

— Ну вот только не надо! Такие здоровые парни! Никогда не слышал такого вздора!.. Моди!.. Моди!

Рыжая сука облаивала кроличью нору, которую обнаружила в изгороди. Она вприпрыжку понеслась обратно к хозяину и снова уселась на пассажирское место. Мистер Аркрайт завел мотор и отпустил ручной тормоз. Давя шинами ледяную корку на лужах, машина развернулась и поехала по двору к выходу.

— Мелкий деспот! — Амос замахнулся кулаком и остался стоять в сизом облаке выхлопных газов.

21

Когда настал следующий базарный день, Амос подошел к управляющему большой фермой близ Ридспенса, которому, как говорили, не хватало рабочих рук. Этот человек согласился взять Льюиса к себе пахарем и, когда его дело будет разбирать военная медкомиссия, выступить поручителем.

Бенджамин, узнав об этом, чуть не потерял сознание.

— Не волнуйся, — попыталась утешить его Мэри. — Он вернется, когда война закончится. И потом, это всего-то в десяти милях отсюда, так что по воскресеньям он будет навещать нас.

— Ты не понимаешь, — ответил Бенджамин.

Когда пришло время уезжать, Льюис держался молодцом. Он завязал в узел кое-какую одежду, поцеловал на прощанье мать и брата и, вскочив в двуколку, сел рядом с Амосом. Бенджамин смотрел вослед удалявшейся повозке, и ветер трепал рукава его куртки.

Он начал чахнуть.

Он продолжал нормально питаться, но от одной мысли о том, что Льюис ест чужую еду с чужих тарелок за чужим столом, ему становилось все

грустнее и грустнее, и вскоре он стал худеть и слабеть. По ночам Бенджамин вытягивал руку, чтобы прикоснуться к брату, но натыкался на холодную несмятую подушку. Он перестал мыться, чтобы не напоминать себе о том, что — в ту же самую минуту — Льюис, быть может, вытирается чужим полотенцем.

— Ну не кисни так, — говорила ему Мэри. Она замечала, что разлука с братом невыносима для Бенджамина.

Он ходил в те места, где они с Льюисом играли в детстве. Иногда звал овчарку:

— Мотт! Мотт! Давай найдем хозяина! Где он? Где?

Собака принималась прыгать и вилять хвостом. Они вместе взбирались по крутым склонам Черной горы, пока не добирались до места, откуда открывался вид на реку Уай, блестевшую на зимнем солнце, и на коричневые свежевспаханные поля вокруг Ридспенса, где, быть может, как раз в это время пахал землю Льюис.

А иной раз он отправлялся в одиночестве в лощину и смотрел, как торфяная вода тихонько вливается в заводь, где они когда-то любили купаться, и течет дальше. Повсюду он видел лицо Льюиса — в поилке для скота, в ведре с молоком,

даже в лужицах жидкого навоза.

Он ненавидел Льюиса за то, что он уехал, и подозревал брата в похищении его, Бенджамина, души. Однажды, глядя в зеркало для бритья, он увидел, как лицо его делается все прозрачнее и призрачнее, словно стекло пожирало отражение, пока оно совсем не растворилось в хрустальном тумане.

Тогда он впервые задумался о самоубийстве.

Обычно Льюис являлся домой к воскресному обеду, разрумянившись после десятимильной пешей прогулки по сельской местности; краги у него были забрызганы грязью, а на бриджи налипали сухие репейники.

Он развлекал семью рассказами о своей жизни на большой ферме. Работа была ему по душе. Ему нравилось возиться с новомодной техникой, он уже водил трактор. Нравилось ухаживать за породистыми херефордскими коровами. Ему был симпатичен управляющий, охотно рассказывавший о различных породах. Он подружился с одной из молочниц. А вот скотовода-ирландца терпеть не мог: это был «чертов пьяница и варвар».

Однажды в среду, ближе к концу апреля, управляющий послал его поездом в Херефорд вместе

с несколькими головами скота на откорм — для продажи на аукционе. Поскольку сами торги состоялись в одиннадцать часов, остаток дня оказался свободен.

День был пасмурный, и тучи низко нависали над башней собора. Дождь со снегом падал серыми полосами на мостовую и барабанил по клеенчатым крышам экипажей. В Верхнем городе несчастные запряженные лошади стояли вереницей у раздувшейся от воды сточной канавы, а под крашеным зеленым навесом несколько извозчиков грели руки над угольной жаровней.

— Заходи к нам, дружище! — позвал один из них, и Льюис зашел под навес.

Проехала военная машина, потом мимо прошли два сержанта в макинтошах.

— Ужасный день для похорон, — сказал человек с нездоровым цветом лица.

— Да, ужасный, — согласился другой.

— А лет-то тебе сколько, дружище? — продолжал первый, шевеля кочергой угли в жаровне.

— Семнадцать, — ответил Льюис.

— А родился когда?

— В августе.

— Берегись, дружище! Берегись, а не то загребут тебя, как пить дать загребут.

Льюис заерзал на скамейке. И как только слякотный дождь немного унялся, пошел гулять по лабиринту переулков за пивоварней Уоткинса. Остановился у входа в бондарную мастерскую, увидел новенькие бочки среди гор желтых опилок. На другой улице услышал, как играет духовой оркестр, и пошел на его звуки.

Перед гостиницей «Зеленый дракон» собралась небольшая толпа зевак, чтобы поглазеть на похоронную процессию.

Хоронили полковника Херефордского полка, скончавшегося от боевых ран. Почетный караул шагал, устремив взгляды на кончики обнаженных мечей. Барабанщик был облачен в накидку из леопардовой шкуры. Играли «Похоронный марш» из «Саула»[38].

Колеса лафета скребли о щебеночное покрытие дороги, и гроб, обернутый в британский флаг, проехал как раз на уровне глаз наблюдавших за процессией дам. За лафетом последовали четыре черных автомобиля, где ехали вдова покойного, лорд-мэр и другие участники похорон. Когда зазвонили колокола, с колокольни слетела стая галок. Какая-то женщина в лисьих мехах вдруг

---

[38] Примечания: 38

«Саул» — драматическая оратория Г. Ф. Генделя (1738).

схватила Льюиса за руку и пронзительно выкрикнула:

— А вы, молодой человек, вам не стыдно расхаживать тут в гражданском платье?

Он проворно улизнул в переулок, отходивший в сторону рынка.

Аромат кофейных зерен заставил его остановиться перед изогнутым окном. На полках магазина стояли плетеные корзинки с чаем, насыпанным в виде конических горок. Названия сортов чая, видневшиеся на ярлыках, — дарджилинг, кимун, лапсан-соучун, улун — вмиг перенесли Льюиса за тысячи миль, на загадочный Восток. Кофе был разложен на нижних полках, и в каждом теплом коричневом зернышке ему мерещились теплые коричневые губы негритянки.

Он уже грезил о ротанговых хижинах и ленивых морях, как вдруг совсем рядом пронеслась телега мясника. Возчик проорал: «Берегись, приятель!» — и брызнувшая из-под колес грязная вода испачкала ему бриджи.

На Эйн-стрит он остановился у витрины «Мужской трикотаж господ Парберри и Уильямс» полюбоваться твидовой кепкой в ломаную клетку.

В дверях стоял господин Парберри собственной

персоной — обрюзгший мужчина с прядями маслянистых черных волос, уложенных кольцами вокруг черепа.

— Смелее, мой мальчик! — проговорил он мелодичным голосом. — За просмотр денег не берем. И что же вам приглянулось этим чудесным весенним утром?

— Кепка, — ответил Льюис.

Внутри магазина пахло клеенками и керосином. Мистер Парберри достал с витрины кепку, потрогал ярлычок, назвал цену — пять шиллингов и шесть пенсов, а потом добавил:

— Ладно, шесть пенсов уступлю!

Льюис провел кончиком большого пальца по рифленым ребрам двухшиллинговых монет, лежавших у него в кармане. Ему как раз сегодня выдали плату за работу. Денег у него при себе был фунт серебром.

Мистер Парберри нахлобучил кепку на голову Льюиса и развернул его лицом к большому зеркалу. Размер подходил. Кепка очень ему шла.

— Я возьму две, — сказал Льюис. — Вторую для брата.

— Вот и хорошо! — отозвался мистер Парберри и велел приказчику достать овальную шляпную коробку. Сам он стал раскладывать кепки на

прилавке, но двух в точности одинаковых не нашлось. Когда же Льюис упрямо заявил:

— Нет, мне нужны две совершенно одинаковые, — хозяин магазина потерял терпение и, брызгая слюной, крикнул:

— А ну-ка, убирайся, молокосос несчастный! Только зря время мое тратишь! Убирайся сейчас же!

В час дня Льюис зашел поесть в столовую «Город и графство». Официантка сказала, что столик будет готов через пять минут. Он ознакомился с меню, вывешенным на доске, и выбрал пирог с мясом и почками, а на десерт — рулет с джемом.

Фермеры с небритыми щеками уминали в немыслимых количествах пудинги с салом и кровяной колбасой; какой-то джентльмен шутливо отчитывал официантку за то, что она все никак не обслужит его. Время от времени сквозь слитный гвалт посетителей прорывался грохот тарелок, а с кухни долетали звуки сочной ругани. В обеденном зале было чадно и накурено. Под ногами шныряла полосатая кошка, на полу кое-где валялись опилки, мокрые от пролитого пива.

Развязная официантка снова появилась, усмехнулась, уперла руки в бедра и сказала:

— Ну что, красавчик?

Льюис бросился наутек.

Он купил пирог у уличного лоточника и, чувствуя, что настроение ему окончательно испортили, укрылся от дождя под козырьком магазина женских мод.

Манекены в нарядных платьях смотрели голубыми стеклянными глазами на мокрую улицу; рядом с портретами короля и королевы висел потрет Клемансо[39].

Льюис уже собирался откусить от пирога, как вдруг его охватил озноб. Он посмотрел на свои пальцы — кончики совсем побелели, — сразу догадался, что брат в опасности, и помчался на станцию.

На платформе № 1 стоял руленский поезд.

В купе было жарко и душно, окна запотели. Льюис по-прежнему дрожал, зубы у него лязгали. Он чувствовал, как под рубашкой кожа покрывается пупырышками от холода.

Вошла девушка с разрумяненными щеками, поставила корзину и уселась в дальний угол. Она сняла домотканый платок и шляпку, положила рядом с собой на сиденье. Был еще день, но такой пасмурный, что в вагоне зажгли свет. Свистнув и

---

[39] Примечания: 39

Жорж Бенжамен Клемансо (1841–1929) — премьер-министр Франции (1917–1920).

дернувшись, поезд тронулся.

Льюис протер рукавом запотевшее окно и стал смотреть на телеграфные столбы, один за другим проносившиеся по розовому отражению девушки в стекле.

— У вас лихорадка, — сказала она.

— Нет, — ответил он, даже не оглянувшись. — Это мой брат замерзает.

Он снова протер окно. Борозды вспаханного поля промелькнули, будто спицы колеса. Он увидел лесополосу у Кефна, а потом Черную гору, усыпанную снегом. Когда поезд подъезжал к Рулену, он стоял на площадке, уже открыв дверь и приготовившись спрыгнуть.

— Вам нужна помощь? — крикнула девушка ему вдогонку.

— Нет, — крикнул он в ответ и помчался по перрону.

Когда он добрался до Видения, было уже четыре часа. На кухне в одиночестве сидела Ребекка и с рассеянным видом штопала носок.

— Они ушли искать Бенджамина, — сказала она.

— Я знаю, где он, — сказал Льюис.

Он метнулся к крыльцу и поменял мокрый плащ на сухой. Натянул на лицо зюйдвестку и

вышел навстречу снегу.

В то утро, около одиннадцати часов, Амос поглядел на запад и сказал:

— Не нравятся мне эти облака. Лучше увести овец вниз.

Заканчивалась пора окота, и овцы с недавно родившимися ягнятами оставались на горе. Предыдущие десять дней погода стояла прекрасная. Дрозды вили гнезда, березы в лощине уже выпустили сережки. Никто не ожидал, что снова выпадет снег.

— Нет, — повторил Амос. — Не нравятся мне эти облака.

В груди он чувствовал какой-то холод, ноги и спина плохо гнулись. Мэри принесла ему башмаки и гетры — и вдруг заметила, как он постарел. Амос нагнулся завязать шнурки. Что-то хрустнуло у него в позвоночнике, и он бессильно рухнул на стул.

— Я схожу, — вызвался Бенджамин.

— Только быстро! — сказал отец. — Пока снег не пошел.

Бенджамин свистнул собаку и двинулся через поля к Гребешку. Добравшись туда, он стал подниматься по склону, выбрав более крутую тропу. Когда он достиг края обрыва, с тернового куста с

карканьем взлетел ворон.

Потом опустилась туча, и овцы стали казаться облачками пара. А потом пошел снег.

Снег падал густыми шерстистыми хлопьями. Поднялся ветер и намел сугробы на тропу. Бенджамин заметил рядом что-то черное: это была собака, стряхивавшая снег со спины. По шее побежали ледяные струйки, и тут он понял, что где-то обронил шапку. Рук он не чувствовал, хотя засунул их в карманы. Ноги налились такой тяжестью, что стало невозможно идти, и вдруг, как раз в этот момент, снег изменил цвет.

Он был уже не белым, а сливочно-золотисто-розовым. И холод отступил. Торчавший из кочек камыш больше не кололся, а сделался мягким и пушистым. Теперь Бенджамину хотелось одного: просто улечься в этот приятный, теплый и уютный снег и уснуть.

Его колени уже ослабевали, когда он услышал голос брата, кричавшего ему прямо в ухо:

— Ты должен идти дальше! Нельзя останавливаться! Если ты заснешь, я умру!

И он продолжил идти, с трудом волоча ноги, одну за другой, обратно к скалам, тянувшимся вдоль края утеса. Здесь было одно подходящее безветренное место, где можно свернуться клуб-

ком вместе с собакой и наконец уснуть.

Проснулся он среди какой-то белизны, и прошло некоторое время, прежде чем он осознал, что это не снег, а постельное белье. У его кровати сидел Льюис, из окна в комнату струился резкий весенний солнечный свет.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Льюис.

— Ты бросил меня, — ответил Бенджамин.

22

Бенджамин обморозил правую руку. Некоторое время казалось, что он лишится одного или двух пальцев, и, пока он не поправился, Льюис от него не отходил. Он целую неделю не возвращался на работу. А потом, когда все-таки приехал в Рид-спенс, управляющий наорал на него, заявил, что его ферма — не какое-нибудь заведение для уклонистов, и уволил его.

Чувствуя стыд и боль в ногах, стертых от долгой ходьбы, Льюис пришел домой к ужину, сел за стол и уронил голову на руки.

— Прости, отец, — сказал он, закончив свой рассказ.

Амос только хмыкнул, накрывая крышкой сырницу.

Двадцать минут прошло в молчании под звон вилок и ножей и тиканье больших напольных часов.

— Ты не виноват, — произнес наконец Амос и потянулся к кисету с табаком. Он поднялся из-за стола, положил руку на плечо сына, а потом отошел к камину и сел у очага.

Всю следующую неделю Амос волновался из-за

медкомиссии, винил себя, винил Льюиса и никак не мог придумать, что же делать. Наконец он решил открыться мистеру Аркрайту.

Стряпчий никому не рассказывал о своем прошлом, но было известно, что он жил в Честере до того, как обзавелся практикой в Рулене в 1912 году. Он очень бесцеремонно держался с «низшими слоями общества», но расцветал в присутствии помещика. Жил он вместе с хворой женой в особняке под названием Кедры, выстроенном в ложном тюдоровском стиле, и очень гордился тем, что на газоне у него не растут одуванчики. Кое-кто поговаривал, что «этот малый не внушает доверия».

Рядом с дверью конторы Аркрайта по адресу Широкая улица, дом 14 была прибита латунная табличка, на которой прямыми заглавными буквами было выгравировано его имя.

Клерк-стажер отвел Амоса наверх, в комнату, оклеенную бугристыми бежевыми обоями, где рядами стояли черные оловянные сейфы с документами и книжный шкаф, набитый «Ежегодниками Общества юристов». Узор ковра изображал голубые цветы, на каминной полке из серого аспидного сланца стояли дорожные бронзовые часы с ручкой.

Даже не подумав подняться из-за стола, стряпчий откинулся на спинку кожаного стула и, попыхивая трубкой, стал слушать Амоса, который, краснея и нервничая, пытался втолковать ему, что на самом деле его сыновья — не два разных человека, а один.

— Вот как!

Мистер Аркрайт провел рукой по подбородку. Выслушав рассказ о метели, он вскочил на ноги и похлопал своего посетителя по спине.

— Выбросьте из головы! — сказал он. — Дело пустяковое! Я потолкую с коллегами, и мы все уладим.

Сунув Амосу на прощанье свою холодную жесткую руку, он добавил:

— Не людоеды же мы, в самом деле, — и вывел его на улицу.

В день, на который было назначено заседание военной медкомиссии, стояла великолепная летняя погода, и четверо из пяти членов комиссии пребывали в приподнятом настроении. В утренних газетах сообщались новости о прорыве союзников во Франции. Майор Гатти, военный представитель, призвал остальных «отметить это дело хорошим обедом». Мистер Ивенджобб, хлеботорговец, согласился. Викарий тоже, а ми-

стер Аркрайт признался, что и сам «чертовски проголодался».

И вот члены медкомиссии, отменно отобедавшие в «Красном драконе» и выпившие за обедом три бутылки кларета, сонно заняли свои места в зале заседаний ратуши и стали дожидаться председателя — полковника Бикертона.

В зале резко пахло жидкостью для дезинфекции и было так жарко и душно, что даже мухи, кругами летавшие под потолочной люстрой, перестали жужжать. Мистер Ивенджобб заклевал носом. Преподобного Пайла приводила в воодушевление сама мысль о юности и жертвенности, а призывники, надеявшиеся получить освобождение от службы, сидели на скамейках в мрачном зеленом коридоре под охраной констебля.

Полковник немного запоздал — он задержался на званом обеде у себя в Леркенхоупе. Разрумяненный, с розовым бутоном в петлице, он не собирался идти на новые поблажки: на предыдущем заседании он уже освободил от службы двух своих ловчих и своего же лакея.

— Наша комиссия должна выносить решения по справедливости, — так начал он заседание. — Следует принимать во внимание сельскохозяйственные нужды общины. Однако мы воюем с

сильным и свирепым врагом, и его необходимо уничтожить. А для того, чтобы его уничтожить, армии требуются солдаты!

— Поддерживаем, — отозвался майор Гатти, пристально глядя на собственные ногти.

Первым вызвали Тома Филипса — пастушка из Маускасла. Тот принялся что-то мямлить про больную мать и про то, что некому будет присмотреть за овцами.

— Громче, мой мальчик, — прервал его полковник. — Я не могу разобрать ни слова из того, что ты говоришь.

Но Том продолжал бормотать что-то невразумительное, и у полковника лопнуло терпение.

— Явиться в Херефордские казармы через пять дней!

— Есть, сэр! — отвечал паренек.

Затем заседатели заслушали дело бедного юноши, который громким голосом объявил себя социалистом и квакером. Он сказал, что ничто не заставит его примирить военную дисциплину с собственной совестью.

— В таком случае, — сказал полковник, — я очень рекомендую вам раньше ложиться спать и раньше вставать, тогда совесть очень скоро перестанет вас тревожить. Дело закрыто. Явиться

в Херефордские казармы через пять дней.

Близнецы надеялись, что полковник улыбнется: ведь, как-никак, он знал их с трехлетнего возраста. Но когда они переступили порог, его лицо даже не дрогнуло.

— По одному, джентльмены! По одному! Вы, слева, пожалуйста, шаг вперед. А второй джентльмен пусть пока удалится.

Льюис, скрипя половицами, приблизился к членам комиссии. Не успел он раскрыть рот, как поднялся мистер Аркрайт и что-то шепнул на ухо полковнику. Полковник кивнул и с видом человека, дающего благословение, произнес:

— Предоставляется освобождение! Следующий, пожалуйста!

Когда в зал вошел Бенджамин, майор Гатти смерил его взглядом с головы до ног и протяжно сказал:

— А вот этот нам нужен!

Позднее Бенджамин лишь в общих чертах мог припомнить, что происходило дальше. Однако запомнил, как викарий, подавшись вперед, спросил его, верит ли он в святость дела союзников. Помнил и то, как в ответ спросил:

— А вы верите в Бога?

Викарий вскинул голову, как испуганная ку-

рица:

— Что за наглость, что за дерзость! Вы хоть понимаете, что говорите со священнослужителем?

— Тогда верите ли вы в шестую заповедь?

— В шестую заповедь?

— «Не убий!»

— Чертовская наглость, не правда ли? — Майор Гатти приподнял бровь.

— Заслуживает всяческого порицания, — поддакнул мистер Аркрайт.

И даже мистер Ивенджобб очнулся от своего оцепенения, когда полковник отчеканил шаблонную формулу:

— Члены медкомиссии, тщательно рассмотрев ваше дело, не считают возможным предоставить вам освобождение от службы в вооруженных силах его величества. Явиться в Херефордские казармы через пять дней!

Мэри нагревала пчелиный воск, готовясь запечатывать банки с черносмородиновым джемом. На кухне стоял аромат варившихся ягод. Со двора послышался стук копыт. Увидев покрывшееся пятнами лицо Льюиса, она вздрогнула и сразу же догадалась, что́ случилось с его братом.

— Я поеду, мама, — спокойно сказал Бенджамин. — Война уже почти закончилась.

— Я в это не верю, — ответила она.

Вечер был душный, безветренный. Над двумя телками кружились стаи комаров. Слышно было, как шлепаются коровьи лепешки и бормочут гуси в плодовом саду. Овчарка улеглась прямо на дорожке, поджав хвост. Цветы в саду — гайлардии, фуксии, розы — были лиловыми, желтыми, красными. Мэри даже в голову не пришло, что Бенджамин может вернуться живым.

Она подумала, что это Амос принес в жертву более слабого сына из двух, ее любимчика. Решила, что мистер Аркрайт предоставил ему выбор, и он выбрал Льюиса — близнеца, способного выжить в одиночку.

Амос повесил шапку на крыльце. Он пытался, запинаясь, что-то говорить в свое оправдание, но жена набросилась на него и закричала:

— Не лги мне, изверг!

Ей хотелось ударить его, плюнуть ему в лицо. А он, ошеломленный ее яростью, только молча стоял в комнате, где уже сгущалась темнота.

Мэри взяла свечу, чтобы зажечь лампу. Фитиль ярко вспыхнул; когда она возвращала на место зеленый стеклянный абажур, полоса света легла на рамку свадебного фото. Мэри сорвала ее с гвоздя, швырнула на пол и убежала наверх.

Амос наклонился.

Рамка треснула, стекло разбилось, оправа погнулась, но сама фотография осталась неповрежденной. Он замел осколки в совок для мусора. Потом подобрал рамку и начал прилаживать куски друг к другу.

Мэри, не раздеваясь, провела бессонную ночь на тюфяке старого Сэма; поверх диска луны бежали облака. Когда пришла пора завтрака, она заперлась на маслобойне — лишь бы где-то уединиться и не сталкиваться с мужем. Бенджамин увидел, как она бесцельно вертит ручку маслобойки.

— Не будь несправедлива к папе, — сказал он, тронув ее за рукав. — Он ни в чем не виноват. На самом деле, это моя вина.

Мэри, продолжая вращать рукоятку, ответила:

— Ты ничего не понимаешь.

Льюис предложил подменить брата. Сказал, что ни одна душа не заметит разницу.

— Не надо, — возразил Бенджамин. — Я сам поеду.

Он держался молодцом и методично собирал вещи в холщовый мешок. В то утро, когда нужно было уезжать, он прищурился и, глядя на восходившее солнце, сказал:

— Я останусь здесь, пусть сами за мной приезжают.

Амос заявил, что спрячет обоих сыновей в тайном месте, в лесах на Раднорских горах, но Мэри только фыркнула и сказала:

— Можно подумать, ты никогда не слышал про собак-ищеек!

Второго сентября констебли Кримп и Баннистер подъехали к Видению и с важным видом принялись обыскивать амбар. Они едва скрыли свое разочарование, когда из дома вышел Бенджамин — бледный, но с легким намеком на улыбку и, обнажив запястья, протянул вперед руки для наручников.

Проведя ночь в камере, он предстал перед руленским судьей, который признал его солдатом и оштрафовал на два фунта за неявку на службу. Потом унтер-офицер повез его на поезде в Херефорд.

Дома, на ферме, ждали новостей, но их не было. Спустя месяц Льюис понял по некоторым предупредительным сигналам, что армия отказалась от попыток обучить его брата военному делу и начала применять силу.

По ломоте в копчике Льюис знал, когда сержанты тащили Бенджамина по строевому плацу,

пригнув лицом вниз и заведя руки за спину; по боли в запястьях — когда его привязывали к каркасу кровати; по пятну экземы на груди — когда ему натирали соски едкой щелочью. Однажды утром у Льюиса хлынула носом кровь — и продолжала течь до самого заката: это было в тот день, когда Бенджамина поставили на боксерскую площадку и молотили по лицу левым прямым.

А потом, в одно дождливое ноябрьское утро, война закончилась. Кайзер и его команда «посыпались, как кегли». Мир наконец стал безопасным для демократии[40].

На улицах Херефорда шотландцы играли на волынках, консервная фабрика гудела, паровозы свистели, а валлийцы расхаживали повсюду, играя на губных гармониках или распевая «О земля моих отцов»[41]. Один солдат, оглохший и онемевший еще при Дарданеллах, увидел британский флаг, развевающийся над газетным киоском, и к нему тут же вернулся дар речи (но не слух).

В соборе епископ в камилавке из золотой пар-

---

[40] Примечания: 40

Отсылка к фразе президента США Вудро Вильсона «Мир должен стать безопасным для демократии», которую он произнес 2 апреля 1917 года, обращаясь к Конгрессу США и оправдывая войну против Германии.

[41] Примечания: 41

Неофициальный национальный гимн Уэльса на стихи Эвана Джеймса (1809–1878).

чи читал с алтаря первый отрывок из Библии: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море…»[42]

В далеком Лондоне король вышел на балкон Букингемского дворца в сопровождении королевы Марии, одетой в соболиную шубку.

Тем временем Бенджамин Джонс лежал, задыхаясь, в лазарете Херефордских казарм для арестантов.

Он заболел гриппом-испанкой.

За воротами Льюис Джонс кричал, чтобы его впустили. Часовой со штыком отгонял его.

---

[42] Примечания: 42
Исх. 15: 1.

23

Целых три месяца после своего «увольнения с лишением прав и привилегий» Бенджамин отказывался покидать ферму. Он спал допоздна, не выходил из дома и выполнял разную несложную хозяйственную работу. На лбу у него обозначились резкие морщины, а под глазами пролегли темные круги. Лицо иногда искажал нервный тик. Он как будто снова вернулся в детство: ему хотелось только печь пироги для брата или читать.

Мэри тяжело вздохнула при виде сутулого, небритого сына, сидевшего на скамье:

— Может быть, выйдешь сегодня, поможешь им там? Такая погода хорошая стоит — они ягнят принимают.

— Знаю, мама.

— Ты раньше любил принимать ягнят.

— Да.

— Ну пожалуйста, не сиди просто так, без дела.

— Мама, я же читаю.

Но читал он всего лишь рекламные объявления в «Херефорд Таймс».

Видя уныние и вялость Бенджамина, Мэри

винила во всем себя. Корила за то, что дала его увести, и еще более тяжкую вину ощущала, вспоминая день его возвращения.

В то утро висел туман, и поезд из Херефорда запаздывал. Сосульки бахромой свисали с края навеса и капали на перрон. Мэри стояла рядом с начальником станции, кутаясь в зимнее пальто и пряча руки в меховую муфту. Когда поезд подъехал к платформе, последних двух вагонов не было видно за туманом. Двери распахивались и с лязгом захлопывались. Пассажиры — серые расплывчатые фигуры, двигавшиеся по перрону, — отдавали свои билеты и гуськом выходили из ворот. Мэри, сгорая от нетерпения и улыбаясь, уже вытащила правую руку из муфты, готовясь обнять Бенджамина за шею. Вдруг Льюис метнулся навстречу какому-то тощему, коротко стриженному человеку, тащившему вещевой мешок за веревку.

Она крикнула Льюису вслед:

— Стой, это же не Бендж…

Но это был Бенджамин. И он услышал ее слова. Спустя миг она тоже бросилась к нему:

— Ах ты, бедный мой малыш!

Он хотел забыть — заставлял себя забыть — казармы для арестованных; но даже скрип кро-

ватных пружин напоминал ему о казарменных койках, а стук сапожных гвоздей, которыми были подбиты башмаки Амоса, — о капрале, приходившем «врезать ему» на побудке.

Не желая появляться на публике, он оставался дома, когда остальные уходили в молельню. Только в Страстную пятницу Мэри уговорила его пойти. Он сел между матерью и Льюисом, но не пропел ни единой ноты, даже не поднимал глаз выше скамьи перед собой.

К счастью, мистер Гомер Дэвис отбыл обратно в Балу, а новый священник, мистер Оуэн Нантлис Уильямс, оказался куда более приятным человеком: он был родом из долины Римни и придерживался пацифистских взглядов. Как только молитвенное собрание закончилось, он взял Бенджамина под руку и увел к дальнему концу здания.

— Судя по тому, что я слышал, вы — очень храбрый молодой человек, — сказал он. — Пример для всех для нас! Но теперь вам нужно простить их. Ибо не ведали, что творят.

Наступила весна. Яблони покрылись пеной цветов. Бенджамин начал гулять и понемногу стал лучше выглядеть. А потом, как-то вечером, Мэри вышла в огород сорвать веточку петрушки

и увидела его в крапиве: расставив в стороны руки и ноги, он бился головой о стену.

Поначалу она решила, что это эпилептический припадок, но когда нагнулась, увидела, что с глазами и языком Бенджамина все в порядке. Мэри положила его голову к себе на колени и нежно, нараспев заговорила:

— Расскажи мне! Расскажи, что случилось? Ты можешь все рассказать маме.

Он поднялся, стряхнул грязь с одежды и сказал:

— Ничего не случилось.

— Ничего? — настойчиво повторила она, но он отвернулся и ушел.

Некоторое время назад Мэри заметила, что на лице Бенджамина появляется сердитое выражение, когда брат возвращается с полей. После ужина она попросила Льюиса отнести блюдо из-под мяса в дальнюю часть кухни и там сердито напустилась на него:

— Ты должен рассказать мне, что происходит с Бенджамином.

— Н-не знаю, — запнувшись, ответил Льюис.

Ага, ясно, подумала Мэри. Тут замешана девушка!

Амос взял в аренду под пастбища два смежных

поля и, решив увеличить поголовье мясного скота, послал Льюиса осмотреть одного быка херефордской породы в племенном рассаднике на ферме под Глан-Итоном.

Возвращаясь оттуда домой, Льюис решил срезать путь и пройти через Леркенхоупский парк. Обошел озеро по самому краю, потом спустился в овраг, ведущий к мельнице. Небо было затянуто пленкой, на буках распускались почки. Над тропой находился пропахший летучими мышами грот, где (как гласило предание) какой-то предок Бикертонов дал отшельнику монету, чтобы посмотреть на череп.

Ниже журчала река, с плеском обтекая большие камни посреди русла; крупная форель двигала плавниками в глубоких зеленоватых заводях. Ворковали лесные голуби, слышался мерный стук дятла.

За зиму тропу кое-где размыло, и приходилось ступать осторожно. В кустах, росших вдоль берега, застряли нанесенные потоками таявшего снега сучья и ветки. Льюис взобрался на откос. Сквозь моховой ковер на спуске кое-где пробивались ландыши. Он сел и стал смотреть поверх веток на реку.

Выше по течению густо росли молодые ясени,

еще безлиственные, а ниже простирался ковер из колокольчиков, дикого чеснока и миндалевидного молочая с жесткими зеленоватыми цветками.

Вдруг сквозь журчанье бегущей воды Льюис расслышал молодой женский голос. Он медленно пел что-то грустное. Вниз по течению шла среди колокольчиков девушка в сером. Льюис замер, пока она поднималась на утес. Когда ее голова поравнялась с его ногой, он вдруг сказал:

— Рози!

— Боже, как ты меня напугал!

Переводя дух, она села рядом. Льюис снял куртку и постелил на влажный мох, оставшись в полосатой шерстяной рубашке и черных подтяжках.

— Я шла на работу, — сказала Рози с печальной гримасой.

Льюис уже знал о трагедиях, которые обрушились на нее за последние два года.

Зимой семнадцатого умерла от туберкулеза ее мать. Брат умер в Египте от лихорадки. Потом, когда война уже подходила к концу, Бобби Файфилда забрала испанка. Узнав, что Рози осталась бездомной, миссис Бикертон взяла ее к себе горничной. Но большой дом наводил на девушку страх, она боялась даже льва на лест-

ничной площадке. Другие служанки отравляли ей существование, а дворецкий пытался зажать в буфетной.

Миссис Б. еще ничего, сказала Рози. Она — дама. Но вот полковник — такой грубиян… А эта миссис Нэнси! Она так огорчена, что потеряла мужа. Вечно придирается и зудит. Зу-зу-зу! А ее собаки! Это что-то жуткое, вечно тяф-тяф-тяф!

Рози продолжала болтать, и в ее глазах показались искорки прежнего озорства. Между тем солнце уже зашло, и над рекой пролегли тени ясеней.

А мистер Реджинальд! Она не знала, что делать с мистером Реджи. Не знала, куда глядеть! На войне он лишился ноги… но это его не останавливало! Даже за завтраком! Она приносит ему в комнату поднос с завтраком, а он пытается затащить ее в постель…

— Тсс! — Льюис приложил палец к губам.

Рядом с ними приземлилась пара крякв. Самец взобрался на самку в мелком водовороте под скалой. У него была очень красивая блестящая зеленая голова.

— Ух ты! Какой красавец! — Рози захлопала в ладоши и спугнула птиц: они снялись с места и полетели выше по течению.

Она напомнила Льюису об играх, в которые они играли здесь в детстве.

Он усмехнулся:

— А помнишь, ты застукала нас у заводи?

Она откинула голову назад и с хрипловатым смешком спросила:

— А помнишь вечернюю примулу?

— Рози, мы можем еще раз ее поискать!

Она всмотрелась в его застывшее, смущенное лицо и сказала:

— Нет, не можем. — Потом сжала ему руку. — Пока не можем.

Она еще немного постояла, смахнула с подола юбки сухой лист, назначила ему свидание на пятницу, а потом быстро прильнула щекой к его щеке и ушла.

После этого они встречались раз в неделю у грота и подолгу гуляли в лесу.

Бенджамин наблюдал за приходами и уходами брата, ни слова не говорил и знал все.

В середине июля Льюис и Рози уговорились встретиться в Рулене на официальном праздновании в честь наступления мира: в приходской церкви должен был пройти благодарственный молебен, а в Леркенхоупском парке — спортивные состязания.

— Тебе туда идти необязательно, — сказал Льюис, поправляя перед зеркалом галстук.

— Нет, я пойду, — заявил Бенджамин.

24

Праздничный день начался с яркого солнечного света. С раннего утра горожане мыли пороги домов, начищали до блеска дверные молотки и увешивали окна гирляндами флажков. К девяти часам мистера Аркрайта, главного вдохновителя и организатора праздничных гуляний, уже видели в двойном накрахмаленном воротничке, будто с птичьей шеей: он сновал туда-сюда, проверяя, все ли идет по плану. Он приветствовал каждого незнакомца, дотрагиваясь до полей своей фетровой шляпы, и поздравлял всех с праздником.

Под его «всевидящим оком» фасад ратуши был с большим вкусом украшен различными трофеями и флажками. Лишь за неделю до торжества ему пришла в голову мысль разбить у основания башни с городскими часами патриотические клумбы с шалфеем, лобелией и пионами «Крошка Доррит»; и пусть результат его стараний смотрелся чахловато, коллега мистера Аркрайта мистер Ивенджобб объявил его затею «гениальной идеей».

В дальнем конце Широкой улицы — на месте, отведенном для будущего военного мемори-

ала, — стоял простой деревянный крест; его основание было наполовину скрыто под целой горой фландрских маков[43]. В застекленном ларце был выставлен свиток пергамента с выведенными на нем именами «доблестных тридцати двух», принесших свои жизни в «священную жертву».

Когда пришли близнецы Джонсы, служба в церкви уже закончилась. Оркестр, составленный из бывших военных, играл подборку мелодий из «Девы гор»[44], и триумфальная процессия, направлявшаяся к Леркенхоупу, постепенно обретала стройность.

Бикертоны и их свита уже уехали на машине.

«В порыве стихийной щедрости», как выразился мистер Аркрайт, они «распахнули для публики свои ворота и свои сердца» и решили устроить застолье для вернувшихся героев, их жен и любимых, а также для прихожан старше семидесяти лет.

Однако на полевую кухню приглашаются все желающие, а в три часа дня начнутся спортивно-

---

[43] Примечания: 43

Фландрские маки — искусственные цветы, ставшие благодаря стихотворению Джона Маккрея (1872–1918) «В полях Фландрии» символом памяти о павших на фронтах Первой мировой войны.

[44] Примечания: 44

«Дева гор» — оперетта Гарольда Фрейзера-Симсона (1917).

карнавальные представления.

Все утро в город стекались фермеры с семьями. Демобилизованные солдаты расхаживали с важным видом: на груди у них висели медали, на руках — девушки. Некоторые «легкомысленные особы женского пола» — опять-таки выражаясь словами мистера Аркрайта — «облачились в неподобающие наряды». Жены фермеров пришли в шляпках с цветами, их маленькие дочки — в чепчиках с лентами, как у девочек Кейт Гринуэй[45], а их братья — в матросских костюмчиках и беретах.

Взрослые мужчины были одеты более невзрачно — однообразие черных курток и темных котелков иногда разбавляли панама или полосатый блейзер.

Близнецы надели одинаковые синие саржевые костюмы.

Возле аптеки несколько сорванцов дудели в трубочки от духовых ружей, нападая на бельгийского беженца:

— Мерси-боку, мусье ку-ку! Бонжур-дежур-и-абажур!

---

[45] Примечания: 45

Кейт Гринуэй (1846–1901) — английская художница-иллюстратор и писательница, изображавшая персонажей детских книг в стилизованных под старину костюмах и головных уборах.

— Зашем смеяца? — Бельгиец потряс кулаком. — Но нишего, скоро заплашет!

Бенджамин подумал, что напрасно появился на людях, и хотел незаметно улизнуть, но ничего не получалось: Льюис продолжал проталкиваться вперед и повсюду высматривал Рози Файфилд. Оба брата попытались спрятаться, когда от толпы вдруг отделился констебль Кримп и устремился прямо к ним.

— Ага! Вот и близнецы Джонсы! — прогремел Кримп, утирая со лба пот и хватая Льюиса за плечо. — И который из вас двоих Бенджамин?

— Я, — ответил Льюис.

— Даже не думайте от меня улизнуть, молодой человек! — продолжал благодушную болтовню полицейский, прижимая юношу к своим серебряным пуговицам. — Рад вас видеть таким ладным и крепким! Без обид, ладно? Ох уж эти херефордские хулиганы, что с них взять!

Неподалеку мистер Аркрайт был поглощен беседой с представительной женщиной в хаки — военнослужащей из Женской вспомогательной армии. Она была недовольна неправильной, по ее мнению, организацией шествия:

— Нет, мистер Аркрайт! Я вовсе не пытаюсь принизить медсестер из Красного креста. Я про-

сто настаиваю на том, что нужно сохранять единство вооруженных сил…

— Видите вон тех двоих? — перебил ее стряпчий. — Уклонисты! И как они посмели сюда заявиться? Да уж, наглости некоторым не занимать!..

— Нет, — продолжала она, не слушая его. — Или мои девочки идут *за* солдатами, или *перед* ними… Но идти они должны вместе!

— Да, вы правы! — кивнул он, но как-то неуверенно. — Но наша покровительница, миссис Бикертон, как глава руленского Красного креста…

— Мистер Аркрайт, вы так ничего и не поняли. Я…

— Прошу прощения! — Он заметил старого солдата на костылях, прислонившегося к кладбищенской стене. — Ветеран битвы за Роркс-Дрифт![46] — пробормотал он. — Прошу меня простить, я на одну минуту. Нужно выразить почтение…

Ветеран — сержант-майор Гослинг, награжденный крестом Виктории, — был всеми любимым местным персонажем, который в такие дни, как

---

[46] Примечания: 46

Сражение у Роркс-Дрифт состоялось в январе 1879 года в ходе англо-зулусской войны.

этот, непременно появлялся на публике в алой парадной форме пограничников Южного Уэльса.

Мистер Аркрайт протиснулся через толпу к ветерану, наклонился, защекотав ему ухо усами, и произнес какую-то банальность про «поля Фландрии».

— А?

— Я сказал «поля Фландрии».

— Ну и дела, мы им еще и поля дали!

— Ах ты, старый дурак, — пробормотал стряпчий себе под нос и быстро улизнул обратно, пристроившись позади военнослужащей из женской армии.

Тем временем Льюис Джонс спрашивал у всех и каждого, не встречали ли они Рози Файфилд. Ее нигде не было видно. Один раз ему показалось, что она идет под руку с каким-то моряком, но обернувшаяся девушка оказалась Сисси Пэнтолл из Буков.

— В чем дело, мистер Джонс? — возмущенно сказала она, а взгляд Льюиса невольно остановился на бульдожьих отвислых щеках ее спутника.

В двадцать минут первого мистер Аркрайт трижды дунул в свисток, толпа отозвалась веселым свистом, и процессия двинулась по нижней дороге к Леркенхоупу.

Впереди шли хористы, скауты и проводники, а также воспитанники работного дома для мальчиков. Второй ряд составляли пожарные, рабочие-железнодорожники, дружинницы из Женской земельной армии с лопатами на плечах и работницы фабрик, выпускавших снаряжение для фронта, с британскими флагами, повязанными на пиратский манер вместо платков. Небольшую делегацию прислало Общество чудаков; вожатая группы Красного креста несла знамя, на котором была вышита медсестра Эдит Кэвелл[47] вместе с собакой. Дальше шли военнослужащие Женской вспомогательной армии, выторговавшие себе после ожесточенной перепалки подобающее место на параде. За ними — духовой оркестр, а за музыкантами — Славные Воины.

Замыкал шествие открытый шарабан, в котором сидело около десятка инвалидов войны и раненых; одетые в голубые костюмы и алые галстуки, они приветствовали толпу, маша костылями. У одних глаза скрывали черные повязки. Некоторые лишились бровей или век, другие — рук или ног. Автомобиль очень мед-

[47] Примечания: 47

Эдит Кэвелл (1865–1915) — британская медсестра, участница подпольного движения в годы Первой мировой войны, казненная немцами в Бельгии.

ленно ехал по Замковой улице, а сзади напирала толпа зрителей.

Они уже поравнялись с мемориалом Бикертона, когда кто-то вдруг прокричал на ухо мистеру Аркрайту:

— А где бомбардир?

— О боже, этого еще не хватало! — взревел тот. — Бомбардира забыли!

Не успели эти слова прозвучать, как два школьника в шапочках с кистями уже ринулись в сторону церкви, а через две минуты примчались обратно, катя перед собой на головокружительной скорости плетеное кресло-каталку, в которой сидел сгорбленный человек в военной форме.

— Дорогу бомбардиру! — прокричал один из школьников.

— Дорогу бомбардиру! — И толпа расступилась перед руленским героем, который спас жизнь своему командиру в битве при Пашендейле. К его мундиру был приколот военный орден.

— Да здравствует бомбардир! Ура!

Губы у него были лиловые, кожа на пепельно-сером лице натянута туго, как на барабане. Дети осы́пали бомбардира конфетти, и его глаза завращались от ужаса.

— Ррр! Ррр! — Какой-то рыхлый хрип послы-

шался у него в гортани, и он попытался соскользнуть вниз со своего плетеного кресла-корзины.

— Вот бедняга! — донеслись до Бенджамина чьи-то слова. — Ему все еще мерещится, что он на этой проклятой войне.

В начале второго люди, шагавшие в авангарде процессии, увидели каменного льва над Северным охотничьим домиком замка.

Сначала миссис Бикертон собиралась устроить званый обед в столовой. Но натолкнулась на яростное сопротивление дворецкого и решила перенести пиршество в давно не использовавшийся закрытый манеж для выездки лошадей: полковник, вынужденный в годы войны экономить, перестал разводить арабских скакунов.

Сначала она хотела лично присутствовать на званом обеде, вместе с семьей и домочадцами, но ее почетный гость, бригадир Вернон-Мюррей, должен был в тот же вечер уехать обратно в Амберслейд, а уж он-то вовсе не собирался растрачивать целый день на простонародье.

В любом случае угощение удалось на славу — получился настоящий пир горой.

Во всю длину манежа тянулись два стола на козлах, застеленные блестящими скатертями из белого дамаста; у каждого столового прибора был

поставлен букетик душистого горошка, а еще — блюдце с шоколадными конфетами и испанскими засахаренными сливами (для сладкоежек). В рифленых пивных кружках высились стебли сельдерея; там и сям были расставлены холодные закуски под соусом провансаль, баночки с маринованными овощами, бутылочки с кетчупом, а примерно через каждый ярд — пирамида из апельсинов и яблок. Третий стол ломился от тяжести угощений, и вокруг него столпилось десятка два добровольных помощников, готовых нарезать или подать закуски. У окороков вокруг голяшек красовались опрятные бумажные оборки. Были там рулеты из остро приправленной говядины, холодная жареная индейка, варенокопченые свиные колбасы, кабанина, пирожки со свининой и три лосося, выловленные из реки Уай: каждая рыбина лежала на собственном ложе из запеченных сердцевин салата-латука, а сбоку от них, плавно скользя от головы к хвосту, красовались вереницы огуречных ломтиков.

Специально для бомбардира поставили горшочек со студнем из телячьих ножек.

Вдоль задней стены висели портреты арабских жеребцов — Хасана, Мухтара, Махмуда и Омара, некогда составлявших гордость леркенхоупского

конного завода. Над ними висело знамя с выведенной красными буквами надписью: «СПАСИБО, РЕБЯТА».

Девушки с кувшинами эля и сидра следили за тем, чтобы стаканы у героев всегда были полны до краев; звуки веселья долетали до самого озера.

Льюис и Бенджамин налили себе по миске острого супа маллигатони в полевой кухне, а потом прогуливались туда-сюда среди кустов, то и дело останавливаясь поговорить с другими участниками пикника. Погода портилась — холодало. Женщины дрожали, кутаясь в платки, и с тревогой поглядывали на чернильные тучи, громоздившиеся над Черной горой.

Льюис заметил одного из садовников и спросил, не видел ли тот Рози Файфилд.

— Рози? — Садовник почесал в затылке. — Она, наверно, среди подавальщиков.

Льюис ринулся обратно к закрытому манежу и стал проталкиваться через людей, которые ломились в двойные двери. Вскоре должны были начаться выступления. Графины с портвейном быстро опорожнялись.

Заняв свое место в центре стола, мистер Аркрайт уже произнес тост за здоровье семьи (отсутствующей) Бикертон и приступал к своей

главной речи.

— Теперь, когда меч снова вложен в ножны, — начал он, — многие ли из нас вспоминают те солнечные летние дни девятьсот четырнадцатого, когда на политическом небосклоне Европы показалась туча не больше человеческой руки…

Услышав слово «туча», некоторые люди в толпе запрокинули головы и начали всматриваться в небо, с которого еще минуту назад светило солнце.

— Туча, из которой потом обрушились смерть и разрушение почти на весь европейский континент… Да что там, на все четыре конца света…

— Я иду домой, — Бенджамин толкнул брата под локоть.

Он заметил унтер-офицера — одного из своих мучителей из Херефордских казарм, который сидел и сквозь сигарный дым глазел на него с грубой издевкой.

Льюис шепнул:

— Подожди чуть-чуть!

Голос мистера Аркрайта зазвучал дрожащим баритоном:

— Огромная военная держава поднялась во всей своей неизмеримой мощи и, позабыв о священной клятве чтить границы более слабых

государств, ворвалась в пределы Бельгии…

— А где старина-бельгиец? — раздался тут чей-то голос.

— …принялась жечь ее города и селения, мучить ее славных жителей…

— А вот его не мучили! — И кто-то вытолкнул вперед беженца; тот стоял и затуманенным взглядом из-под берета смотрел куда-то в пустоту.

— Милый старина бельгиец!

— Но гуннам никогда не было известно чувство справедливости и чести — эти понятия, которые британский народ впитывает с материнским молоком… И мощь британской правоты перевесила чашу весов…

Глаза унтер-офицера сузились до грозных щелочек.

— Я пойду, — повторил Бенджамин и стал потихоньку пробираться к выходу.

Оратор, прокашлявшись, продолжал:

— Простому гражданскому не к лицу излагать весь ход военных событий. Излишне говорить о славных избранных — об экспедиционных войсках, которые противостояли столь подлому врагу и для которых смыслом жизни стало изучение смерти…

Мистер Аркрайт поглядел поверх очков, что-

бы удостовериться в том, что его слушатели уловили и в полной мере оценили меткость и парадоксальность выбранных им слов. Ряды лиц, глазевших на оратора без малейшего выражения, убедили Аркрайта в том, что витийство его пропадает втуне. Он снова обратился к своим записям:

— Излишне говорить о боевом призыве лорда Китченера, на который откликалось все больше и больше людей…

Рядом с Льюисом стояла девушка в сером — подавальщица с кувшином сидра в руке. Он спросил ее, не видела ли она Рози Файфилд.

— С самого утра не видать, — прошептала та в ответ. — Наверно, она с мистером Реджи…

— Вот как!

— Излишне вспоминать о разочарованиях: о том, как месяцы растянулись на годы, а трещины в броне врага так и не удавалось обнаружить…

— Правильно! Правильно! — поддакнул унтер-офицер.

— Все присутствующие здесь наверняка помнят, как демон войны заглатывал самых достойных наших мужей, так сказать, красу и честь нашей мужественности, а чудовище продолжало

процветать…

Последнее замечание, похоже, пришлось по вкусу унтер-офицеру и раздразнило его фантазию. Он затрясся от смеха, оскалив десны, и снова принялся нахально глазеть на Бенджамина. Вдруг все здание сотряс удар грома. По застекленной крыше застучали капли дождя, и стоявшие снаружи стали напирать через двери внутрь, так что близнецов подтолкнули вперед, и они оказались совсем недалеко от оратора.

Мистер Аркрайт, не обращая внимания на грозу, продолжал:

— Все больше и больше людей — таков был брошенный зов, и в то самое время, когда подводное пиратство грозило голодной смертью тем, чья участь была оставаться на родине…

— Уж ему-то точно голод не грозил, — негромко произнесла женщина рядом — она, должно быть, не понаслышке знала о махинациях стряпчего на черном рынке.

— Т-ш-ш! — шикнули на нее, и она замолчала.

А стряпчий, похоже, приближался к заключению:

— И вот наконец правое дело и справедливость восторжествовали, и с Божьей помощью коварный и бесчеловечный враг был повергнут.

По крыше барабанил дождь. Мистер Аркрайт поднял руки, как бы показывая публике, что он замечает этот стук. Однако он еще не закончил:

— В это славное свершение внесли свой почетный вклад все присутствующие. Или, правильнее будет сказать, — добавил он, снимая очки и останавливая суровый взгляд на близнецах, — *почти* все присутствующие.

Бенджамин сразу же понял, к чему тот клонит, и, вцепившись брату в запястье, начал протискиваться к выходу. Мистер Аркрайт проводил их взглядом, а потом обратился к заковыристой теме сбора пожертвований на возведение будущего военного мемориала.

Близнецы, пробежав под дождем, укрылись под ливанским кедром.

— Не надо было сюда приходить, — сказал Бенджамин.

Они простояли под кедром, пока дождь не утих. Бенджамин все порывался уйти домой, но Льюис уговаривал его подождать немного, и в конце концов они остались на карнавал.

Целых четыре дня мистер Аркрайт и его комитет «из кожи вон лезли», готовя площадку для праздничных мероприятий. Были поставлены переносные плетеные загородки, прочерчены

белые линии на траве, а перед финишной стойкой над помостом был натянут холщовый навес, призванный защищать важных особ от солнца или от ливня. Для героев и инвалидов поставили садовые скамейки, а остальным зрителям пришлось рассаживаться на траве.

Солнце то светило, то снова скрывалось за беспорядочными нагромождениями туч. В дальнем углу поля, рядом с небольшой рощицей веллингтоний, участники карнавала добавляли последние штрихи в оформление своих передвижных платформ. Мистер Аркрайт с тревогой поглядывал со своего наблюдательного пункта то на тучи, то на ворота итальянского сада.

— Пора бы им уже появиться, — с раздражением говорил он, имея в виду Бикертонов: ну что, черт возьми, могло их задержать?

Чтобы как-то себя занять, он носился туда-сюда, свистел в свисток, сопровождал инвалидов и с показной помпой толкал плетеную корзину с бомбардиром, выкатывая ее на почетное место.

Наконец ворота распахнулись, и в просвете между фигурно подстриженными деревьями показалась группа устроителей обеда, будто вереница породистых животных, удостоенных наград на выставке.

Толпа расступилась, пропуская миссис Бикертон, которая шла первой. На ней была форма Красного креста. Увидев близнецов Джонсов, она остановилась поприветствовать их:

— Передавайте привет маме. Пусть как-нибудь зайдет ко мне.

Ее муж ковылял, опираясь на руку леди Вернон-Мюррей — полной дамы в шляпе, украшенной перьями райской птицы, — такими длинными, что они свешивались книзу и, загибаясь, щекотали ей уголок рта. Платье с дымчато-синей вуалью доходило ей до лодыжек, и взгляд у нее был чрезвычайно сердитый. Бригадир — огромный, с багровым лицом — казалось, весь, вдоль и поперек, был опутан блестящими ремнями коричневой кожи. Далее шли представители местной знати; замыкала шествие облаченная в пурпур военная вдова семьи Бикертон — миссис Нэнси. Ее сопровождал молодой человек из Лондона.

Она уже прошла половину расстояния до помоста, но вдруг остановилась и нахмурилась:

— Ред-джи! Ред-джи! — с заиканием позвала она брата. — Н-ну куд-да он под-девался? Т-только что б-был здесь.

— Иду! — раздался голос из-за подстриженных

под павлинов кустарников, и взорам публики предстал молодой человек в блейзере и белых брюках. Он опирался на костыли: левая нога была отнята от колена.

Рядом с ним — заметная, как сорока на фоне хвои, — появилась девушка в форме горничной с белыми оборками на плечах.

Это была Рози Файфилд.

— Я же тебе говорил, — сказал Бенджамин, и Льюиса охватила дрожь.

Близнецы перешли поближе к помосту, куда мистер Аркрайт, будучи церемониймейстером, имел честь препроводить почетных гостей к приготовленным для них местам.

— Надеюсь, нас сейчас развеселят, — сказала леди Вернон-Мюррей, опускаясь на придвинутый под нее стул с плетеным сиденьем.

— Разумеется, миледи! — ответил стряпчий. — В нашей программе есть целое попурри увеселительных номеров.

— Вот так собачий холод, — заметила она недовольно.

Реджи выбрал себе стул у дальнего левого края платформы, а Рози встала перед ним. Он щекотал ей позвоночник краешком ботинка.

— Дамы и господа! — Мистеру Аркрайту нако-

нец удалось утихомирить толпу. — Позвольте представить вам наших славных гостей — героя битвы при Вими[48] и его супругу…

— Боже, да тут околеть можно от холода, — сказала ее светлость, пока бригадир кивал, слушая приветственные возгласы.

Он уже приготовился открыть рот, как вдруг вперед выбежали два конюха. Они несли куклы, изображавшие кайзера и кронпринца Рупрехта, примотанных веревками к кухонным стульям и с кляпами во ртах. Шлем кайзера был увенчан чучелом канарейки, выпачканным золотой краской.

Бригадир воззрился на неприятеля с напускной свирепостью.

— Дамы и господа, — начал он, — совдаты короля, и вы, двое жавких пъедставителей вода чевовеческого, котовых мы вскове будем иметь удовойствие сжечь на костъе…

Раздались новые радостные возгласы.

— Ну а тепей севъёзно, севъёзно… — Бригадир воздел руку, словно обозначая переход к более серьезной теме. — Сегодня памятный день. День, котовый войдет в анналы нашей истовии…

---

[48] Примечания: 48

Битва за хребет Вими в Па-де-Кале во Франции состоялась в апреле 1917 года.

— Мне кажется, нам обещали обойтись без выступлений. — Миссис Бикертон с холодно-вопросительным выражением посмотрела на стряпчего.

— К сожаению, сегодня съеди нас есть люди, котовые думают, что не смогут вадоваться вместе с нами, потому что они потеяли близкого. Ну что ж, им я хочу сказать вот что. Повадуйтесь вместе с нами тому, что все уже оставось позади. И помните, что ваши мужья или отцы, бватья или любимые свожили гововы за пвавое дево…

На этот раз аплодисменты раздались более жидкие. Миссис Бикертон кусала губу и смотрела вдаль, на гору. Лицо у нее побелело, сравнявшись по цвету с санитарской шапочкой.

— Я… я… — Бригадир уже подбирался к своей излюбленной теме. — Я могу отнести себя к чисву счастливчиков. Я был при Вими. Я был на Ипре[49]. Я был при Пашендейле. Я был свидетелем чудовищной газовой атаки…

Тут все посмотрели на жертв газа — их было пятеро, они сидели в ряд на скамье, кашляли и хрипели, как живые иллюстрации ужасов войны.

---

[49] Примечания: 49

У бельгийского города Ипра состоялось четыре важных сражения Первой мировой войны.

— Усвовия на фвонте были ужасные, мы жили в ствашной гъязи. Много дней нельзя быво даже пейеодеться, да что там, мы неделями не мылись. Многие наши товайищи, особенно пулеметчики, погибали ужасной смейтью…

— Это невыносимо, — чуть слышно произнесла миссис Бикертон и заслонила лицо ладонью.

— Я часто вспоминаю то въемя, когда я лежал ваненый в госпитале. Мы попали в настоящую квовавую баню под Вими. Но у нас в повку был один пайенек… он иногда квопал стишки. И вот он написал несколько ствочек, котовые я сейчас хочу вам пвочитать. Во всяком случае, в то въемя они пъинесли мне огвомное утешение:

Когда в бою умву я на чужбине,
Считай, что уголок в чужих полях
Навек стал Англией[50].

— Бедный Руперт, — сказала миссис Бикертон, приблизившись к мужу. — Он, наверное, в могиле ворочается.

— Боже, какой же зануда!

— Как его заткнуть?

---

[50] Примечания: 50

Строки из стихотворения «Солдат» Руперта Брука (1887–1915), английского поэта, участника Первой мировой войны. Перевод М. Зенкевича.

— И какое же будущее суждено нашей любимой стване? — Бригадир снова сменил тему. — Или, быть может, нашему любимому гвафству? Нам необходимо не только ковмить навод этих остовов, но и пводавать наш поводистый скот нашим замовским павтнёвам. Я видел наш хевефовдский скот во всех кваях света. И пвавда, везде, где только живет бевый человек, вы найдете и наших бевовобых квасавцев. Я увейен, вы все должны ствашно говдиться левкенхоупскими хевефовдскими кововами…

— Черта с два они гордятся, — сказал полковник, заливаясь краской.

— Но для меня всегда оставабось загадкой, почему, когда оглядываешься здесь по стовонам, видишь столько неуводившихся животных… полуквовок… хвовых… покалеченных…

Раненые и инвалиды войны, и так уже измученные от долгого сидения на жестких скамьях, с каким-то расстроенным видом заерзали.

— Единственный способ испвавить повожение — это ваз и навсегда вазделаться со втовосовтными животными. Напъимер, в Авгентине и Авствалии…

Миссис Бикертон растерянно смотрела по сторонам. В конце концов положение спас мистер

Аркрайт. Пора было начинать карнавальное шествие. Из-за горы наползали новые тучи цвета черного винограда — приближалась еще одна гроза.

Набравшись смелости, он что-то прошептал на ухо леди Вернон-Мюррей. Она кивнула, дернула мужа за фалды и сказала:

— Генри! Время истекло!

— Что, довогая?

— Время истекло!

И бригадир быстро распрощался с публикой, объявив, что надеется встретиться со всеми «в сковом въемени на охоте», и сел на место.

Следующим пунктом программы было вручение ее светлостью серебряного портсигара «всем и каждому, кто вернулся с этой войны». Когда леди Вернон-Мюррей сошла вниз по ступенькам, ее приветствовали громкие одобрительные возгласы. Она протянула подарок бомбардиру — от плетеного кресла метнулась вперед рука, похожая на огромный коготь, и схватила сигаретницу.

— Рр! Рр! — раздался уже знакомый рыхлый хрип.

— Ох, какой ужас, — ахнула миссис Бикертон.

— Дамы и господа, — обратился мистер Ар-

крайт к толпе через мегафон. — А теперь мы переходим к главному аттракциону сегодняшней программы — показу карнавальных платформ. Представляю вам номер первый… — Тут стряпчий сверился со своей программкой. — Выступают леркенхоупские конюхи, которые выбрали себе тему… «Сражение при Омдурмане»![51]

Показалась упряжка белогрудых шайров[52], которые везли воз с сеном, а на возу была представлена живая картина: лорд Китченер в окружении пальм в горшках и полудюжины деревенских пареньков. Одни были подпоясаны леопардовыми шкурами, кто-то вместо шкуры обошелся подштанниками, но все были с головы до ног вымазаны сажей и размахивали копьями или ассегаями, вопили и били в тамтамы.

Зрители тоже завопили, принялись кидать в ряженых бумажные дротики, а ветеран битвы за Роркс-Дрифт стал трясти костылем и, когда телега проехала, прокричал:

— Ну погодите, ниггеры, вот я вам накостыляю!

---

[51] Примечания: 51

Сражение, состоявшееся в 1898 году в Судане между англо-египетскими войсками и суданскими повстанцами во время восстания махдистов.

[52] Примечания: 52

Шайр — британская порода лошадей-тяжеловозов.

На повозке номер два прибыли «Робин Гуд и его Весельчаки». Затем — «Владения Империи» с мисс Бессель из Фрогэнда в роли Британии, а четвертая платформа представляла «Труппу работяг-комедиантов».

Ребята запели под аккомпанемент расстроенного пианино; когда они срифмовали слова «немецкий бутерброд» и «задний проход», слушатели погрузились в испуганное и потрясенное молчание, если не считать гогота Реджи Бикертона, который принялся смеяться и не в силах был остановиться. Рози тоже хихикала и прятала лицо под фартуком.

Тем временем Льюис Джонс потихоньку к ней подбирался. Он даже присвистнул, желая привлечь ее внимание, но она смотрела как будто сквозь него и улыбалась.

При появлении предпоследней платформы, изображавшей «Смерть принца Лливелина», группка валлийских националистов дружно запела.

— Довольно, джентльмены! — прокричал мистер Аркрайт. — Довольно, говорю я. Спасибо!

И тут бурные ликующие возгласы заставили всех подняться. Мужчины свистели. Женщины тянули шеи и восторженно ахали:

— Ну не чудо ли она?.. Просто чудо!.. Ах! Поглядите на этих ангелочков!.. Какие сладкие!.. Какие же они миленькие!.. Ой, да это же Сис… Смотрите! Это же наша Сисси… Ах! Ах! Ну какая же она рас-кра-савица!

— Мисс Сисси Пэнтолл из Буков, — продолжал восторженным тоном мистер Аркрайт, — которая соблаговолила почтить нас своим присутствием в роли Мира. Дамы и господа! Я представляю вам… Мир!

Пол и бока платформы были скрыты под текучими, подвижными складками белого ситца. Над ступицами колес свисали лавровые ветви, на всех четырех углах стояли вазы с белыми лилиями.

Хор ангелов расположился вокруг трона, на котором восседала крупная светловолосая девушка в белоснежной тунике. В руках она держала плетеную клетку, внутри которой сидел белый голубь с веерообразным хвостом. Распущенные волосы девушки рассыпались по плечам, а сама она от холода стучала зубами.

Дамы уже поглядывали на полосы дождя, отчетливо видневшиеся над Черной горой, и искали глазами ближайшие зонтики.

— Давай уже пойдем, — сказал Бенджамин.

После короткого совещания с леди Вернон-Мюр-

рей мистер Аркрайт поспешно объявил заранее предрешенный результат: победительницей карнавального конкурса стала мисс Пэнтолл из Буков. После чего ее гордый отец провел свою упряжку коней кругом, чтобы Сисси перешагнула с платформы на помост и получила заслуженную награду.

Не вынеся аплодисментов и приближающихся раскатов грома, голубка мира перепугалась и принялась отчаянно биться крыльями о прутья клетки. Полетели перья, ветер подхватил их, и несколько перышек упали к ногам Рози Файфилд. Нагнувшись, она подобрала два перышка и, разрумяненная, с вызывающей улыбкой встала перед Льюисом Джонсом.

— Ну надо же, и вы здесь! — сказала она. — А у меня для тебя подарок. — И она протянула Льюису одно из голубиных перышек.

— Спасибо большое, — ответил он со смущенной улыбкой.

Он взял перо, прежде чем брат успел удержать его руку: Льюис никогда не слышал о том, кому и зачем вручают белые перья.

— Трусы! Уклонисты! — насмешливо проговорила Рози.

Реджи Бикертон рассмеялся, и солдаты, окру-

жавшие девушку, тоже рассмеялись. Среди них был и тот унтер-офицер. Льюис бросил перо, и тут же закапал дождь.

— Спортивные состязания откладываются, — сообщил стряпчий через мегафон, а толпа между тем разбегалась врассыпную, люди укрывались под деревьями.

Льюис с Бенджамином, согнувшись, спрятались под рододендронами, и дождевая вода струйками стекала у них по шеям. Когда дождик стих, братья украдкой пробрались к краю кустарниковой аллеи и вышли на дорогу для экипажей. Но там путь им преградили четверо или пятеро солдафонов. Все они вымокли до нитки и к тому же были навеселе.

— Отсиживался, значит, тут дома, в тепле? А, приятель? — Унтер-офицер замахнулся кулаком на Льюиса, но тот увернулся.

— Бежим! — крикнул он, и близнецы побежали обратно в кусты. Но дорожка раскисла, Льюис поскользнулся на мокром корне и растянулся в грязи. Унтер-офицер навалился на него и заломил руку.

Другой солдат прокричал:

— Макнем их рылами в грязюку, так их!

Тут Бенджамин пнул его сзади под коленки и

сбил с ног. А потом все вокруг него вдруг закружилось; что было дальше, он не помнил; через какое-то время он услышал чей-то насмешливый голос:

— Ладно! Хватит с них, пускай себе отмокают!

И они снова остались одни — с подбитыми глазами и со вкусом крови на губах.

В тот вечер, поднявшись на гребень Кефна, они увидели с высоты костер, ярко пылавший в Крофт-Эмбри, еще один на вершине Кли и совсем вдали — едва заметное мерцание над Малвернскими горами. Так, наверное, пылали костры и в эпоху Армады[53].

Бомбардир не пережил этих празднеств. Работник, убиравший мусор и наводивший порядок на территории парка, нашел его тело в плетеном кресле-каталке. Когда толпа беспорядочно разбегалась от дождя, никто про него и не вспомнил. Он уже давно не дышал. Работника поместья поразила сила его хватки: мертвые пальцы, стискивавшие серебряный портсигар, никак не хотели разжиматься.

---

[53] Примечания: 53

Имеется в виду Непобедимая армада — военный флот, собранный Испанией в 1586–1588 годах для вторжения в Англию.

25

Джим из Скалы провел день празднования мира в военном госпитале Саутгемптон-Уотер.

Он служил в полку пограничников Южного Уэльса погонщиком мулов, пережил первую и вторую битвы при Ипре, а затем битву на Сомме. Прошел всю войну, не получив ни царапинки, но в последнюю неделю в его подколенные ямки попали два куска шрапнели. Началось заражение крови, и врачи даже подумывали об ампутации.

Когда после долгих месяцев лечения Джим наконец возвратился домой, ноги едва держали его. Лицо испещряли черные точки, и он то и дело впадал в сон.

На фронте Джим очень любил своих мулов, лечил их от воспаления глаз и от чесотки, вытаскивал из грязи, куда они проваливались по самые мослы. Он никогда не пристреливал раненого мула, если оставалась хоть какая-то надежда его спасти.

При виде мертвых мулов он огорчался больше, чем при виде убитых солдат.

— Я их много перевидал, — рассказывал он в пабе. — Лежат вдоль дороги, и вонь от них жут-

кая. Бедняги, они-то никому зла не делали.

Больше всего он огорчался, когда мулы погибали от ядовитого газа. Однажды после газовой атаки уцелел только он сам, а все мулы в обозе издохли. Джим тогда очень разозлился. Подошел к своему лейтенанту, хмуро отдал честь и выпалил:

— Мне, выходит, противогаз положен, а мулам нет! Это почему, а?

Высказанная им мысль так впечатлила лейтенанта, что он отправил рапорт генералу, и тот, вместо того чтобы отмахнуться, отозвался одобрительно и поощрительно.

В 1918 году большинство британских воинских подразделений обеспечило своих лошадей и мулов противогазами, в то время как немцы продолжали терять обозную скотину. И хотя ни один военный историк не упоминал о том, что Джим из Скалы изобрел лошадиные противогазы, сам он упорствовал в заблуждении, что без него Британия не выиграла бы войну.

Потому всякий раз, как подходила чья-нибудь очередь заказывать выпивку — будь то в «Красном драконе» в Рулене, в «Волошском орехе» в Леркенхоупе или в «Пастушьем привале» в Верхней Брехфе, — он вызывающе смотрел на

своих собутыльников и заявлял:

— Ну давайте, выставляйте еще пинту. Это ж я войну выиграл!

Когда в ответ ему сыпались насмешки: «Да ладно тебе заливать, старый враль!» — он выуживал из кармана письмо генерала или фотографию, изображавшую его самого вместе с парой мулов — на всех троих были противогазы.

Сестра Джима Этель страшно гордилась им и его блестящими медалями и говорила, что ему нужно «хорошенько отдохнуть».

Этель с годами превратилась в крепкую женщину с широкой костью и тяжелой поступью; она ходила повсюду в бывшей армейской шинели и смотрела на мир из-под кустистых бровей.

— Ничего страшного, — говорила она, если Джим бросал начатую работу. — Я сама доделаю.

А когда он вдруг все бросал и уезжал в паб, ее лицо расплывалось в благодушной улыбке:

— Ему там душевно.

Эджи тоже никак не могла нарадоваться на Джима и считала его восставшим из мертвых. Один только Том Гроб, превратившийся в морщинистого старика со свалявшейся бородой и водянистым взглядом, в свое время разозлился на мальчишку за то, что ушел на войну доброволь-

цем, а теперь злился еще больше — из-за того, что вернулся. Видя, как «герой войны» греется на солнышке, он кричал на него грубым и страшным голосом:

— Я тебя предупреждал! Предупреждал тебя! Это твой последний шанс! Или берись за работу, или я тебя отделаю! Уж я тебя обтешу, чурбан негодный! Я тебе толстую морду-то разукрашу!..

Однажды вечером он обвинил Джима в краже недоуздка и избил его по щекам тамбурином, после чего Эджи заявила:

— Все, с меня хватит.

Когда пришло время ужина, ее муж, вернувшись домой, обнаружил, что все засовы задвинуты и впускать его никто не собирается. Он стучал и буянил, но дверь была сработана из прочного дуба, и он ушел не солоно хлебавши, с разбитыми в кровь костяшками пальцев. Около полуночи из стойла донеслось леденящее кровь ржание. Утром самого Тома нигде не было видно, а в конюшне любимая кобыла Джима лежала мертвой — в голову ей был вогнан гвоздь.

Позже пришло известие, что старик живет в долине Итона с вдовой фермера, и та родила ему ребенка. Поговаривали, будто он приворожил ее «дьявольским взглядом» еще тогда, когда отвозил

ей гроб для покойника-мужа.

Эджи, лишившись выручки от продажи гробов, осталась ни с чем и уже не могла содержать «опрятный дом». Она крепко задумалась о других источниках дохода, и в голову ей пришла мысль, что можно брать на полный пансион чужих нежеланных детей.

Первым из ее «спасенышей» стала малышка Сара. Ее мать — жену мельника из Бринариана — соблазнил сезонный рабочий, стригший овец. Мельник отказался растить чужого ребенка под своей крышей, но готов был платить за его содержание по два фунта в неделю.

Одна эта договоренность приносила Эджи по фунту чистой прибыли, и, вдохновившись, она решилась взять на воспитание еще двух незаконнорожденных — Бренду и Лиззи. Так ей удалось поддерживать в доме прежний приличный уровень достатка. Чайница всегда была полна доверху. Раз в неделю подавалась баранья солонина. Эджи купила новую белую льняную скатерть и по воскресеньям гордо ставила на стол к чаю банку с консервированными ананасными ломтиками.

А Джим между тем верховодил птичьим и скотным двором, отлынивал от работы и частенько

сидел на горных склонах, играя на свистульке на радость каменкам и луговым чеканам.

Ему было невыносимо видеть, как мучится живое существо, и если он находил кролика в силках или чайку со сломанным крылом, то приносил их домой, перебинтовывал рану или накладывал на крыло шину из веток. Порой у него оказывалось сразу нескольких птиц или зверей; когда кто-то из них издыхал, Джим вздыхал:

— Бедняжка! Вырою ему яму и похороню в земле.

Много лет он продолжал бубнить что-то про войну, а еще завел привычку незаметно подкрадываться к Видению и поддразнивать близнецов Джонсов.

Однажды на закате братья косили в одних рубахах, когда к ним, ковыляя, приблизился Джим и заладил свое:

— И тут танки как загрохочут! Бум!.. Бум!

Близнецы продолжали косить, изредка нагибаясь, чтобы заточить косу. Когда в рот Бенджамину залетела муха, он сплюнул:

— А-а! Чертовы мухи!

На Джима они не обращали ни малейшего внимания, и под конец он начал терять терпение:

— А вы? Вы бы там и минуты не протянули. У

вас-то ферма, было за что воевать! А я… У меня ничего, кроме собственной шкуры, за душой не было, а я не струсил!

С того самого дня, когда вся страна праздновала окончание войны, мир близнецов сжался до небольшого пространства, занимавшего всего несколько квадратных миль и ограниченного с одной стороны молельней Майсифелин, а с другой — Черной горой. И Рулен, и Леркенхоуп они считали теперь вражеской территорией.

Братья отворачивались от современности, словно стремясь вернуться к невинным дням своего раннего детства. И глядя, как соседи вовсю покупают новую сельскохозяйственную технику, убеждали отца, что это пустая трата денег.

Они разбрасывали навоз по полям лопатами. Сеяли зерно с плетеного «воротника». Пользовались старой сноповязалкой, старым однолемешным плугом и даже молотили по старинке — цепом. Однако, как поневоле признавал Амос, никогда еще изгороди не были такими опрятными, трава — такой зеленой, а скотина — такой здоровой. Хозяйство даже стало приносить деньги. Стоило Амосу зайти в банк, как управляющий выбегал из-за прилавка и спешил пожать ему руку.

Единственным мотовством, какое позволял

себе Льюис, была подписка на газету «Новости мира»; по воскресеньям, после обеда, он пролистывал страницы, высматривая, не случилось ли за неделю какой-нибудь авиакатастрофы: он продолжал пополнять свой альбом новыми вырезками.

— Да что ж такое, — говорила Мэри с напускным возмущением. — Что за нездоровое увлечение!

Хотя ее сыновьям исполнилось всего двадцать два года, они вели себя как закоренелые старые холостяки. Впрочем, более серьезные поводы для беспокойства подавала дочь.

Ребекка годами купалась в лучах отцовской любви, но эта пора давно миновала: теперь они с отцом почти не разговаривали. Она втихаря сбегала в Рулен, а когда возвращалась, изо рта у нее пахло сигаретным дымом, а вокруг губ виднелись остатки стертой помады. Она запускала руку в денежный ящик Амоса. Он обзывал ее потаскухой, и Мэри уже отчаялась их примирить.

Чтобы спровадить дочь из дома, она нашла ей работу — место продавщицы в старом магазине тканей «Альбион», владельцы которого в порыве послевоенной любви ко всему французскому переименовали его в «Парижский дом». Ребекка ночевала на чердаке над магазином, а домой

приходила на выходные. Однажды в субботу, во второй половине дня, когда близнецы отмывали маслобойки, до них донеслись крики и вопли. На кухне разгорался большой скандал.

Ребекка призналась родителям, что забеременела — причем от ирландца-землекопа, католика, работавшего на железной дороге. Из дома она ушла с разбитой губой и пятнадцатью золотыми соверенами в кошельке, ошеломив всех лукавой усмешкой и холодной расчетливостью.

— Больше она ничего от меня не получит, никогда, — прогремел Амос.

С тех пор от нее не приходило ни весточки. Своему бывшему работодателю она прислала открытку с новостью о рождении дочки. Мэри, узнав обратный адрес, съездила на поезде в Кардифф, чтобы увидеть внучку, но квартирная хозяйка сказала ей, что пара эмигрировала в Америку, и захлопнула дверь у нее перед носом.

Амос так никогда и не оправился от исчезновения дочери. Во сне он продолжал звать ее по имени. Потом его одолел опоясывающий лишай, доводивший его до бешенства. А вскоре, в довершение бед, подскочила арендная плата.

Бикертоны попали в затруднительное финансовое положение.

Их доверители из фонда выкупа облигаций потеряли целое состояние на русских долговых обязательствах. Эксперименты с разведением племенных лошадей потерпели неудачу и не окупили вложенных средств. Продажа картин старых мастеров обернулась сплошным разочарованием, а когда адвокаты полковника заговорили о способах избежать налогов на наследство, он вспылил:

— Не говорите мне о налогах на наследство! Я еще не умер!

Его новый агент разослал всем арендаторам циркуляр, предупреждавший о том, что в следующем году следует ожидать существенного подъема арендной платы. Это была очень неприятная новость для Амоса, который как раз задумался о покупке своей земли.

Даже пребывая в самом дурном настроении, Амос представлял себе, как оба близнеца когда-нибудь женятся и продолжат возделывать землю. Но Видение явно не могло прокормить две семьи, поэтому необходимо было обзавестись еще одной фермой.

Он уже много лет держал на примете Бугор — небольшое земельное владение на высоком месте площадью тридцать три акра, окруженное

полосой буков, в полумиле от руленской окраины. Владел этим участком старый отшельник — по слухам, священник-расстрига. Он жил в одиночестве и в аскетичной скудости, пока однажды Этель из Скалы не заметила, что из его трубы больше не идет дым, и не нашла его распростертым в саду с морозником, зажатым в руке.

Амос навел справки и узнал, что этот участок будет выставлен на торги. Однажды в четверг вечером он отвел Льюиса в сторону и сказал ему угрюмым тоном:

— На Бугре поселилась твоя старая подружка, Рози Файфилд.

26

Когда Рози работала горничной в поместье Леркенхоуп, одной из ее обязанностей было носить воду для ванны на второй этаж, в спальню Реджи Бикертона.

Этот уголок, куда обычно мало кто допускался, находился в Западной башне и являл собой идеальное холостяцкое логово. Стены были обиты темно-синими обоями. Гобеленовые шторы и прикроватные занавески выдержаны в зеленых тонах и украшены геральдическими животными. В комнате стояли обитые мебельным ситцем стулья и оттоманки, лежал большой персидский ковер, а перед очагом вместо коврика расстелена шкура белого медведя. На каминной полке покоились часы из позолоченной бронзы, украшенные с обеих сторон фигурами Кастора и Полидевка. Большинство картин изображали какую-нибудь восточную экзотику: базары, мечети, караваны верблюдов, женщин в комнатах с зарешеченными окнами. На выставленных итонских фотографиях Реджи красовались группки молодых спортсменов с невозмутимыми улыбками; свет вечернего солнца, просачиваясь в

комнату через витражные стекла круглых окон, рассыпал по рамам кроваво-красные пятна.

Рози расстилала у ванны резиновый коврик, вешала на спинку стула полотенце, выкладывала мыло и губку. Потом, погрузив в воду градусник — чтобы убедиться, что молодой хозяин не обварит свою культю, — она старалась потихоньку улизнуть, чтобы он ее не позвал.

Чаще всего по вечерам Реджи лежал на оттоманке, закутавшись в просторный желтый шелковый халат, и притворялся, будто читает или делает выписки своей уцелевшей рукой. Но краем глаза он следил за каждым движением горничной.

— Спасибо, Рози, — говорил он, когда она уже поворачивала ручку двери. — Э… Рози!

— Да, сэр! — Она замирала и чуть ли не вставала по стойке смирно у полураскрытой двери.

— А впрочем нет, ничего! Пустяки! — И пока дверь за ней закрывалась, он тянулся за костылем.

Однажды вечером, раздевшись до пояса, он попросил ее помочь залезть в воду.

— Нет-нет! — испуганно ответила она и бросилась наутек в коридор.

В 1914 году Реджи ушел на фронт, следуя впи-

танным с малых лет рыцарским понятиям о долге перед сословием и родиной. Вернулся домой безногим калекой с залысинами, без трех пальцев на правой руке и с водянистыми глазами тайного пьяницы. Поначалу он переносил свои увечья с аристократическим стоицизмом. Но к 1919 году первая бурная волна сочувствия к нему утихла, и он ощутил, что им просто тяготятся, как и всеми инвалидами.

Его невеста вышла замуж за его лучшего друга. Остальные друзья, сочтя, что Валлийская марка чересчур далеко от Лондона, посещали его редко. Любимая сестра Изабелла вышла замуж и уехала в Индию. И он остался один в этом огромном мрачном доме, если не считать вечно препиравшихся родителей и хмурой заики Нэнси, осыпавшей его непрошеными нежностями.

Он пытался писать роман о том, что пережил на войне. Но сочинительство оказалось утомительным занятием: минут двадцать еще удавалось выводить строки левой рукой, но потом ему надоедало, и он просто смотрел в окно — на лужайку, на дождь, на гору. Ему хотелось жить где-нибудь в тропиках, а еще он мечтал о стаканчике виски.

Однажды в мае, в субботу, в доме было много гостей, и Рози ужинала в помещении для прислуги,

когда вдруг зазвонил колокольчик, вызывавший ее в спальню № 3. Перед этим она отнесла туда горячую воду для ванны.

Рози постучалась.

— Войди.

Он лежал на оттоманке, наполовину одевшись для выхода к ужину, и раненой рукой пытался просунуть золотую запонку в манишку.

— Видишь, Рози, у меня никак не получается. Можешь мне помочь?

Она нащупала тыльный конец запонки, но как только та вынырнула с накрахмаленной изнанки, Реджи притянул девушку к себе.

Рози вырвалась из его рук и попятилась. Залившись краской по шею, с запинкой проговорила:

— Я нечаянно.

— А я нарочно, Рози, — возразил Реджи и объявил, что любит ее.

Он и раньше дразнил и донимал ее. Она сказала, что с его стороны это подлость — вот так смеяться над ней.

— Но я и не думал смеяться! — сказал он в непритворном отчаянии.

Она поняла, что он настроен серьезно, и вышла, хлопнув дверью.

Все воскресенье она не показывалась, при-

творяясь больной. А в понедельник, когда гости разъехались, он попросил у нее прощения, пустив в ход все свое обаяние.

Он смешил ее, в подробностях описывая частную жизнь вчерашних гостей, рассказывал о своих путешествиях по Средиземноморью, о греческих островах. Давал ей романы, которые она потом читала при свечах. Однажды она залюбовалась часами на каминной полке.

— Это небесные близнецы, — сказал Реджи. — Возьми их. Это подарок. Все, что ты здесь видишь, может стать твоим.

Она протомила его еще неделю. Он уже заподозрил, что у него есть соперник. Совсем обезумев от ее упрямства, он сделал ей предложение.

— Ох…

Спокойно и неторопливо она подошла к витражному окну и посмотрела вниз, на фигурно подстриженные кусты, на простиравшийся за ними лес. Где-то протяжно и скрипуче прокричал павлин. Она вдруг представила, как дворецкий приносит ей поднос с завтраком… Когда сгустились сумерки, она забралась к Реджи постель.

У них установился особый порядок обмана окружающих. Рози чувствовала себя униженной оттого, что приходилось покидать Реджи в пять

часов, пока в доме все спали. Когда поползли слухи, они стали вести себя еще осторожнее. Однажды ночью ей пришлось спрятаться в гардероб и оттуда слушать, как Нэнси распекает брата:

— Ну Ред-джи, им-мей совесть! Вся д-деревня об этом с-судачит!

Рози стала понукать его, прося рассказать обо всем родителям. Он обещал, что расскажет после празднований по случаю наступления мира. Прошел еще месяц. Когда у нее случилась задержка, он, похоже наконец образумился.

— Я все им расскажу, — объявил он. — Завтра, после завтрака.

Через три дня его мать уехала на юг Франции, и он взмолился:

— Ну пожалуйста, пожалуйста, прошу тебя: дай мне еще немножко времени!

В парке уже желтели листья; из Лондона к полковнику приехали погостить друзья-охотники. Во вторую субботу фазаньей охоты дворецкий велел Рози отнести обед всей компании в рощу Тэнхаус. Обратно через парк ее вместе с корзинами подвез грум. Она увидела синий автомобиль, поспешно отъезжающий в сторону Западного охотничьего домика.

Реджи собрал вещи и уехал за границу.

Она не плакала. Она не поддалась отчаянью. Она даже не слишком удивилась. Трусливо улизнув, он лишь подтвердил ее прежнее мнение о мужчинах. На своей кровати Рози нашла письмо — и с презрением разорвала его в клочья. Во втором письме она прочитала совет сходить в Рулене к некоему мистеру Аркрайту, стряпчему.

Она сходила. Тот предложил ей пятьсот фунтов.

— Шестьсот, — ответила Рози, сверля мистера Аркрайта взглядом еще более ледяным, чем его собственный.

— Ладно, шестьсот, — согласился он. — Но ни пенни больше!

Рози ушла от него с чеком.

В ту зиму она сняла себе комнату на молочной ферме и кое-как расплачивалась с хозяевами, делая сыр. Потом, родив мальчика, оставила его с кормилицей, а сама устроилась на работу.

Рози давно страдала от бронхита, и ее тянуло на чистый горный воздух. Однажды летним вечером она возвращалась домой, идя вдоль хребта от Орлиного камня; у нее над головой со свистом носились ласточки. На красноватом пригорке отдыхал старик, и Рози остановилась поговорить с ним.

Он перечислил ей названия всех окрестных утесов. Тогда она спросила, как называются те скалы, на которых они сейчас сидят.

— Шишка Бикертона, — ответил старик и очень удивился, когда Рози отозвалась на его слова насмешливым хохотом.

Старик-отшельник хромал, суставы у него плохо гнулись. Он показал ей, где стоит его домик — далеко внизу, в кольце буков. Рози проводила его и просидела с ним до темноты, пока он читал ей наизусть собственные стихи. Она стала носить ему продукты. Две зимы спустя он умер, и ей удалось купить его домик с участком.

Она приобрела небольшое стадо овец и пони. Забрав туда сына, она отгородилась от мира. Сожгла хлам, оставшийся после поэта, но сохранила его черновики и принадлежавшие ему книги. Защитой ей служила лишь скрипучая дверь да собака.

Однажды Льюис Джонс отправился искать сбежавшего барана. Он вышел к реке через рощицу лещины, где вода перебегала через гребенчатую скалу, а на берегу лежали горки побелевших костей, смытых с горы зимними потоками. Всмотревшись сквозь листву, он увидел на дальнем конце оврага Рози Файфилд в синем платье. На

кустах утесника сушилось разложенное белье, а сама она уткнулась в книгу. К ней подбежал маленький мальчик и протянул сорванный лютик.

— Пожалуйста, Билли, — она погладила его по голове. — Хватит уже.

Тогда ребенок сел и начал плести венок из маргариток.

Льюис наблюдал за ними минут десять, замерев, как обычно делают, когда следят за лисицей, играющей с лисятами. А потом вернулся домой.

27

Двадцать шестого декабря 1924 года в Фиддлерс-Элбоу гончие были спущены, чтобы обследовать логовища в лесу Кефн. Было около половины двенадцатого, когда полковника Бикертона выбросил из седла гунтер и лягнула в спину лошадь, скакавшая следом. В день похорон школьников освободили от уроков. В пабе завсегдатаи произносили тосты в память старого сквайра и говорили: «Такую смерть он, верно, выбрал бы сам».

Вдова приехала на три дня, а потом отбыла обратно в Грас.

Рассорившись с остальными родственниками, она давно перебралась во Францию, поселилась в маленьком прованском доме, писала картины и занималась садоводством. Миссис Нэнси продолжала жить в Леркенхоупе, «держа оборону» в ожидании Реджи, пока тот оставался на своей кофейной плантации в Кении. Большинство слуг получили увольнение. В июле до Амоса дошел слух, что в скором времени все горные фермы будут выставлены на продажу — для уплаты налога на наследство.

Этого момента он ждал всю жизнь.

Он зашел к управляющему поместьем, и тот доверительно сообщил ему, что всем арендаторам, имевшим в пользовании арендованные фермы в течение хотя бы десяти лет, предложат выкупить их «по справедливой цене».

— И какова же будет эта справедливая цена?

— Для Видения? Трудно сказать точно! Наверное, между двумя и тремя тысячами.

После этого разговора Амос зашел к управляющему банком, и тот сказал, что с выдачей займа трудности не должно возникнуть.

При одной мысли о том, что можно из арендатора сделаться владельцем своей фермы, Амос снова помолодел душой. Казалось, он забыл про дочь. Он смотрел на землю как будто новыми, полными любви глазами, размечтался о покупке современной техники, завел привычку произносить назидательные монологи об упадке аристократии.

Рука самого Господа, говорил он, отдала эту землю ему и семени его; при слове «семя» оба близнеца краснели и опускали взгляд. Однажды, в пору охоты на тетеревов, он спрятался среди лиственниц и наблюдал оттуда, как миссис Нэнси расхаживает по пастбищу с компанией, воору-

женной ружьями и колотушками.

— А через год, — кричал он, сидя за ужином, — через год пусть эти толстые морды только сунутся на мое поле, я им покажу! Я собак на них спущу…

— Боже милостивый! — вздохнула Мэри, ставя на стол блюдо с картофельно-мясной запеканкой. — И что они тебе плохого сделали?

Проходила осень. А потом, ближе к концу октября, из Херефорда явились два оценщика и попросили показать им поля и строения.

— И сколько же, по вашему мнению, может стоить ферма? — спросил Амос, почтительно открывая дверь их автомобиля.

Тот, что постарше, задумчиво почесал подбородок:

— Около трех тысяч на открытых торгах. Но я бы на вашем месте помалкивал о такой цене.

— На открытых торгах? Но ее не должны выставлять на открытые торги.

— Возможно, вы и правы, — пожал плечами оценщик и потянул за стартер.

Амос заподозрил, что что-то не так. Но никогда, даже в минуты самой мрачной тревоги, он не ожидал подобного удара: в «Херефорд Таймс» напечатали объявление о том, что через шесть

недель фермы будут продаваться с молотка на публичном аукционе в «Красном драконе» в Рулене. Попечители поместья Леркенхоуп, опасаясь нового лейбористского правительства и зная о новых законах против произвола землевладельцев, решили не упускать ни одного фартинга и потому поставили своих старых арендаторов в равное положение со сторонними покупателями.

Хейнс из Красного Дарена созвал арендаторов на собрание в зале при молельне в Майсифелине, и там, выступая один за другим, все высказались против «этой чудовищной закулисной игры» и пообещали сорвать торги.

Торги же после подготовки открылись по плану.

В этот знаменательный день шел дождь со снегом. Мэри надела теплое шерстяное серое платье, зимнее пальто и ту шляпку, которую обычно надевала на похороны. Беря зонтик, она повернулась к близнецам и сказала:

— Пожалуйста, поедемте с нами! Вы нужны отцу. Сегодня вы нужны ему как никогда.

Они покачали головами и ответили:

— Нет, мама! В город мы не поедем.

Из банкетного зала в «Красном драконе» были вынесены все столы; управляющий, боясь

за сохранность паркетных полов, стоял у входа и внимательно смотрел, не входит ли кто в башмаках, подбитых большими сапожными гвоздями. Помощник аукционщика развешивал полоски бумаги на стульях, зарезервированных для участников торгов. Мэри, кивая друзьям и знакомым, села в третьем ряду, а Амос присоединился к другим арендаторам, которые — все до одного валлийцы — стояли кружком, перекинув непромокаемые плащи через руку, и тихонько переговаривались, обсуждая стратегию действий.

Главным смутьяном был Хейнс из Красного Дарена — худой, жилистый человек лет за пятьдесят, с приплюснутым носом, копной поседевших волос и кривыми зубами. У него недавно умерла жена.

— Ладно! — сказал он. — Если кто-нибудь вздумает перебивать цену у арендатора, я собственным сапогом выпну его из этого зала.

Зал постепенно наполнялся: приходили и покупатели, и зрители. Вошла какая-то моложавая, несколько растрепанная женщина в промокшей под дождем шляпке с зелеными перьями. Под руку ее держал старый Том Уоткинс Гроб.

Амос разомкнул круг, выйдя навстречу бывшему врагу, чтобы поприветствовать его, но Уоткинс

повернулся к нему спиной и уставился на репродукцию, изображавшую охотничью сцену.

В двадцать минут третьего появился агент продавца, мистер Аркрайт. Оделся он будто на охоту — в твидовые брюки-гольф. У него тоже недавно умерла жена; но когда Дэвид Пауэлл-Дэвис подошел к нему выразить соболезнования «от имени всех членов Союза фермеров», стряпчий ответил ему с убийственной улыбкой:

— Конечно, это печально. Но это и благодать! Поверьте мне, мистер Пауэлл-Дэвис! Большая благодать!

В последний год жизни миссис Аркрайт подолгу лежала в лечебнице для душевнобольных Среднего Уэльса. Вдовец завязал беседу с аукционистом, мистером Уитекером.

Это был высокий человек с рыжеватыми волосами, ярким румянцем, глазами устричного цвета и вкрадчивыми манерами, одетый как типичный представитель городского образованного класса — в черный пиджак с клетчатыми брюками; его кадык то и дело дергался вверх-вниз в клинообразном зазоре воротника-стойки.

Ровно в половине третьего он поднялся на помост и объявил:

— По распоряжению поручителей Леркен-

хоупского поместья на торги выставляются пятнадцать ферм, пять земельных участков с домами для сдачи внаем и двести акров высокоствольного леса.

— Неужели я не могу даже умереть на ферме, где родился? — раздался из дальнего конца зала чей-то зычный голос, в котором слышалась ирония.

— Конечно можете, — дружелюбно отозвался мистер Уитекер. — Если совершите подобающий акт купли! Уверяю вас, сэр, начальные ставки весьма низкие. Что ж, все готовы, начинаем? Лот номер один… Нижний Пен-Лан-Корт…

— Нет, сэр! — подал голос Хейнс из Красного Дарена. — Не начинаем. Мы готовы лишь положить конец всей этой ерунде. Разве справедливо выставлять на продажу земельную собственность вот так, не давая арендаторам шанса выкупить ее?

Мистер Уитекер перевел взгляд с ропщущей толпы на мистера Аркрайта: их заранее предупреждали о возможном недовольстве. Он отложил молоточек из слоновой кости и заговорил, обращаясь к люстре:

— Все эти возражения, господа, несколько запоздали. Но вот что я вам скажу: как фермеры вы

выступаете за открытые рынки, чтобы вам было выгоднее продавать скот. Здесь же вы ждете закрытых торгов, которые противоречат интересам вашего арендодателя.

— А разве правительство контролирует цены на землю? — Это снова был Хейнс, и в его певучем голосе слышалась злость. — Цены на скотину оно контролирует.

— Правильно! Правильно! — Валлийцы принялись медленно хлопать.

— Сэр! — Губы у мистера Уитекера задрожали и загнулись уголками книзу. — Здесь проводится публичный аукцион, а не политическое собрание.

— Скоро оно станет еще каким политическим! — Хейнс потрясал кулаком. — Вы, англичане! Вы думаете, с вас хватит беспорядков в Ирландии? Ничего, у нас тут полный зал валлийцев, и мы вам прямо здесь беспорядки устроим!

— Сэр! — Молоточек издал громкое *тук-тук-тук*. — Здесь неуместно и несвоевременно обсуждать вопросы, относящиеся к имперским делам. Перед нами стоит лишь один вопрос, господа! Хотим ли мы, чтобы эти торги состоялись?

Со всех сторон раздались крики: «Нет!..», «Да!..», «Гнать отсюда этого сукина сына!..», «Чертов

большевик!..», «Боже, храни короля!». Валлийцы-бунтари взялись за руки и запели хором гимн *Hen Wlad Fy Nhadau* — «О земля моих отцов».

Тук-тук-тук, тра-та-та-та-та, тук-тук-тук!

— К сожалению, никак не могу назвать ваше пение похвальным, господа! — Аукционист заметно побледнел. — Скажу вам еще кое-что. Если эти беспорядки продолжатся, лоты снимут с торгов и выставят потом согласно частному договору, но уже единым лотом.

— Обманщик!.. Гнать его отсюда! — Но эти новые крики звучали уже куда менее убедительно и вскоре выдохлись. Воцарилось молчание.

Мистер Уитекер сложил руки на груди, со злорадством отметив действенность своей угрозы. А тем временем Дэвид Пауэлл-Дэвис тихонько отчитывал Хейнса из Красного Дарена.

— Хорошо! Хорошо! — Хейнс провел пальцами по своим изрытым оспинами щекам. — Но если хоть кто-то, если хоть одна собака посмеет перебежать дорогу арендатору, я его выпну…

— Ну что ж, начнем. — Аукционист обвел взглядом ряды напряженных, сосредоточенных лиц. — Этот господин наконец разрешил нам приступить к делу. Итак, лот номер один… Нижний Пен-Лан-Корт… Скажем, пятьсот фунтов?

Через двадцать пять минут он распродал земельные участки, лес и четырнадцать ферм арендаторам.

Дай Морган заплатил две с половиной тысячи фунтов за Бейли. Гиллифайног отошел Эвану Бевану всего за две тысячи, но эта земля была неплодородной. Гриффитсам пришлось выложить три тысячи пятьдесят фунтов за Кум-Кринглин. А Хейнс купил Красный Дарен на целых четыреста фунтов дешевле, чем ожидал.

Сделка заметно взбодрила его. Он обходил своих приятелей, жал им руки и обещал всех угостить выпивкой, когда откроется паб.

— Лот номер пятнадцать…

— Наш черед, — чуть слышно произнесла Мэри. Амос весь дрожал, и она накрыла его ладонь своей, не снимая серой перчатки.

— Лот номер пятнадцать, ферма Видение. Жилой дом с хозяйственными постройками, сто двадцать акров и права пасти скот на Черной горе… С чего начнем? Пусть будет пятьсот фунтов?.. Пятьсот фунтов! Ваше предложение, сэр?.. За пятьсот фунтов!..

Амос повышал цену, отталкиваясь от начальной ставки. Казалось, будто он толкает телегу в гору. Он сжал кулаки и тяжело, порывисто

дышал.

Когда цена дошла до двух тысяч семисот пятидесяти фунтов, он поднял глаза и увидел молоток, уже готовый опуститься.

— Ваши ставки, сэр! — сказал мистер Уитекер, и тут Амос ощутил, что достиг солнечной вершины и все тучи рассеялись.

Рука Мэри лежала на его руке, которая уже не была стиснута в кулак; в памяти вдруг всплыл тот первый вечер, когда они стояли вдвоем в заросшем саду рядом с домом.

— Что ж, хорошо, — мистер Уитекер уже приготовился завершать торги. — Продано арендатору за две тысячи семьс…

— Три тысячи!

Этот голос словно резаком ударил Амоса в основание черепа.

Заскрипели стулья: зрители заерзали, потому что каждому хотелось посмотреть, кто мог неожиданно вмешаться в торги. Амос сразу понял, кто это, но не стал оборачиваться.

— За три тысячи… — Мистер Уитекер засиял от удовольствия. — Ставка от покупателя из дальнего конца зала — три тысячи.

— Три тысячи сто, — сдавленным голосом произнес Амос.

— Три пятьсот!

Цену перебивал Уоткинс Гроб.

— И шестьсот впереди!

И где же теперь Красный Дарен? — вдруг подумал Амос. С его обещаниями выпнуть любого, кто встрянет? С каждой ставкой он чувствовал, что вот-вот взорвется. Ему было тяжело дышать, каждая новая сотня грозила добить его, а холодный голос, звучавший сзади, продолжал повышать цену.

Он раскрыл глаза и увидел самодовольную, льстивую улыбочку на лице аукциониста.

— Ваш черед, сзади, — говорил он. — Покупатель сзади предлагает пять тысяч двести фунтов. Ставок больше нет? Вам слово, сэр!

Мистер Уитекер явно получал удовольствие. Это было видно по тому, как он облизывал нижнюю губу кончиком языка.

— Пять тысяч триста! — сказал Амос, глядя куда-то в пустоту широко раскрытыми глазами, будто загипнотизированный.

Аукционист ловил новые ставки раскрытым ртом, будто пролетающие мимо цветы.

— Рядом со мной — пять тысяч триста!

— Хватит! — Мэри крепко вцепилась в запястье мужа. — Он просто спятил, — прошипела она. —

Остановись сейчас же!

— Благодарю вас, сэр! Пять тысяч четыреста — сзади!

— Пять пятьсот! — выкрикнул Амос.

— Снова рядом со мной, пять тысяч пятьсот!

Мистер Уитекер устремил взгляд на люстру и моргнул. На лице его появилось озадаченное выражение. Второй покупатель, оказывается, бросился к выходу. Люди начали вставать с мест и надевать пальто.

— Что ж, очень хорошо! — Он возвысил голос, перекрывая шорох дождевиков. — Продано арендатору за пять тысяч пятьсот фунтов! — И его молоток опустился с онанистическим глухим стуком.

28

На следующий день, когда Мэри ехала в двуколке к стряпчему, опять шел дождь со снегом. На полях было много мокрых овец, по улицам бежали потоки грязной воды. Амос после вчерашнего слег.

Клерк провел Мэри в кабинет, где пылал уголь в печке.

— Благодарю вас, я постою здесь, — сказала она, грея руки у огня и одновременно собираясь с мыслями.

Вошел мистер Аркрайт и стал перекладывать бумаги на столе.

— Дорогая миссис Джонс, как хорошо, что вы так поспешили с визитом! — сказал он и сразу же заговорил о внесении залога и обмене контрактами. — Скоро мы завершим дело.

— Я пришла к вам, чтобы поговорить не о контракте, — возразила Мэри, — а о несправедливой цене на торгах.

— Несправедливой, мадам? — У стряпчего вывалился из глаза монокль и заболтался туда-сюда на черной шелковой ленточке. — В каком же смысле несправедливой? Ведь это был публич-

ный аукцион.

— Нет, это была личная вендетта.

Она стала рассказывать о давней распре между ее мужем и Уоткинсом Гробом, а между тем от ее вымокшей юбки к потолку поднимался пар.

Стряпчий поигрывал ножом для бумаг, поправлял галстучную булавку, пролистывал журнал. Потом он вызвал звонком своего секретаря и очень многозначительным тоном попросил принести «одну чашку чая».

— Да, миссис Джонс, я вас слушаю, — проговорил он, когда Мэри подошла к концу своего рассказа. — Вы еще что-то хотите мне сказать?

— Я надеялась… Я думала… что, может быть, попечители согласятся снизить цену…

— Снизить цену? Что за мысли!

— Неужели нет способа…

— Никакого!

— И никакой надежды?..

— Надежды, мадам? Ну это уже, по-моему, просто нахальство!

Мэри выпрямила спину и поджала губы:

— Вы понимаете, что больше ни от кого не получите такой цены?

— Прошу прощения, мадам. Вот тут вы совершенно не правы! Сегодня утром ко мне как раз

заходил мистер Уоткинс. И он выразил желание внести залог в том случае, если покупатель откажется от покупки!

— Я вам не верю, — заявила Мэри.

— Ваше право, — ответил он и указал на дверь. — У вас есть двадцать восемь дней на принятие решения.

Жаль, думал он, слушая звук ее удалявшихся шагов по линолеуму. Когда-то, должно быть, она была красавицей. А теперь поймала его на лжи! Но ведь она предала собственный класс, разве не так? Когда вошел секретарь с чашкой чая, лицо стряпчего нервно подергивалось.

Вечерние облака были темнее горы. Над лесом Кефн низко летали большие стаи скворцов, то расширяясь, то сгущаясь дугами и эллипсами, взмывая вихрями и рассаживаясь по веткам. Впереди Мэри видела огни своего дома, к которому едва осмеливалась приближаться.

Вышли близнецы, распрягли пони и вкатили двуколку в гараж.

— Как отец? — спросила Мэри, дрожа.

— Чудит.

Весь день он молил Бога покарать его за грех гордыни.

— И что же я теперь ему скажу? — проговорила

Мэри, сгибаясь на низкой табуретке у каминной решетки.

Бенджамин принес ей кружку какао. Она закрыла глаза, чтобы их не слепило пламя, и ей показалось, что она видит, как тонкие красные ручейки бегут по внутренней стороне век.

— Что же нам теперь делать? — повторила она, обращаясь к пламени. И пламя, к ее удивлению, ответило.

Мэри поднялась. Подошла к пианино и открыла деревянную инкрустированную шкатулку, где хранились письма. Через несколько секунд она выудила поздравительную открытку от миссис Бикертон, полученную на прошлое Рождество. Ниже подписи был указан адрес — она жила под Грасом.

Близнецы поужинали и пошли спать. Над крышей дул штормовой ветер, из спальни доносились стоны Амоса. Огонь потрескивал, перо скрипело. Мэри писала письмо за письмом, а потом комкала и начинала заново — до тех пор, пока не добилась нужного эффекта. Потом запечатала конверт и оставила его для почтальона.

Она ждала неделю, две недели, двадцать дней. Утро двадцать первого было ясным и прохладным, и Мэри велела себе не выбегать навстречу

почтальону, а спокойно дождаться его стука в дверь.

Ответ наконец пришел.

Когда Мэри вскрыла конверт, из него выпало что-то желтое, цвета новорожденного цыпленка, и отскочило на коврик перед очагом. Мэри, затаив дыхание, пробегала взглядом по строкам, выведенным уверенным почерком миссис Бикертон:

> *Ах Вы бедняжка! Что за испытание! Я совершенно согласна… Некоторые люди абсолютно безумны! Слава богу, у меня еще есть капелька влияния на попечителей! Очень на это надеюсь!.. Чудесное изобретение телефон… Дозвонилась до Лондона всего за десять минут!.. Сэр Вивиан отнесся с большим пониманием… Не мог точно вспомнить, какая была начальная ставка на Видение… По его мнению, ниже трех тысяч… Но, как бы то ни было, вы точно можете купить ее за эту цену!*

Мэри перевела взгляд на Амоса и уронила слезу на письмо. Дальше она читала вслух:

— «…Сад чудесный!.. Цветет мимоза… и мин-

даль… Боже мой! Как бы я была рада, если бы Вы смогли приехать, оторваться от дел… Попросите этого ужасного Аркрайта достать вам билет…»

Вдруг она ощутила огромное смущение. И снова поглядела на Амоса.

— Какое великодушие! — прорычал он. — Какое колоссальное великодушие с их стороны! — И с топотом вышел на крыльцо.

Мэри нагнулась подобрать с пола то, что выпало из конверта. Это оказалось соцветие мимозы — расплющенное, но все еще пушистое. Она поднесла его к носу и вдохнула запах юга.

Когда-то давно — в конце восьмидесятых годов — они с матерью встречали в Неаполе корабль, на котором должен был приплыть отец. Стояла весна, и они вместе путешествовали по Средиземноморью.

Мэри помнила море, помнила, как листья маслин выворачивались на ветру белесо-матовой изнанкой, помнила запахи чабреца и ладанника после дождя. Помнила люпины и маки в полях над Позилиппо. Помнила, каким теплым и легким было ее тело под солнцем. Чего бы она только не отдала сейчас за новую жизнь — жизнь под солнцем! За то, чтобы высохнуть и умереть от солнца! Но это письмо, о котором она так

молилась, — разве не было оно одновременно и приговором, приказом оставаться, будто в западне, навечно, на всю оставшуюся жизнь, в этом мрачном доме под горой?

А Амос? Если бы он хоть улыбнулся, или почувствовал благодарность, или хотя бы проявил понимание! Куда там — он стучал и топал, бил посуду и на чем свет стоит ругал проклятых англичан, особенно Бикертонов. Даже дом грозился сжечь.

И в конце концов, когда пришло письмо от попечителей — с предложением приобрести Видение за две тысячи семьсот фунтов, — все копившееся годами негодование хлынуло из него наружу.

Это благодаря *ее* связям они получили ферму в аренду. На *ее* деньги обзавелись всем необходимым для фермы. Обставили дом *ее* мебелью. Это *из-за нее* дочь сбежала с ирландцем. По *ее* вине сыновья выросли идиотами. А теперь, когда все полетело в тартарары, *ее* класс и *ее* умное-преумное письмо помогли исправить и вернуть то, что он, Амос Джонс, — мужчина, фермер, валлиец — создавал своим тяжким трудом, своими руками, ради чего гробил здоровье! А теперь ему все это не нужно!

Слышит ли она, что он говорит? ЕМУ ЭТО НЕНУЖ-НО! Ни за эту цену! Ни за другую! А что же ему нужно? Он знает что! Ему нужна его дочь! Ребекка! Да, он хочет, чтобы она вернулась. Вернулась домой! Да, вместе с мужем! С этим проклятым ирландцем! Он не может быть хуже, чем эти два полудурка! Он их найдет! И вернет ее! Вернет их обоих! Домой! Домой! Домой!

— Хорошо… Хорошо…

Мэри стояла позади, обхватив ладонями его голову. Он рухнул в кресло-качалку и трясся от рыданий.

— Мы найдем ее, — сказала она. — Уж как-нибудь разыщем. Пусть даже нам придется поехать в Америку, мы как-нибудь ее вернем.

— Зачем я прогнал ее? — рыдал Амос.

Он вцепился в Мэри, как испуганный ребенок вцепляется в куклу, но на его вопрос она не могла найти ответа.

29

Пришла весна, на лиственницах появилась пыльца. Из сепаратора выходили густые желтые сливки, когда Бенджамин громко позвал мать. Мэри отпустила ручку сепаратора и бросилась на кухню. Амос лежал навзничь на коврике перед очагом, раскрыв рот и по-рыбьи вытаращив глаза на потолок.

Его хватил удар, когда он нагнулся завязать шнурок. Совсем недавно ему исполнилось пятьдесят пять лет. На столе стояла кружка с букетиком примул.

Доктор Гэлбрейт — жизнерадостный молодой ирландец, недавно получивший здесь практику, — поздравил своего пациента с тем, что он «силен как бык», и обещал в два счета поставить его на ноги. А потом, отведя Мэри в сторонку, предупредил ее, что следует ждать второго удара.

Несмотря на парализованную руку, Амос быстро поправился. Он снова ковылял по двору, размахивал палкой, ругал близнецов и вставал на пути у лошадей. С ним было очень трудно сладить, когда его мысли возвращались к Ребекке.

— Ну как, разыскала ее? — сердито спрашивал

он всякий раз, как почтальон приносил письмо.

— Еще нет, — отвечала Мэри, — но мы продолжим поиски.

Она знала фамилию ирландца — Мойнихэн — и рассылала письма в полицию, в министерство внутренних дел, в ведомство железной дороги, где он когда-то работал. Размещала объявления в дублинских газетах. Писала даже — безуспешно — в Америку в органы, ведавшие иммиграцией.

Беглецы словно сквозь землю провалились.

Осенью Мэри объявила с бесповоротной решимостью:

— Больше мы ничего не можем сделать.

С тех пор, поскольку ни один из близнецов не отходил далеко от фермы и даже Бенджамин перестал заботиться о деньгах, она сама управляла Видением, сама вела все счета, сама решала, что посеять и посадить. Она проницательно судила о делах и столь же проницательно — о людях, хорошо понимала, когда нужно покупать, а когда продавать, когда задабривать скототорговцев, а когда резко отшивать их.

— Уф, ну и ну! — жалобно отдувался кто-то после одной такой ожесточенной торговли. — Эта матушка Джонс — самая ярая сквалыжница на всей горе.

Когда Мэри передали его слова, она от души порадовалась.

Чтобы избежать в будущем каких-либо сложностей с уплатой налога на наследство, она оформила Видение на обоих близнецов — в совместную собственность. Издалека увидев на улице ее торжествующий взгляд, мистер Аркрайт вприпрыжку убегал. Она залилась радостным смехом, когда узнала новость об аресте стряпчего. Его обвиняли в убийстве.

— В убийстве, мама?

— В убийстве!

Вначале все думали, что миссис Аркрайт умерла от нефрита и от последствий душевной болезни. Однажды другой стряпчий, мистер Вавасур Хьюз, задал вдовцу несколько неприятных вопросов, касавшихся завещания одного клиента. Мистер Аркрайт пригласил коллегу на чаепитие, сказав, что собирается развеять его сомнения, и угостил сэндвичем с пастой из копченой рыбы. Следующей ночью мистер Хьюз чуть не умер. А спустя две недели получил в подарок «от поклонницы» коробку шоколадных конфет — и снова едва не отправился на тот свет. Он рассказал о своих подозрениях полицейским, и те установили, что в каждую конфету впрыснут мышьяк. Быстро

сделав нужные выводы, полиция распорядилась эксгумировать тело покойницы, которую похоронили на руленском кладбище.

Сам доктор Гэлбрейт признавался, что его потрясли результаты судебной экспертизы.

— Я знал, что она мучилась от несварения, — сказал он, — но такого никак не ожидал!

Чтобы поскорее завладеть капиталами жены, мистер Аркрайт подсыпал жене в успокоительный порошок мышьяк, купленный якобы для борьбы с одуванчиками. Его осудили в Херефорде и повесили в Глостере.

— Старину Аркрайта повесили! — Льюис размахивал под носом у отца «Новостями мира».

— А? Что? — В последнее время Амос почти оглох.

— Я говорю, старину Аркрайта повесили! — проорал Льюис.

— Да его надо было сразу повесить, как только родился, — решительно ответил отец, и по подбородку у него потекли пузыри слюны.

Мэри каждый день ждала признаков второго удара. Но беда пришла совсем с другой стороны.

На ферме Видение были две племенные кобылы — Олвен и Дейзи, и они жеребились раз в два года.

Льюис нежно любил их, не мог налюбоваться на их блестящие бока, ему нравилось чистить их, расчесывать им гривы, полировать латунную упряжь и распушать похожую на оперение белую шерсть вокруг копыт.

Период течки у кобыл наступал в конце мая, тогда они ждали прихода жеребца — великолепного коня по кличке Рысак, который по очереди обходил горные фермы вместе со своим хозяином Мерлином Эвансом.

Этот Мерлин был жилистым малым с волосами, похожими на паклю, рябым треугольным лицом и редкими коричневыми зубами. На шее он носил несколько дамских шифоновых косынок, пока они не истлевали; в мочке уха у него болталась золотая серьга-кольцо. Он сражал близнецов рассказами о своих победах. Стоило им только упомянуть имя какой-нибудь набожной прихожанки, знакомой им по молельне, как тот усмехался: «Имел ее в лощине у Пантгласа» или «Имел ее стоя в хлеву».

Иногда он ночевал где-нибудь за стогом сена, а иной раз в постели. Поговаривали, что от него родилось куда больше потомства, чем от его Рысака. Находились среди фермеров такие, кто, желая заполучить свежую кровь в своем роду,

специально оставлял жен одних дома, когда он приходил.

Каждый год перед Рождеством он устраивал себе отпуск и проводил неделю в столице; однажды, когда Льюис заплатил двадцать пять шиллингов за услуги жеребца, Мерлин выложил монеты на ладони.

— Хватит на одну женщину в Лондоне, — сказал он, — и на пять — в Абергавенни!

Весной 1926 года он задержался из-за какой-то девушки в Росгохе и добрался до Видения на неделю позже, чем обычно.

В небе неподвижно застыли клочки облаков. В солнечном свете склоны гор казались серебристыми, живые изгороди белели цветами боярышника, а поля затянулись желтой пленкой лютиков. Огороженный выгон кишел блеющими овцами. Куковала кукушка, щебетали воробьи, воздух рассекали городские ласточки. Обе кобылы стояли в своих стойлах, опустив морды в торбы с овсом, и отбрыкивались от мух.

Льюис и Бенджамин с минуты на минуту ждали прихода стригальщиков.

Все утро они выметали овчарни, кипятили в чане деготь, смазывали маслом заржавевшие стригальные ножницы, спускали вниз с сеновала

засаленные дубовые скамьи для стрижки руна.

Мэри готовила дома ячменную воду с лимоном — чтобы угостить работников. Амос дремал, когда у калитки раздался зычный возглас:

— А ну шевелись! К вам идет старый развратник!

Цокот копыт разбудил инвалида. Он вышел посмотреть, что происходит.

Яркое солнце ослепило его. Наверное, он не видел кобыл.

Близнецы тоже не заметили отца, который, прихрамывая, шагнул в полоску тени между стойлами и жеребцом. Не услышал Амос и крика Мерлина Эванса:

— Стой, старый олух!

Было уже поздно.

Олвен лягнула его. Копыто угодило под подбородок, а воробьи все продолжали щебетать.

30

Как только гробовщик мистер Вайнс ступил на лестницу, на его лице появилось озадаченное выражение. Его сомнения возросли, когда он смерил взглядом профессионала зазор между стойкой перил в конце лестничного пролета и стеной коридора. Он обмерил тело покойника рулеткой и спустился в кухню.

— Он у вас очень большой, — сказал мастер. — Наверное, придется прямо здесь в гроб укладывать.

— Пожалуй, вы правы, — сказала Мэри.

В рукав она заранее подоткнула черный креповый носовой платок — чтобы вытирать слезы. Но слезы пока не приходили.

В тот день она вымыла кухонный пол и, обрызгав простыни лавандовой водой, перекинула их через рейку для картин так, чтобы они складками ниспадали поверх рам. Принесла из сада парочку лавровых веток и сделала гирлянду из блестящих листьев.

Было по-прежнему душно и сыро. Близнецы занимались стрижкой овец, как и планировали. Помогать пришло пятеро соседей, и все труди-

лись целый день, состязаясь между собой за приз — флягу сидра.

— Держу пари, победит Бенджамин, — сказал старый Дай Морган, глядя, как Бенджамин тащит из загона очередную овцу.

Он уже опережал Льюиса на пять овец. У него были сильные, проворные руки, и стриг он мастерски.

Овцы лежали под ножницами смирно и терпели пытку. Потом, снова сливочно-белые (некоторые с кровавыми царапинами возле вымени), они выбегали, подскакивая, на выгон — то ли перепрыгивая через воображаемую ограду, то ли просто радуясь вновь обретенной свободе. Никто из стригальщиков ни слова не сказал о покойнике.

Двое ребят — внуки Реувен-Джонса — скатали руно, сплели шерсть, состриженную с шейных складок, в жгуты и завязали в узлы. Мэри то и дело появлялась на пороге в длинном зеленом платье, с кувшином ячменно-лимонного напитка в руках.

— Вы тут, наверно, от жажды умираете, — с улыбкой говорила она, обрывая попытки работников выразить ей соболезнования.

В четыре часа, когда подъехал мистер Вайнс,

близнецы отложили инструменты и внесли гроб в дом через крыльцо. Руки у них были в жиру, черные рабочие комбинезоны лоснились от ланолина. Они обернули тело отца в простыню, снесли по лестнице вниз, положили на кухонный стол и оставили гробовщика делать свое дело.

Мэри вышла прогуляться в одиночестве и побрела через поля к Гребешку, где наблюдала за пустельгой, трепетавшей под обложным небом. Ближе к закату, словно вороны в сезон окота овец, женщины в черном сошлись к дому проститься с покойником, поцеловать его в последний раз.

На столе стоял открытый гроб. По обеим сторонам от него горели свечи, их пламя отбрасывало отсветы вверх, к брусьям с окороком; на стропила ложились решетчатые тени. Мэри тоже переоделась в черное. Некоторые из женщин плакали.

— Он был прекрасным человеком.

— Он был хорошим человеком.

— Господи, помилуй!

— Упокой, Господи!

— Помилуй, Господи, его душу!

Гроб был выстлан ватином и полушерстяной тканью. Чтобы скрыть следы ушиба на подбородке, покойнику обернули нижнюю часть лица белым шарфом; пришедшим проститься хорошо

были видны пучки рыжеватых волос, торчавших из ноздрей. В комнате пахло лавандой и сиренью. Заплакать Мэри все еще не удавалось.

— Да, — отвечала она. — Он был хорошим человеком.

Мэри провела соседок в гостиную и поднесла каждой по стакану подогретого эля с пряностями и лимонной коркой. Она помнила, что в здешних долинах есть такой обычай.

— Да, — кивала она, — друзья познаются в беде.

Близнецы молча стояли, прислонившись к кухонной стене, и смотрели на людей, которые смотрели на их отца.

Потом Мэри поехала в Рулен и купила для похорон черную бархатную юбку, черную соломенную шляпку и черную блузку с воротничком из гофрированного шифона. Она была в спальне и еще одевалась, когда к воротам подъехал катафалк. В кухню набилась куча народу. Гроб уже взвалили на плечи, готовясь к выносу, а она все стояла и смотрела в большое зеркало, медленно поворачивая голову, разглядывая отражение своего профиля. Под вуалью, обшитой шенилью, ее щеки походили на смятые лепестки розы.

Мэри стойко выдержала отпевание и погребе-

ние. От могилы она ушла, даже не оглянувшись, а неделю спустя ее настигло отчаяние.

Сначала она винила себя за то, что Амоса разбил удар. Потом у нее стали проявляться те самые черты характера, которые ее больше всего раздражали в муже. Она потеряла всякий вкус к предметам роскоши, вплоть до самых пустяковых — даже не покупала себе новую одежду. Утратила чувство юмора и перестала смеяться над теми мелкими нелепостями, которые раньше скрашивали ее существование. И даже мать Амоса, старуху Ханну, она вдруг стала вспоминать с теплотой.

Свое поклонение Мэри довела до чудачества.

Она пришивала заплатки на куртку Амоса, штопала его носки, ставила четвертый прибор к ужину и накладывала в его тарелку еду. Его трубка, кисет с табаком, очки, Библия — все было выложено на привычные места; и даже ящик с резцами лежал на своем месте, словно дожидаясь, когда у хозяина появится настроение заняться резьбой.

Трижды в неделю она беседовала с ним, но не при помощи столоверчения или еще каких-либо спиритических фокусов — ей вполне хватало простой веры в то, что покойники продолжают

жить и могут отозваться, если их позвать.

Она не принимала ни одного решения, не получив от него согласия.

В ноябре на торги выставили поле, относившееся к Нижней Брехфе, и как-то вечером Мэри, раздвинув занавески, что-то зашептала в темноту. Потом, повернувшись лицом к сыновьям, сказала:

— Одному богу известно, где нам взять денег, но отец говорит, что надо покупать.

Когда Льюис захотел новую сноповязалку «Маккормик» (он уже избавился от былой неприязни к технике), Мэри поджала губы и заявила:

— Ни в коем случае!

Потом, побормотав что-то невнятное, сказала:

— Да!

А через некоторое время:

— Отец говорит: «Нет!»

Потом она снова сказала «Да!», но к тому времени Льюис уже так запутался, что решил отказаться от своей затеи, и сноповязалку купили только после Второй мировой войны.

Ни один предмет не заменялся на новый — даже чайная чашка, и мало-помалу дом стал напоминать музей.

Близнецы никуда не выбирались — уже не

столько из страха перед миром, сколько в силу привычки. А летом 1927 года случилось одно весьма неприятное происшествие.

31

Через два года после того, как Джим из Скалы вернулся домой с войны, его сестра Этель родила сына. Назвали его Альфи, и он рос дурачком. Этель не говорила, кто его отец, но из-за того, что у паренька были, как у Джима, морковного цвета волосы и уши, похожие на цветную капусту, недобрые люди поговаривали: «Братец с сестрицей! То-то и оно! Не диво, что мальчишка недоумком родился!» Хотя, конечно, тут они ошибались, потому что Джима и Этель никакое кровное родство не связывало.

Альфи доставлял множество хлопот. Он вечно стаскивал с себя одежду и голышом играл в хлеву, а иногда пропадал на целые дни. Этель только пожимала плечами, когда ее спрашивали про такие отлучки, и говорила: «Да объявится рано или поздно, куда он денется». Как-то летним вечером Бенджамин Джонс обнаружил мальчишку резвящимся на горе и, поскольку в нем самом было много ребяческого, они играли вдвоем до заката.

Но у Альфи был только один настоящий друг — часы.

У этих часов со стеклом, вечно грязным от тор-

фяной копоти, был белый эмалевый циферблат с римскими цифрами, и жили они в деревянном корпусе на стене над очагом.

Как только Альфи немного подрос, он завел привычку залезать на стул, становиться на цыпочки, открывать маленькую откидную дверцу и смотреть, как качается маятник: туда-сюда, *тик-так… тик-так…* Потом он сидел, скорчившись у очага, будто пытаясь взглядом своих льдистых глаз остудить горящие угли, и цокал языком: *тик-так… тик-так…* и кивал головой в такт.

Он думал, что часы живые. Приходя домой, подносил часам подарки — то красивый камушек, то клочок мха, то птичье яйцо или дохлую мышь-полевку. Ему очень хотелось, чтобы часы сказали что-нибудь еще, кроме своего *тик-так…* Он теребил стрелки и маятник. Пытался завести их — и в конце концов сломал.

Оставив деревянный корпус на стене, Джим отнес часовой механизм в Рулен. Часовщик внимательно его рассмотрел — это оказался великолепный образчик XVIII века — и вместо починки предложил за него пять фунтов. Джим с радостью принял деньги и, посвистывая, отправился в паб. Малыш Альфи остался безутешен.

Он тосковал по своему другу, кричал, обыс-

кивал амбар и другие постройки, бился своей пламенно-рыжей головой о беленую стену. А потом, свыкшись с мыслью, что часы умерли, вдруг исчез.

Этель даже не пыталась его искать, и только дня через три проворчала, что Альфи «черт знает куда подевался».

Ниже Крайг-и-Феду был заболоченный прудик, куда Бенджамин обычно ходил за водяным кроссом для чая. Над зарослями болотной калужницы вились и жужжали мясные мухи. Вдруг он увидел две детские ноги, торчащие из ила, и побежал домой за Льюисом.

Когда на место происшествия прибыла полиция, Этель уже билась в истерике. Она стонала и выла, обвиняя Бенджамина в убийстве.

— Я знала! — вопила она. — Я давно знала, что он злодей! — И снова выкрикивала всякую нелепицу, твердя, что Бенджамин не раз уводил мальчика с собой на одинокие прогулки.

Бенджамин был ошарашен, а присутствие полицейских вмиг перенесло его в далекие ужасные дни 1918 года. Его повели в Видение для допроса, а он понурил голову и не мог сказать в свое оправдание ничего внятного.

Как обычно, на выручку ему пришла Мэри:

— Господин полицейский, неужели вы не понимаете, что это ужасная выдумка! Бедняжка мисс Уоткинс! Она у нас немножко помешанная.

Беседа кончилась тем, что полицейские в знак уважения приподняли шлемы и принесли извинения. При коронерском расследовании судебный медик вынес приговор: «Смерть от несчастного случая», но отношения между Виденнием и Скалой снова испортились.

32

Как вдова Амоса Мэри хотела, чтобы у нее была хотя бы одна невестка и целый выводок внучат. Как мать близнецов — чтобы оба сына остались при ней, и в мечтах рисовала себе следующую сцену собственной смерти.

Она будет лежать на кровати, похожая на высохшую оболочку, с редкими прядями серебристых волос на подушке, с руками поверх лоскутного стеганого покрывала. Комната будет залита солнечным светом, заполнена птичьим пением; легкий ветерок будет колыхать занавески, а близнецы симметрично стоять по обе стороны от кровати. Красивая картина, о которой, она понимала, было грешно мечтать.

Иногда она распекала Бенджамина:

— Ну что за ерунда, почему ты никуда не ходишь? Почему не найдешь себе симпатичную невесту?

Но Бенджамин только поджимал губы, нижние веки у него подрагивали, и она понимала: этот никогда не женится. Иной раз, уступая своим внутренним бесам, она брала Льюиса под локоть и заставляла пообещать, что он не женится, пока

не женится Бенджамин.

— Обещаю, — отвечал Льюис, опуская голову с видом человека, приговоренного к тюремному заключению. Ему позарез нужна была женщина.

Однажды он на всю зиму сделался крайне раздражительным и несговорчивым, сердито разговаривал с братом и отказывался от еды. Мэри испугалась: вдруг он, как Амос, тоже подвержен сезонным приступам мрачного настроения? И в мае приняла важное решение: оба близнеца должны отправиться на руленскую ярмарку — на гуляния.

— Нет. — Она бросила на Бенджамина испепеляющий взгляд. — Никакие отговорки не принимаются.

— Хорошо, мама, — ответил он помертвевшим голосом.

Она дала им с собой завернутые сэндвичи и помахала на прощанье с крылечка.

— Смотрите только, знакомьтесь с хорошенькими! — крикнула она им вдогонку. — И до темноты не возвращайтесь!

Она медленно прошла в плодовый сад и оттуда стала смотреть в долину, провожая взглядом двух пони: один скакал галопом, то и дело возвращаясь назад, другой семенил трусцой. Потом они

растаяли на горизонте.

— Ну что ж, по крайней мере удалось сплавить их из дома.

Мэри почесала за ухом овчарку Льюиса, собака завиляла хвостом и уткнулась головой ей в юбку. Мэри пошла обратно в дом и уселась за книгу.

Некоторое время назад она открыла для себя романы Томаса Гарди, и теперь ей хотелось прочитать их все до одного. Ей была хорошо знакома жизнь, которую он описывал: запахи доильного помещения, где трудилась Тесс, мучения героини — в постели и на свекловичном поле. Она и сама умела строгать ветки для плетня, сажать сосновые саженцы, покрывать соломой скирды; пускай в Уэссексе о старых ручных методах работы давно позабыли, здесь, в горной глуши Раднорширa, время словно остановилось.

«Взять хотя бы Скалу, — думала Мэри. — Там вообще ничего не поменялось со времен Средневековья».

Она читала «Мэра Кэстербриджа». Этот роман нравился ей меньше прочитанного неделей раньше «В краю лесов», и ее уже начали раздражать «совпадения», которыми Гарди явно злоупотреблял. Она прочитала еще три главы, а потом, уронив книгу на колени, позволила себе унестись

мыслями в прошлое, к некоторым ночным и утренним часам в спальне с Амосом. И вдруг он явился ей — с огненно-рыжими волосами и со светом, струившимся вокруг плеч. Она поняла, что, наверное, уснула, потому что солнце стояло на западе, и его лучи вливались в комнату мимо гераней, попадая ей прямо между ног.

«В мои-то годы!» — усмехнулась она, стряхивая дрему, и тут услышала топот копыт во дворе.

Близнецы уже стояли у ворот. У Бенджамина на лице так и читалось возмущение, а Льюис оглядывался через плечо, будто искал, куда бы спрятаться.

— Что случилось? — рассмеялась Мэри. — На ярмарке не оказалось молоденьких девушек?

— Это было ужасно, — заявил Бенджамин.

— Ужасно?

— Да, ужасно!

С тех пор как близнецы были в Рулене в последний раз, юбки успели так укоротиться, что обнажали не только лодыжки, но и колени.

В то утро в одиннадцать часов братья остановились на вершине горы и посмотрели на город. Ярмарка была уже в самом разгаре. Они услышали слитный гул толпы, жалобные звуки механических органов, а еще рычание и мыча-

ние, изредка доносившееся из зверинца. На одной только Широкой улице Льюис насчитал одиннадцать каруселей. На рыночной площади стояло «чертово колесо» и маленькая вавилонская башня, которая представляла собой спиральную горку.

Бенджамин в последний раз попросил брата вернуться домой.

— Мама и не узнает, — сказал он.

— Я все ей расскажу, — возразил Льюис и пришпорил своего пони.

Через двадцать минут он уже блуждал по ярмарке, глядя по сторонам как одержимый.

Сельские парни ходили по улицам ватагами по семь-восемь человек, покуривая сигаретки, глазея на девушек или подбивая друг друга помериться силами с Силачом — боксером-негром в красных атласных трусах. Цыганки-гадалки предлагали букетики ландышей или предсказания судьбы. Из тиров доносились звуки пальбы. Бродячий цирк уродцев показывал «самых маленьких на свете кобылу с жеребенком» и самую крупную женщину.

К полудню Льюис уже успел покататься верхом на слоне, полетать на «стулолёте», выпить кокосового молока, полизать леденец на палочке и

теперь выискивал новые развлечения.

А Бенджамин видел вокруг одни только ноги — голые, в шелковых или сетчатых чулках, взбрыкивающие, танцующие, гарцующие ноги, и все они напоминали ему о том дне, когда он в первый и последний раз побывал на скотобойне и видел там множество овец, бившихся в предсмертных конвульсиях.

Ближе к часу дня Льюис остановился возле балаганчика *Théâtre de Paris*[54], где четыре девушки, выряженные в малиновый бархат, зазывно плясали канкан, а внутри, за расписными занавесками, некая мамзель Далила исполняла «танец семи покрывал» перед толпой тяжело дышавших фермеров.

Льюис полез в карман за шестипенсовиком, но тут за запястье его крепко схватила чья-то рука. Он поднял голову и встретил суровый взгляд брата:

— Ты туда не пойдешь!

— Только попробуй меня остановить!

— И попробую. — Бенджамин преградил Льюису дорогу, и шестипенсовик упал обратно на дно кармана.

---

[54] Примечания: 54
Парижский театр *(фр.).*

Через полчаса веселье покинуло Льюиса. Он уныло слонялся от балагана к балагану, а Бенджамин плелся за ним по пятам, отставая на несколько шагов.

Льюису предлагали взглянуть на райское видение — по цене одного напитка, а он отказался. Но почему? Почему? Почему? Он задавал себе этот вопрос сотню раз, пока до него не дошло, что он не просто боится задеть чувства Бенджамина: он боится его самого.

У стойки с кольцами для метания Льюис решил было заговорить с девушкой в наряде цвета фламинго, которая выгибалась изо всех сил, стремясь набросить кольцо на пятифунтовую бумажку. Но тут он поймал на себе сердитый взгляд ее брата, выглядывавшего из-за чайных приборов и аквариумов для золотых рыбок, и его смелость сразу же улетучилась.

— Пойдем домой, — сказал Бенджамин.

— Ну, черт с тобой, — ответил Льюис и уже был готов уступить, но тут к нему подошли две девицы.

— Хотите сигарету? — спросила та, что постарше, и полезла коротковатыми пальцами в свою сумочку.

— Спасибо, не откажусь, — ответил Льюис.

Девицы оказались сестрами. На одной было зеленое платье, на другой — розово-лиловая длинная блузка, перехваченная на бедрах оранжевым кушаком. Щеки у них были намазаны румянами, волосы коротко острижены, ноздри на удивление широкие. Сестры перемигивались нахальными бледно-голубыми глазами, и даже Льюис заметил, что эти куцые и чересчур откровенные наряды смотрятся нелепо на их приземистых и грудастых фигурах.

Он пытался отделаться от девиц, но те прилипли и не желали отставать.

Бенджамин наблюдал с некоторого расстояния, как брат угощает их лимонадом и трубочками с кремом. Потом, поняв, что они не представляют угрозы, присоединился к компании. Девицы залились смехом от одной только мысли, что подцепили близнецов.

— Вот умора! — сказала розово-лиловая.

— А давайте сходим в «колодец смерти»! — предложила зеленая.

У верхнего конца Замковой улицы стоял огромный цилиндрический барабан с паровой машиной. Льюис купил билеты у чумазого юнца в киоске, и все четверо вошли внутрь.

Там уже дожидалось несколько других пасса-

жиров. Юнец прокричал:

— Становитесь к стене!

Дверь захлопнулась, и барабан завращался вокруг своей оси — все быстрее и быстрее. Пол начал приподниматься вместе с пассажирами — все выше и выше, пока их головы не оказались почти на одном уровне с верхним краем. Когда пол стал снова опускаться, центробежная сила потянула их вниз и распластала в позах распятых мучеников.

Бенджамину казалось, что его глазные яблоки вдавливаются куда-то в середину черепа. Эта мука длилась нескончаемые три минуты. Потом, когда вращение барабана замедлилось, девицы соскользнули к полу и их платья задрались кверху, сморщившись гармошкой, так что показались полоски голой кожи между чулками и подвязками.

Бенджамин, покачиваясь, вышел на улицу, и его стошнило в канаву.

— С меня хватит! — заявил он, отплевавшись и утерев подбородок. — Я ухожу.

— Зануда! — взвизгнула девица в зеленом. — Да он просто ломается.

Сестры подхватили Льюиса под руки и попытались увести по улице. Тут он наконец вырвался от

них, развернулся и, не упуская из виду твидовую кепку брата, пошел сквозь толпу туда, где стояли оба пони.

В тот вечер Мэри, стоя на лестнице, прижалась щекой к щеке Бенджамина и с лукавой улыбкой поблагодарила его за то, что он привел Льюиса домой.

33

На тридцать первый день рождения Мэри подарила сыновьям по велосипеду фирмы «Геркулес» и сказала, что теперь они запросто смогут объехать различные местные древности. Вначале они предпринимали короткие воскресные вылазки по ближайшим окрестностям. А потом, проникшись духом приключений, отважились выбраться и подальше — к замкам приграничных баронов.

В Снодхилле они отодрали плющ от стены и обнаружили бойницу. В часовне замка Уришай приняли ржавую миску за «что-то средневековое». В Клиффорде размышляли о Прекрасной Розамунде — в одеждах монахини, томящуюся от неразделенной любви. А когда они приехали в Пайнскасл, Бенджамин запустил руку в кроличью нору и извлек оттуда переливавшийся радужным блеском осколок.

— Кубок? — предположил Льюис.

— Бутылка, — поправил его Бенджамин.

Он брал по абонементу в руленской библиотеке книги — хроники Фруассара, Гиральда Камбрийского и Адама из Аска — и читал их вслух. Мир

рыцарей-крестоносцев сделался им ближе, чем их собственный. Бенджамин решил принести обет целомудрия, а Льюис поклялся в верности памяти прекрасной девы.

Они рассмеялись и, положив велосипеды за изгородью, пошли отдохнуть у реки.

Братья представляли себе стенобитные орудия, опускные решетки, котлы, в которых варят смолу, и раздутые тела, плавающие во рвах с водой. Услышав о лучниках-валлийцах в битве при Креси[55], Льюис отломил ветку тиса, закалил ее в огне, изогнул при помощи натянутой кишки и оперил гусиными перьями.

Вторая пущенная стрела со свистом пролетела через плодовый сад и вонзилась в шею курице.

— Я не хотел, — сказал Льюис.

— Слишком опасно, — сказал Бенджамин, который к тому времени успел найти один чрезвычайно любопытный документ.

Монах из аббатства Кумхир сообщал, что кости епископа Кадвалладера лежат в золотом гробу у источника Святого Кинога в Гласкойде.

— И где же это? — спросил Льюис. Недавно он прочитал в «Новостях мира» о гробнице Тутан-

---

[55] Примечания: 55

Битва при Креси между английскими и французскими войсками состоялась 26 августа 1346 года.

хамона.

— Вот здесь! — Бенджамин ткнул ногтем большого пальца в какую-то подпись, сделанную готическим шрифтом, на военно-топографической карте. Это место находилось в восьми милях от Рулена, неподалеку от дороги на Лландриндод.

В следующее воскресенье после посещения молельни мистер Нантлис Уильямс увидел велосипеды близнецов, прислоненные к ограде, и заметил, что к поперечной перекладине у Льюиса привязана лопата. Он мягко пожурил братьев за то, что они работают в день, посвященный Господу, и Льюис, закреплявший зажим на штанине, слегка покраснел.

В Гласкойде они нашли святую воду — она с журчаньем била из мшистой расселины, а затем тихим ручейком текла дальше среди лопухов. Место было тенистое. В грязи над коровьими лепешками кружили слепни. Показался какой-то мальчик в подтяжках; завидев двух незнакомцев, он бросился наутек.

— Где копать будем? — спросил Льюис.

— Вон там! — ответил Бенджамин, показав на бугорок земли, наполовину скрытый под зарослями крапивы.

Черная, липкая почва кишела червями. Покопав примерно полчаса, Льюис протянул брату обломок пористой кости.

— Корова! — изрек Бенджамин.

— Бык! — поправил его Льюис, но тут раздался чей-то зычный крик из-за полей:

— А ну немедленно убирайтесь отсюда!

Мальчишка в подтяжках привел отца-фермера, и тот засел в кустах. Близнецы заметили, что на них нацелено дуло ружья. Сразу вспомнив Уоткинса Гроба, они боязливо отползли назад на солнечную поляну.

— А лопату мне оставьте! — добавил фермер.

— Хорошо, сэр! — отозвался Льюис и выронил лопату. — Спасибо, сэр!

Они поскорее сели на велосипеды и уехали.

После этого братья отреклись от золота как от корня всякого зла и обратили свои взоры к ранним кельтским святым.

Бенджамин вычитал в одной научной статье, написанной каскобским ректором, что эти «духовные борцы» удалялись в горы, стремясь к единению с природой и Господом. Сам святой Давид Валлийский поселился в долине Хонтху, в «убогой хижине, крытой мхом и листьями»; кроме этого, было еще несколько отшельнических

мест, куда можно доехать на велосипеде.

В обители Моккас они нашли то место, где святой Дубриций увидел белую свинью с выводком поросят. А когда они отправились в Лланфринах, Бенджамин, дразня брата, рассказал ему о женщине, которая пыталась соблазнить святого «волчьим аконитом и другими снадобьями, разжигающими похоть».

— Буду очень благодарен, если ты заткнешься, — сказал Льюис.

В церкви Лланвейно они увидели резьбу на англо-саксонском камне — крепкого юношу, повешенного на дереве. Это был покровитель здешней церкви, святой Беуно, который однажды проклял человека, отказавшегося сварить лисицу.

— Я бы ни за что не стал есть лисятину, — сказал Льюис, перекосившись от гадливости.

Они задумывались, не зажить ли им самим анахоретами — в беседке, увитой плющом, у журчащего ручья, питаться ягодами и диким пореем, а вместо музыки слушать гомон черных дроздов. Или, быть может, стать святыми мучениками — почитать Тело Христово, пока полчища вторгшихся свирепых датчан грабят, жгут и насилуют. Шел год Великой депрессии. Быть может, назре-

вала революция…

Однажды в августе, когда братья изо всех сил крутили педали вдоль реки Уай, прямо над ними прожужжал аэроплан.

Льюис затормозил и остановился посреди дороги.

Крушение дирижабля R101 пополнило его альбом большим количеством вырезок, но его настоящей страстью стали теперь летчицы. Леди Хит… Леди Бейли… Эми Джонсон… Герцогиня Бедфордская… Их имена отскакивали у него от зубов, будто слова молитвы. Но его любимицей была, конечно же, Амелия Эрхарт[56].

Сейчас над ними кружил «Тайгер Мот» с серебристым фюзеляжем. Когда он сделал второй круг, пилот резко сбросил высоту и помахал рукой.

Льюис энергично помахал в ответ — он очень надеялся на то, что это кто-нибудь из его кумиров женского пола. А когда биплан, описывая уже третий круг, пронесся совсем низко, фигура в кабине на мгновенье сняла очки и показала загорелое улыбающееся лицо. Машина пролетела так близко, что Льюис готов был поклясться, что ви-

---

[56] Примечания: 56

Амелия Эрхарт (1897–1939) — первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан.

дел напомаженные губы летчицы. Потом биплан снова взмыл ввысь, держа курс на солнце.

За ужином Льюис сказал, что и сам хотел бы полетать.

Бенджамин в ответ только хмыкнул.

Он не боялся того, что Льюис и в самом деле вздумает подняться в воздух. Куда более серьезная угроза исходила от их ближайшей соседки.

34

Ферма в Нижней Брехфе располагалась на очень ветреном месте, и сосны вокруг нее росли вкривь и вкось. Хозяйкой фермы была Глэдис Маскер — крепкая, мясистая женщина с лоснящимися щеками и глазами табачного цвета. Она овдовела десять лет назад, но ей как-то удавалось содержать дом в опрятности и кормить дочку Лили-Энни и мать, миссис Япп.

Миссис Япп была сварливая старая иждивенка, скрюченная от ревматизма.

Однажды — вскоре после того, как Джонсы купили то поле в Брехфе, — Льюис обновлял плетеную изгородь, разделявшую два участка; из дома вышла миссис Маскер и принялась наблюдать за тем, как он вбивает колья. Ее настырный взгляд выводил Льюиса из себя. Она тяжело вздохнула и сказала:

— На всякое уменье надобно терпенье, так ведь говорится?

А потом спросила, не зайдет ли он перевесить калитку. За чаем он умял целых шесть пирожков с начинкой, и она мысленно внесла его в свой список кандидатов в мужья.

Во время ужина Льюис случайно упомянул, что миссис Маскер отлично готовит выпечку, и Бенджамин искоса тревожно взглянул на мать.

Постепенно Льюис проникся симпатией к миссис Маскер, и она тоже относилась к нему с большой теплотой. Он складывал для нее солому в скирды, однажды забил для нее свинью, а как-то раз она прибежала, запыхавшись, через поля, с криком:

— Ради бога, Льюис Джонс! Помогите мне сладить с коровой! Что с ней творится! Ее будто бес лягнул!

Оказалось, что корову мучили колики, и Льюису удалось кое-как уговорами поставить ее на ноги.

Иногда миссис Маскер пыталась завлечь его наверх — к себе в спальню, но он никогда не поддавался. Он предпочитал слушать ее болтовню, сидя в симпатичной душноватой кухне.

У Лили-Энни был ручной лисенок, отзывавшийся на кличку Бен и живший в клетке из проволочной сетки. Бен питался объедками с кухни и был такой смирный, что девочка играла с ним, как с куклой. Как-то раз он убежал, и Лили-Энни неслась за ним по лощине, крича: «Бенни! Бенни!» Вдруг лисенок выбежал из колючих ку-

стов и свернулся клубочком у ее ног.

Со временем Бен стал настоящей местной знаменитостью, и даже сама миссис Нэнси из замка приходила посмотреть на него.

— Он у нас очень привередливый, — гордо заявляла миссис Япп. — Первому встречному в руки не дастся! Миссис Нэнси недавно привела к нам епископа Херефордского, так наш Бенни запрыгнул на каминную полку и сделал там свои лисьи дела. Уж так навонял, так навонял!

В отличие от матери, миссис Маскер была женщиной незамысловатой, и ей нравилось, чтобы в доме был мужчина. Если мужчина оказывал ей услугу, она старалась ему отплатить добром за добро. Среди тех, кто к ней регулярно захаживал, были Хейнс из Красного Дарена и Джим из Скалы: Хейнс приносил ей отличных ягнят, а Джим умел здорово ее рассмешить.

Льюису очень не нравилось, что к ней ходят эти двое, однако в нем самом она явно разочаровалась. Иногда миссис Маскер так и лучилась улыбками, а иной раз встречала его словами: «Ах, это опять вы! Может, посидите тут, поболтаете с мамой?» Миссис Япп нагоняла на Льюиса скуку — она умела говорить только о деньгах.

Однажды утром, придя в Нижнюю Брехфу, он

увидел лисью шкурку, прибитую к стенке сарая, и серую лошадь Хейнса, привязанную к воротам. Он ушел и долго не виделся с миссис Маскер. А в феврале случайно встретил ее на улице. Вокруг шеи у нее лежал рыжий лисий воротник.

— Да, — сказала она, прицокнув языком. — Это бедняжка Бен. Он укусил Лили-Энни за руку, и мистер Хейнс сказал, что так можно столбняком заразиться, ну мы его и пристрелили. Шкурку я сама дубила в селитре. И представьте — только в четверг забрала ее у меховщика.

Вкрадчиво улыбнувшись, она добавила, что нынче дома одна.

Льюис выждал два дня, прежде чем потащиться по сугробам в Нижнюю Брехфу. Сосны чернели на фоне кристально-ясного неба, лучи заходящего солнца, казалось, не падали вниз, а устремлялись к вершине некой пирамиды. Льюис подышал себе на руки, чтобы согреть их. Он уже решил, что сегодня овладеет ею.

С северной стороны в доме не было окон. С водосточного желоба свисали сосульки, и за шиворот ему упала ледяная капля. Обходя дом с торца, он вдруг увидел серую лошадь и услышал сверху, из спальни, томные стоны. Собака залаяла, и Льюис убежал. Он добрался до середины поля, когда

услышал сердитые крики Хейнса.

Четыре месяца спустя почтальон по секрету сообщил Бенджамину, что миссис Маскер ждет от Хейнса ребенка.

Она стыдилась показываться в молельне, сидела дома, кляла женскую долю и ждала, что мистер Хейнс поступит как подобает.

Но он и не думал этого делать. Он заявил, что двое его сыновей, Гарри и Джек, категорически против этого брака, и предложил ей деньги.

Она с возмущением отказалась. Соседи, вместо того чтобы выказать ей презрение, стали изливать сочувствие и доброту. Старая Рита Морган предложила свои услуги повитухи. Мисс Паркинсон, игравшая на гармонике, принесла ей в подарок красивую глоксинию, а мистер Нантлис Уильямс, навестив ее, лично произнес молитву у ее постели.

— Не кручинься, дочь моя, — утешал он. — Такова участь женская — чадородие.

Миссис Маскер высоко держала голову в тот день, когда ехала в Рулен регистрировать рождение дочери.

Клерк вручил ей бланк, и она вывела заглавными печатными буквами: «Маргарет Беатрис Маскер». Когда Хейнс постучался в дверь ее дома

и заявил, что хочет посмотреть на дочь, она прогнала его, однако через неделю смилостивилась и разрешила подержать младенца, но только полчаса. После этого он стал вести себя как помешанный.

Сказал, что хочет назвать ее Дорис Мэри — в честь своей матери. Но миссис Маскер отрезала:

— Ее зовут Маргарет Беатрис.

Он совал ей пачки фунтовых бумажек — но она швыряла деньги ему в лицо. Она дала ему отпор, когда он попытался затащить ее в постель. Он просил ее, на коленях умолял выйти за него замуж.

— Поздно! — ответила она и велела ему убираться и больше никогда не приходить.

Хейнс слонялся по двору, изрыгая угрозы и проклятья. Угрожал похитить девочку, а она стращала его полицией. У него был ужасно вспыльчивый характер. Много лет назад они с братом устроили кулачный бой и колошматили друг друга целых три дня — до тех пор, пока брат тихонько не сбежал и с того дня исчез навсегда. Поговаривали, что у Хейнса в роду явно не обошлось без «примеси мулатской крови».

Миссис Маскер боялась выходить из дома. На листке, вырванном из календаря, она написала

записку Льюису Джонсу и передала через почтальона.

Льюис пошел к ней. Но, подойдя к воротам, заметил, что у хлева затаился Хейнс с ищейкой, рвавшейся с поводка.

Хейнс проорал ему:

— А ну, убирайся! И не суй свой грязный нос в чужие дела!

Собака пускала слюни, и Льюис побежал домой. Потом он весь день раздумывал, не позвать ли полицию, но в итоге так и не решился это сделать.

Ночью задул сильный ветер. Старая сосна скрипела, окна дребезжали, в окно спальни летели мелкие сучья. Около двенадцати часов Бенджамин услышал стук в дверь. Он подумал, что это Хейнс, и разбудил брата.

В дверь продолжали колотить, и наконец они расслышали женский голос, силившийся перекричать пронзительный вой ветра:

— Убил! На помощь, убил!

— Боже правый! Да это миссис Япп. — И Льюис выскочил из постели.

Старуху провели на кухню. В очаге еще потрескивали дотлевавшие угли. Вначале она сидела и лепетала:

— Убил!.. Убил! — А потом взяла себя в руки и

мрачно проговорила: — И себя тоже.

Льюис взял фонарь-молнию и зарядил дробовик.

— Пожалуйста, — сказала Мэри (она стояла на лестнице в пеньюаре), — пожалуйста, будьте осторожны!

И близнецы пошли вслед за миссис Япп в темноту.

В Нижней Брехфе окно кухни было разбито. В тусклом свете фонаря они увидели тело миссис Маскер в коричневом платье из домотканой материи, застывшее в сгорбленной позе над колыбелью-качалкой, посреди лужи черной крови. В дальнем углу сидела, скорчившись, Лили-Энни и прижимала к себе что-то темное. Это был младенец — живой.

В девять часов миссис Япп подошла, как обычно, к двери, в которую колотил Хейнс. Но в этот раз он не стал дожидаться ее на пороге, а неслышно обошел дом, разбил прикладом окно и в упор выстрелил дуплетом в бывшую любовницу.

Поддавшись в последний миг материнскому чутью, она метнулась к колыбели и тем самым спасла малышке жизнь. При выстреле Лили-Энни обожгло руки порохом. Вместе с бабушкой она спряталась в буфете под лестницей. Через

полчаса они услышали еще два выстрела — и после них наступила полная тишина. Миссис Япп прождала еще два часа, а потом отправилась за помощью к соседям.

— Свинья! — сказал Льюис и вышел из дома с фонарем.

Тело Хейнса он нашел на забрызганных кровью грядках брюссельской капусты. Рядом лежало ружье, голову разнесло в куски. Хейнс обвязал спусковые крючки бечевкой, обвил ее вокруг ствола, приставил дуло ко рту и дернул.

— Свинья!

Льюис пнул труп — раз, другой, но потом удержался, чтобы не скощунствовать над мертвецом в третий раз.

Дознание проводилось в зале для собраний в Майсифелине. Почти все присутствовавшие всхлипывали или утирали слезы. Все явились в черном, кроме миссис Япп: она пришла с сухими глазами и в шляпке из алого плюша с розовой шифоновой актинией, которая колыхала щупальцами, когда старуха кивала.

Следователь обратился к ней печальным, замогильным голосом:

— Покинули ли прихожане молельни вашу дочь в час ее беды?

— Нет, — ответила мисс Япп. — Некоторые приходили к нам домой и были очень добры.

— Так воздадим честь этому маленькому дому Господнему, что не оставил ее в трудный час!

Вначале он хотел вынести вердикт: «преднамеренное убийство, за которым последовало самоубийство», но после того, как Джек Хейнс зачитал предсмертную записку отца, передумал и изменил формулировку приговора на «убийство в состоянии внезапного сильного душевного волнения».

Дознание завершилось, и люди в трауре вышли на похороны. Дул резкий ветер. После богослужения Лили-Энни шла за гробом матери к могиле. Раненые руки девочки были замотаны в черный платок, концы которого трепыхались на ветру. Она несла венок из желтых нарциссов, чтобы положить его на холмик рыжей земли.

Мистер Нантлис Уильямс попросил всех присутствующих остаться на второе отпевание — оно прошло в дальнем углу кладбища. На гробе Хейнса лежал один-единственный венок — из лавровых листьев — с прикрепленной открыткой: «Дорогому папочке от Г. и Дж.».

Миссис Япп, перерыв весь дом, забрала все ценное и перебралась вместе с Лили-Энни к своей

сестре, жившей в Леминстере. На увековечение памяти дочери она не пожелала истратить «ни одного пенни», так что оплачивать надгробный памятник пришлось Льюису Джонсу. Он выбрал крест из необработанного камня, на котором попросил выгравировать одинокий подснежник со словами: «Покой! Вечный покой!»

Раз в месяц Льюис приходил к могиле и граблями очищал гравий от сорняков. Каждый год высаживал нарциссы, чтобы они зацветали в месяц ее смерти. И хотя он так и не простил себя, эти ритуалы приносили ему небольшое утешение.

35

Перед тем как навсегда уехать из здешних мест, миссис Япп дала понять, что не собирается нянчиться с «приплодом от такой связи». И Льюис, не посоветовавшись ни с матерью, ни с братом, предложил взять девочку и растить ее в Видении.

— Я подумаю, — ответила старуха.

Больше он не получал от нее известий — пока почтальон не сообщил ему, что Крошку Мег отдали в Скалу. Он ринулся в Нижнюю Брехфу, где миссис Япп с Лили-Энни уже грузили свои пожитки на телегу. Он выпалил, что Скала — неподходящее место для воспитания малышки.

— Ей там самое место! — ядовито отрезала старуха.

По ее тону стало ясно: она считает отцом ребенка вовсе не Хейнса, а Джима.

— Ясно. — Льюис, понурившись, грустно побрел назад домой пить чай.

Он был прав: Скала была совершенно неподходящим местом для воспитания малышки — и вообще для детей. Старуха Эджи, чье лицо давно покрылось сплошной сеткой закопченных мор-

щин, стала слишком слаба для любой работы по хозяйству — она могла разве что тыкать кочергой в очаг. Джиму было лень даже прочищать дымоход — в ветреные дни печной дым затягивало обратно в дом и в комнате ничего не было видно. Три девочки-приемыша, Сара, Бренни и Лиззи, ковыляли туда-сюда, мучаясь от рези в глазах и хлюпая простуженными носами. Всех заедали вши. В доме работала одна только Этель.

Чтобы накормить ораву голодных ртов, она выскальзывала из дома после наступления темноты и тащила из чужих хозяйств все, что только попадалось под руку: где утенка, где ручного кролика. Обворовывала она и Видение, но ее кражи оставались незамеченными, пока однажды утром, когда Бенджамин распахнул дверь амбара, мимо его ног не метнулась собака, которая помчалась через поля к Крайг-и-Феду. Эта собака принадлежала Этель. Значит, ночью ее хозяйка наведывалась к ним в закрома. Бенджамин хотел вызвать полицию.

— Не надо, — сказала ему Мэри. — Мы не будем на нее заявлять.

Из-за благоговейного отношения ко всему живому Джим не отправлял на бойню ни одну скотину, и его поголовье становилось все более

немощным и дряхлым. Самому старому животному — пучеглазой овце Долли — было больше двадцати лет. Другие были бесплодными, у них выпадали коренные зубы, и зимой они подыхали от бескормицы. После таяния снегов Джим подбирал трупы и копал общую могилу, так что с годами двор фермы превратился в одно большое кладбище.

Однажды у Этель лопнуло терпение, и она велела Джиму продать в Рулене пять овец. На окраине города он услышал блеяние чужой отары, мгновенно передумал и повез своих «девчонок» обратно домой.

Бывало, что под конец торгов он слонялся по рядам и, если замечал какую-нибудь потрепанную клячу, которую никто не желал покупать, даже живодер, — подходил к ней и гладил по морде, приговаривая: «Да, я ее заберу. Ее только подкормить чуток надо».

Одетый как пугало, он проезжал на своей телеге по соседним долинам, подбирал всякий металлолом и выброшенную технику, но даже не думал выручить за этот хлам хоть какие-то деньги; он все складывал у себя, превращая Скалу в крепость.

К началу гитлеровской войны дом и хозяйствен-

ные постройки окружал частокол из ржавых сенных граблей и лемехов, валков, кроватных остовов, тележных колес и борон с ощеренными зубьями, обращенными наружу.

Другой его манией было коллекционирование птичьих и звериных чучел; со временем поеденные молью страшилища заполонили весь чердак, и девочкам негде стало спать.

Однажды утром, слушая по радио девятичасовые новости, Мэри Джонс подняла голову и увидела в окне кухни Лиззи Уоткинс, прижавшуюся носом к стеклу. Длинные волосы у девочки были непричесанными и сальными. На ее изможденном тельце болталось куцее платье в цветочек, и от холода она стучала зубами.

— Крошка Мег, — выпалила Лиззи, утирая нос указательным пальцем, — она при смерти.

Мэри надела зимнее пальто и вышла навстречу ветру. В последнюю неделю ей нездоровилось. Была пора равноденственных штормов, на склонах лиловел вереск. Когда они приближались к Крайг-и-Феду, вышел Джим и прикрикнул на тявкавших овчарок:

— Я вас, паршивцы!

Мэри нагнулась, чтобы не удариться головой о дверную перемычку, и вошла в сумрачную

комнату.

Эджи вялыми движениями раздувала огонь в очаге. Этель, расставив ноги, сидела на складной кровати, а Крошка Мег, полуприкрытая курткой Джима, глядела в потолок блестящими сине-зелеными глазами. Щеки у нее горели. В горле слышались резкие хрипы. У малышки был жар, и она задыхалась.

— У нее бронхит, — сказала Мэри. — Ей нельзя оставаться в этом дыму, иначе начнется воспаление легких.

— Заберите ее, — попросил Джим.

Она взглянула ему в глаза. Они были точно такого же цвета, что и у девочки. Она увидела в его взгляде мольбу и поняла, что Джим действительно отец Мег.

— Конечно заберу, — улыбнулась Мэри. — Пусть Лиззи тоже пойдет со мной, вместе мы ее вылечим.

Дома она приготовила эвкалиптовую смесь, и уже после первых вдохов Мег задышала свободнее. Мэри покормила ее с ложечки жидкой манной кашей, а в качестве успокоительного дала ромашковый отвар. Она научила Лиззи обтирать ребенка влажной губкой, чтобы сбить жар. Они сидели всю ночь у кроватки больной

и согревали девочку, ставя на ножки поближе к очагу. Время от времени Мэри пришивала несколько черных звезд к своему лоскутному одеялу. А к утру кризис миновал.

Много лет спустя, когда Льюис вспоминал последние годы жизни матери, в памяти у него всплывала одна характерная картина: мама шьет лоскутное стеганое одеяло.

Работу над ним она начала в день молотьбы. Он запомнил, как вошел в дом, чтобы утолить жажду, и стал стряхивать с одежды и волос мякинную пыль. На кухонном столе была расстелена, как плащаница, мамина парадная черная юбка. Льюис запомнил мамин взгляд — в нем читалась опаска: не перепачкает ли пыль бархат?

— Теперь я отправлюсь только на одни похороны, — сказала она тогда. — На свои собственные.

И ножницами принялась нарезать юбку на полоски. Потом она изрезала на лоскуты свои ситцевые платья веселой расцветки — пролежав сорок лет в чемодане, все они сильно пропахли камфорой. Затем Мэри начала сшивать две половины своей жизни — юные годы, проведенные в Индии, с теми, что прошли здесь, на Черной горе.

Она сказала:

— Останется вам на память обо мне.

К Рождеству одеяло было готово. Незадолго до этого Льюис, стоя за стулом матери, впервые заметил ее одышку и напрягшиеся голубые венки на руках. Она выглядела намного моложе своих семидесяти двух лет — отчасти из-за отсутствия морщин на лице, отчасти потому, что с годами ее волосы почему-то темнели. В ту минуту он осознал, что их треугольник, составленный из сына, матери и сына, в скором времени распадется.

— Да, — сказала Мэри устало, — у меня есть сердце.

На некоторое время в их хозяйстве поселились разлад и раздоры.

Льюис стал подозревать мать и брата в том, что они что-то замышляют против него. Даже его холостяцкое положение было частью их плана! Он сердился на то, что они не сообщают ему о финансовом состоянии фермы. Ведь он тоже имеет право голоса! Льюис стал требовать, чтобы ему показывали счета. Видя, как он подолгу с озадаченным лицом сидит над столбцами с доходами и расходами, Мэри проводила по его щеке рукавом и кротким тоном говорила:

— У тебя плохо с арифметикой, ничего постыдного в этом нет. Почему бы не предоставить все

это Бенджамину?

Возмущала Льюиса и их скаредность — она казалась ему несправедливой. Стоило ему только заикнуться о покупке какой-нибудь новой техники, как мать заламывала руки и отвечала:

— Я была бы рада сделать тебе такой подарок! Но боюсь, у нас совсем нет лишних денег. Придется подождать до следующего года.

Зато, когда дело доходило до покупки земли, *у них* всегда находились деньжата.

Мэри и Бенджамин покупали землю с настоящей страстью — словно с приобретением каждого нового акра они еще дальше отодвигали границу, отделявшую их от враждебного мира. Но лишняя земля требовала и лишней работы. Когда же Льюис предложил заменить лошадей трактором, они только ахнули.

— Трактор? — изумился Бенджамин. — Да ты, видно, рехнулся.

Льюис ужасно разозлился, когда эти двое вернулись из Рулена от юриста и сообщили, что только что купили Нижнюю Брехфу.

— Что-что купили?

— Нижнюю Брехфу.

Со дня гибели миссис Маскер прошло уже три года, и ее маленькая ферма лежала в полном за-

пустении. Пастбище поросло конским щавелем и чертополохом. Во дворе бушевали заросли крапивы. Шиферная кровля зияла дырами, а в спальне свила гнездо сипуха.

— Сами ее возделывайте! — рявкнул Льюис. — Это грех — забирать землю покойницы. Ноги моей там не будет.

В конце концов он, как всегда, смягчился, но лишь после того, как и сам вволю нагрешил. Он начал выпивать в пабах и, отступив от своего обыкновения, свел дружбу с новыми людьми, поселившимися неподалеку.

Однажды на руленском рынке Льюис увидел в нескольких шагах от себя странную длинноногую женщину с алыми губами и ногтями. На ней были темные очки с клиновидными ободками из белого бакелита, на руке висела большая плетеная корзина. Ее сопровождал мужчина немного моложе на вид; когда он выронил пару яиц, она приподняла очки и сипло проговорила, растягивая слова:

— Милый, ну ты и растяпа…

36

Джой и Найджел Ламберт — жена художника и сам художник — сняли домик в Гиллифайноге.

У художника была за спиной успешная выставка в Лондоне. Вскоре после приезда его видели с мольбертом и красками на горных склонах, где он запечатлевал на холсте облака и закат. Судя по его светлым кудрям, он когда-то имел «ангельскую» наружность, но сейчас заметно оброс жирком.

Ламбертов объединяла любовь к джину, но отнюдь не общая постель. Они лет пять проболтались по Средиземноморью и недавно вернулись в Англию, потому что считали, что скоро разразится война. Больше всего на свете оба боялись, что их примут за мещан.

Из-за своей любви к крестьянам («селянам», как они выражались) Ламберты трижды в неделю ходили вечерами выпивать в «Пастуший привал», где Найджел силился произвести впечатление на местных, травя им байки о гражданской войне в Испании. Сырыми вечерами он размашисто входил в бар в толстом шерстяном плаще, выпачканном спереди чем-то коричневым. Найджел

уверял, что это пятно от крови солдата-республиканца, который умер у него на руках. На Джой его рассказы нагоняли скуку — все это она уже слышала по многу раз.

— Правда, котик? — вставляла она изредка. — Боже! Жуть, да и только!

Пока Джой занималась украшением интерьеров, ей было почти некогда присматриваться к соседям. Она, конечно, обратила внимание на близнецов Джонсов, но поначалу они запомнились ей просто как «два парня, что живут вместе с мамой».

Она всегда славилась хорошим вкусом и умением «выкрутиться» на медные гроши. Например, беля стены, добавляла чуть-чуть голубизны в оттенок одной стены и капельку охры — в оттенок другой. Вместо обычного обеденного стола она использовала старые козлы обойщика. Занавески у нее были сшиты из ватина, диван застелен конскими попонами, а подушки обтянуты шотландкой в тонах кожаного седла. Она принципиально ненавидела «забавные» предметы. Ей принадлежало одно-единственное произведение искусства — гравюра Пикассо, а картины Найджела она сослала в амбар-мастерскую.

Однажды, оглядев комнату, она сказала:

— Здесь не хватает… одного… хорошего… стула!

Она придирчиво осмотрела не одну сотню деревенских стульев с сиденьями из плетеного камыша, прежде чем нашла такой, какой нужно. Им оказался красиво состарившийся экземпляр, хранившийся у Уоткинсов в Скале.

Джой зашла туда за Найджелом, который целый день делал эскизы. Только переступив порог, она уже шепнула:

— Господи! Да вот же он, мой стул! Спроси у бабули, сколько она за него хочет!

В другой раз, когда Джой заглянула в Видение купить у Мэри домашнего сливочного масла, на глаза ей попался старый кувшин для солонины, торчавший из мусорной кучи.

— Черт подери! Вот это горшок! — вскричала она и принялась ощупывать серую, всю в трещинах глазурь.

— Ну забирайте, если знаете, что с ней делать, — сказал Льюис с некоторым сомнением в голосе.

— Мне эта штука нужна для цветов. — И Джой усмехнулась. — Для диких! Ненавижу садовые, — добавила она и презрительным жестом показала на высаженные Бенджамином анютины глазки и желтофиоли.

Месяцем позже Льюис случайно встретил ее на улице. В обеих руках у нее было по наперстянке, причем один цветок обычного цвета, а второй — какой-то болезненно-бледный.

— Мистер Джонс, мне нужен ваш совет. Какой из двух вы бы выбрали?

— Большое спасибо, — ответил Льюис, совершенно ошеломленный.

— Нет, вы меня не поняли! Какой вам больше нравится?

— Вот этот.

— Именно! — ответила Джой и немедленно выбросила более темный цветок за изгородь. — Второй был ужасен.

Она попросила Льюиса заходить к ним в гости. Однажды он пришел и с изумлением увидел, как она, в розовых матросских штанах и в красной косынке, рубит сиреневый куст и тащит ветки к костру.

— Как вы относитесь к сирени? — спросила она, и дым клубился вокруг ее ног.

— Я как-то об этом не задумывался.

— А я вот терпеть ее не могу, — заявила Джой. — Меня всю неделю тошнило от ее запаха.

Через пару часов, когда Найджел зашел домой выпить чаю, она сказала ему:

— Знаешь что? Мне, кажется, приглянулся Льюис Джонс.

— Вот как! Это который из двоих?

— Ну знаешь, милый! Нельзя же быть таким ненаблюдательным.

В следующий раз она увидела Льюиса у барной стойки «Пастушьего притона» — это было в день загона овец.

С семи утра фермеры разъезжали верхами, собирая овец на горе, и теперь их блеющая белая масса была заперта внутри огороженного выгона, принадлежащего Эвану Бевану, и дожидалась послеобеденной сортировки.

День был жаркий, горы затянула дымка; колючие кустарники смотрелись издалека пушистыми комочками.

Найджел был в ударе и решил непременно угостить выпивкой всех присутствующих. Льюис, опершись на локти, сидел спиной к подоконнику, за его плечами раздувались тюлевые занавески. В блестящих черных волосах, разделенных посередине пробором, поблескивали седые волоски. Глядя на Найджела сквозь очки в стальной оправе и пытаясь уследить за его рассказами, он моргал и изредка улыбался.

Джой оторвалась от своего стакана с джином

и взглянула на него. Ей нравились его крепкие белые зубы. Нравилось, как под ремнем собирается в складки вельветовая ткань его штанов. Нравилась его крупная рука, сжимавшая высокую пивную кружку. Она поймала его взгляд, задержавшийся на отпечатке губной помады на краешке ее стакана.

«Ну погоди у меня, недотрога!» — подумала она. Она потушила сигарету и сделала для себя два вывода: 1) Льюис Джонс девственник и 2) операция потребует много времени.

В самый разгар стрижки овец к Видению подошел Найджел и спросил, нельзя ли ему порисовать стригалей за работой.

— Рисуйте на здоровье, — доброжелательно ответил Бенджамин.

В сарае, где шла стрижка, было прохладно и сумрачно. Сквозь щели в кровле проникали солнечные лучи, в них кружились пылинки и носились мухи. Художник весь день просидел на корточках, прислонившись к тюку сена с блокнотом для этюдов на коленях. На закате, когда вынесли бочку с элем, Найджел проследовал за Бенджамином в птичник и сказал, что нужно кое-что обсудить.

Ему хотелось сделать серию из двенадцати

офортов, объединенных общей темой: «Год овцевода». У него есть друг-поэт в Лондоне, который наверняка не откажется сочинить по сонету к каждому из двенадцати месяцев. Согласен ли он, мистер Джонс, позировать ему, Найджелу, в качестве натурщика?

Бенджамин нахмурился. Повинуясь инстинкту, он не доверял людям «издалека». Он знал, что такое сонет, но насчет офорта уже не был уверен.

Он покачал головой:

— Сейчас мы заняты по горло. Никак не могу уделить этому время.

— Но ведь ничего не нужно делать! — перебил его Найджел. — Вы просто работайте себе, а я буду ходить за вами и делать зарисовки.

— Ну тогда… — Бенджамин задумчиво почесал подбородок. — Тогда что ж, давайте.

На протяжении лета и осени 1938 года Найджел регулярно рисовал Бенджамина Джонса: с собаками, с пастушьим посохом, с ножом для холощения скотины; в горах, в долине или с ягненком на плечах, похожим на древнегреческое изваяние.

В сырую погоду Найджел надевал свой испанский плащ и опускал в карман флягу с бренди. Стоило ему выпить, как у него развязывался язык,

и, конечно, ему было гораздо легче болтать всякий вздор, когда он знал наверняка, что слушают его люди, которые ничего не знают про Испанию и не могут проверить правдивость его рассказов.

Иногда его рассказы напоминали Бенджамину о неделях, проведенных в арестантских казармах, — о том, что заставляли его делать охранники; о грязных, постыдных вещах, о которых он никогда не рассказывал Льюису, но мог бы признаться в них сейчас, чтобы сбросить камень с души.

— Да, они часто этим занимаются, — говорил Найджел, оглядывая его с головы до ног и снова опуская взгляд на землю.

Мэри раздражали оба Ламберта. Она чувствовала, что это опасные люди, и пыталась предостеречь сыновей, убедить их в том, что эти чужаки просто играют в свои игры. Найджела она презирала за то, что он нарочно уснащает свою речь пролетарскими словечками, которые совсем не вяжутся с его аристократским выговором. Бенджамину она говорила про него:

— Он просто тряпка!

А Льюису:

— Ума не приложу, почему тебе нравится эта женщина. Вся размалеванная, как попугай!

Примерно раз в неделю миссис Ламберт нанимала Льюиса — он сопровождал ее в верховых прогулках. Однажды туманным вечером, когда они ездили по горным тропам, в Видение заглянул Найджел и сообщил новость: завтра он уезжает в Лондон.

— Надолго? — спросил Бенджамин.

— Не могу сказать, — ответил художник. — Все зависит от Джой. Но к окоту овец мы должны вернуться.

— Да уж не задерживайтесь! — проворчал Бенджамин и снова принялся крутить рукоятку измельчителя для свеклы.

В тот день в два часа пополудни Джой, быстро перекусив и выпив три чашки крепкого черного кофе, нетерпеливо вышагивала взад-вперед перед своим домом и ждала Льюиса Джонса.

— Опаздывает! Черт его побери! — Она хлестнула стеком по сухому чертополоху.

Долина утопала в тумане. Над травой тянулись паутинки, белевшие капельками росы. Глядя вдоль изгороди, Джой ничего не видела, кроме серых удалявшихся очертаний дубов. Найджел был у себя в мастерской, он слушал Берлиоза на граммофоне.

— Ненавижу Берлиоза! — прокричала Джой,

когда запись закончилась. — Знаешь, милый, твой Берлиоз — страшный зануда!

Она посмотрела на свое отражение в окне кухни: длинные, резко очерченные ноги в бежевых бриджах. Поприседала, чтобы размять колени перед ездой. Расстегнула пуговицу красно-коричневого редингота — под ним был надет светло-серый шерстяной пуловер. В такой одежде ей было удобно, она ощущала прилив сил. Лицо ее обрамляла белая косынка, а поверх нее — мужская мягкая шляпа с круглой тульей.

Джой мизинцем размазала помаду. «Господи, я уже слишком стара для этих проказ», — проговорила она себе под нос и тут наконец услышала глухой топот: это пони ступали по дерну.

— Я уже заждалась, — усмехнулась она.

— Прошу прощения, мэм, — проговорил Льюис и застенчиво улыбнулся из-под шляпы. — У меня с братом небольшая перепалка вышла, вот и задержался. Он не хотел меня отпускать. Говорил, мы заблудимся в тумане.

— Но вы-то не боитесь заблудиться?

— Нет, мэм.

— Тогда в путь! Наверху наверняка будет солнечно. Вот увидите!

Он передал Джой поводья серого. Она переки-

нула ногу, вскочила в седло и поехала первой. Они рысью проскакали по тропе, которая шла к Верхней Брехфе.

Боярышники сомкнулись у них над головами, образовав тоннель; ветки хлестали по ее шляпе и обдавали дождем из прозрачных капель.

— Вот черт! Надеюсь, шпильки не выскочат, — сказала она и, пришпорив пони, перешла на галоп.

Они миновали «Пастуший привал» и остановились у ворот, за которыми дорога вела на гору. Джой откинула щеколду стеком. Потом закрыла ворота за Льюисом, и он чинно поблагодарил ее.

Тропа была грязной, они задевали сапогами заросли утесника. Джой подалась вперед, потерлась о луку седла. Ее легкие наполнялись влажным горным воздухом. Они увидели сарыча. Впереди уже прояснялось.

Когда они подъезжали к роще лиственниц, она вскричала:

— Глядите-ка! Что я вам говорила? Солнце!

На фоне молочно-голубого неба лиственницы сверкали золотыми волосами.

Они галопом выехали на открытое место, где все было залито солнечным светом, а внизу на целые мили вокруг, до самой бесконечности,

расстилались облака. Наконец Джой натянула поводья и остановила своего пони у края оврага. Чуть дальше, в лощине, укрытой от ветра, виднелись три шотландские сосны.

Она спешилась и направилась к деревьям, пиная сосновую шишку по дерну.

— Я так люблю шотландские сосны! — сказала она. — Мне хочется, когда я совсем состарюсь, быть похожей на такую сосну. Понимаете, о чем я?

Он тяжело дышал совсем рядом с ней, ему было жарко под макинтошем. Она провела ногтями по коре, и чешуйка отслоилась. Оттуда метнулась прочь уховертка. Сочтя, что нужный момент настал, Джой перенесла свои лакированные пальцы со ствола на его лицо.

Было уже темно, когда она приотворила дверь и протиснулась в свой домик. Найджел дремал у очага. Джой со стуком бросила стек на стол. На бриджах зеленели пятна от мха.

— Ты проиграл пари, котик. С тебя бутылка «Гордонса».

— Ты его поимела?

— Под старой сосной. Так романтично! Но довольно сыро.

Как только Льюис перешагнул порог, Мэри

сразу поняла, что́ именно произошло.

Он ступал не так, как раньше, и водил глазами по комнате, будто попал сюда впервые. Он и на нее смотрел так же. Дрожащими руками она подала ему пирог с гусиными потрохами. Блестела серебряная ложка. Взвивалась струйка пара. Он продолжал глядеть на все так, словно никогда здесь не ужинал.

Мэри ковырялась в еде, не в силах проглотить ни кусочка. Она все ждала, когда Бенджамин не выдержит и взорвется.

Он делал вид, будто ничего не замечает, — отрезал себе ломтик хлеба и обмакнул в остатки подливы. А потом вдруг прохрипел:

— Что это у тебя на щеке?

— Н-ничего, — с запинкой ответил Льюис и потянулся за салфеткой, чтобы стереть следы губной помады, но Бенджамин уже вскочил со стула и придвинул к нему вплотную свое лицо.

Льюис запаниковал. Он двинул правым кулаком брату по зубам и выбежал из дома.

37

Льюис ушел из дома и устроился работать на свиноферму под Уэбли в Херефордшире. Через два месяца, почувствовав, что его неудержимо тянет к дому, он нашел работу в Рулене: подрядился грузчиком к торговцу сельскохозяйственными товарами. Ночевал там же, при складе, и ни с кем не разговаривал. Фермеров, заходивших в контору, поражал его совершенно опустошенный взгляд.

Поскольку Льюис не подавал о себе вестей, Мэри договорилась с соседом, что тот подвезет ее в город.

На Замковой улице дул пронзительный ветер. Глаза у Мэри заслезились; магазины, фасады домов и фигуры пешеходов — все вдруг расплылось мутноватыми пятнами. Придерживая шляпу, она с трудом зашагала по тротуару, потом свернула влево, в полукруглый двор, где не было ветра. Перед входом в лавку на телегу грузили мешки с кормом для скотины.

Когда из распашных дверей вынесли очередной мешок, Мэри вздрогнула при виде костлявого мужчины в грязном рабочем комбинезоне. Он

поседел, глаза у него как будто ввалились. Одно запястье опоясывал ужасного вида лиловый шрам.

— Что это? — спросила она, когда они остались наедине.

— Если правая твоя рука соблазняет тебя…[57] — тихо проговорил он.

Мэри чуть не поперхнулась, прикрыла ладонью рот и выдохнула:

— Слава богу, все зажило! Могло бы кончиться плохо.

Она взяла сына под руку, и они зашагали к реке, а потом по мосту. Уай была в разливе. На мелководье стояла цапля, на дальнем берегу рыбак ловил лосося. На вершинах Раднорских гор лежал снег. Стоя спиной к ветру, они наблюдали за паводком, проносившимся мимо свай.

— Нет, — сказала Мэри, вся дрожа. — Домой тебе пока нельзя. На твоего брата страшно смотреть, в таком он состоянии.

Любовь Бенджамина к Льюису была смертоносна.

Пришла весна. Живые изгороди запестрели звездочками чистотела. Казалось, что гнев Бен-

---

[57] Примечания: 57
Мф. 5: 30.

джамина никогда не уляжется. Чтобы хоть как-то отвлекаться от тоскливых мыслей, Мэри изнуряла себя работой по дому. Она заштопала все до одной дырочки на одеялах, какие только смогла обнаружить; навязала носков обоим сыновьям; заполнила буфет запасами еды и вычистила грязь из скрытых щелей. Она занималась уборкой дома так, словно готовилась к длительному отъезду. А потом, когда у нее не осталось больше сил для работы, рухнула в кресло-качалку и стала слушать, как стучит ее сердце.

Перед ее глазами проносились образы Индии. Она видела мерцающий заливной луг и белый купол, паривший в дымке. Мужчины в чалмах несли на берег завернутый в ткань сверток. Тлели костры, взвивались к небу ястребы. Скользила вниз по течению лодка.

— Река! Река! — шептала Мэри и стряхивала с себя эти фантазии.

Наступила первая неделя сентября, и однажды Мэри проснулась со вздутием живота и несварением. Она поджарила Бенджамину на завтрак несколько ломтиков бекона, но у нее не хватило сил снять их вилкой со сковороды. В груди сильно болело. Сын отнес ее в спальню, прежде чем начался приступ.

Он быстро сел на велосипед, покатил к телефону-автомату в Майсифелине и вызвал врача.

В тот день Льюис доставлял клиенту коровий навоз; к шести вечера он вернулся в контору. Клерк прилип к радио и слушал последние новости из Польши[58]. Подняв голову, он сказал Бенджамину, чтобы тот сейчас же позвонил в больницу.

— У вашей матери был инфаркт, — сообщил ему доктор Гэлбрейт. — По-моему, прогнозы плохие. Я дал ей морфий, и пока она держится. Но на вашем месте я бы поспешил.

Бенджамин стоял на коленях у дальнего края кровати. В комнату вливался вечерний солнечный свет, процеженный сквозь лиственницы, и падал на черную раму Холмана Ханта. Мэри лежала в поту, ее кожа приобрела желтоватый цвет. Она не сводила глаз с ручки двери. На губах ее шелестело имя Льюиса. Руки неподвижно лежали поверх черных бархатных звезд.

С улицы донесся шум мотора.

— Приехал, — сказал Бенджамин.

Из мансардного окна он увидел, как брат расплачивается с таксистом.

---

[58] Примечания: 58

О ходе польской кампании вермахта, начавшейся в сентябре 1939 года.

— Приехал, — повторила она.

Когда ее голова откинулась вбок на подушку, Бенджамин держал ее за правую руку, а Льюис — за левую.

Утром они повесили черный креп на ульи, чтобы сообщить пчелам, что их хозяйки больше нет.

Вечер после похорон оказался вечером их еженедельного мытья.

Бенджамин вскипятил воду в медном котле в задней части кухни и расстелил кусок ткани поверх коврика перед камином. Братья по очереди намыливали друг другу спину и терли мочалкой. Их любимая овчарка улеглась рядом с ванной, уткнувшись мордой в передние лапы; в глазах у нее мелькало отраженное пламя огня. Льюис вытерся полотенцем и увидел, что на столе выложены две отцовские ночные рубахи из небеленого светлого ситца.

Бенджамин зажег лампу в родительской спальне и сказал:

— Помоги-ка застелить.

Из ящика комода они вынули пару свежих льняных простыней. К ногам Льюиса упали засохшие лавандовые цветки. Братья заправили постель и расстелили лоскутное стеганое одеяло.

Бенджамин взбил подушки, и перышко, пробившееся сквозь тиковую ткань, взлетело в свете лампы вверх.

Они забрались в постель.

— Ну, доброй ночи!

— Доброй ночи!

Теперь, когда память о матери наконец соединила их, они позабыли о том, что вся Европа полыхает в огне.

38

Война перекатилась через них, не потревожив их одиночества.

Изредка гул вражеского бомбардировщика или какое-нибудь досадное ограничение, вызванное военным положением, напоминало им о том, что за Малвернскими горами идут бои. Но «битва за Британию» оказалась слишком масштабной для альбома Льюиса, а страхи перед вторжением немецких парашютистов в Брекон-Биконс — ложной тревогой. Однажды в ноябре, увидев на горизонте красное свечение и небо, освещенное сигнальными ракетами, — то была ночь налета на Ковентри[59], — Бенджамин только проворчал: «Здорово лупят!» — и забрался обратно в кровать.

Льюис подумывал записаться в ополченцы, но Бенджамин его отговорил.

Теперь, приходя по воскресеньям в молельню, близнецы садились на скамью, где раньше сидели их родители. Перед каждым молитвенным

---

[59] Примечания: 59

Во время масштабного авианалета в ночь на 14 ноября 1940 года (операция «Лунная соната») был разбомблен готический собор Ковентри.

собранием они шли на их могилу и проводили там около часа в молчаливых раздумьях. Иногда, если до службы шли занятия воскресной школы, на кладбище являлась с одной из приемных сестер Крошка Мег из Скалы; вид этой угловатой, худенькой девочки в изъеденном молью беретике пробуждал в Льюисе воспоминания о его погибшей любви, и у него сжималось сердце.

В одно ветреное утро она пришла, вся синяя от холода, сжимая в руке букетик подснежников. У проповедника была привычка зачитывать наизусть первый стих какого-нибудь гимна, а потом просить одного из детей повторять его строка за строкой. Объявив, что сейчас будет читаться гимн номер три — «Хвала открывшемуся источнику» Уильяма Купера[60], — он остановил свой указательный палец на Мег и начал декламировать:

Ручьем святая кровь течет
В омытие грехов;
Покой в нем страждущий найдет

[60] Примечания: 60

Стихотворение Уильяма Купера (1731–1800) «Хвала открытому источнику» отсылает к словам из ветхозаветной книги пророка Захарии (13: 1): «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты».

И отдых от трудов.

Сжав покрепче подснежники, Мег с грехом пополам повторила две первые строки, но слова «покой в нем страждущий» оказались для нее настолько трудными, что она, втянув губами воздух, просто умолкла. Раздавленные цветы выпали из ее руки, и она принялась сосать большой палец.

Школьный учитель сказал, что «этот ребенок к обучению неспособен». Мег так и не научилась ни читать, ни писать, ни совершать простейшие арифметические действия, зато у нее отлично получалось подражать голосу любого зверя или птицы. А еще она умела вышивать на белых батистовых носовых платках гирлянды из цветов и листьев.

— Мег — очень искусная мастерица, — доверительно сообщил учитель Льюису. — Я думаю, это мисс Файфилд научила ее вышиванию.

Потом, поддавшись желанию посплетничать, он добавил, что молодой Билли Файфилд служит летчиком в военно-воздушных силах и что Рози сейчас на Бугре одна и у нее бронхит.

После обеда Льюис уложил в корзину разную провизию и налил в бидон свежее молоко. Над Черной горой низко висело оловянное солнце. Пока он шел, молоко плескалось в крышку бидона.

Буки за домиком стояли серые; когда сидевшие на них грачи вдруг дружно поднялись в воздух, их крылья сверкнули, будто осколки льда. В саду цвел морозник.

Они не виделись двадцать четыре года.

Рози, шаркая, подошла к двери. На ней было мужское пальто. Глаза остались такими же голубыми, а вот щеки впали и волосы поседели. Увидев на пороге высокого седеющего незнакомца, она раскрыла рот от удивления.

— Я слышал, тебе неможется, — сказал Льюис, — и решил принести кое-что.

— Значит, это ты, Льюис Джонс, — прохрипела Рози. — Ну заходи, погрейся.

В комнате было тесно и грязно, со стен отслаивалась побелка. На каминной полке стояли коробочки для чая и часы с Небесными Близнецами. На дальней стене висела цветная литография, изображавшая светловолосую девушку, которая собирала у лесной тропинки букет цветов. На кресле лежал образец с незаконченной вышивкой. В окно билась бабочка-крапивница, разбуженная солнечным светом, но угодившая крыльями в заросшую пылью паутину. Пол был усеян книгами. На столе стояло несколько банок с маринованным луком — все, что было в доме

из еды.

Рози распаковала корзину, жадно оглядывая мед и бисквиты, солонину и ветчину. Без единого слова благодарности она расставила продукты по столу.

— Садись, я заварю тебе чай, — сказала она и пошла мыть чашки.

Он взглянул на картину и вспомнил их давние прогулки вдоль реки.

Рози взяла раздувальные мехи, чтобы взбодрить огонь, и когда языки пламени принялись лизать покрытое сажей дно металлического чайника, пальто на ней распахнулось, показав розовую фланелевую ночную сорочку, соскальзывавшую с плеча. Льюис спросил Рози про Крошку Мег.

Та сразу просияла:

— Хорошая девочка. Очень честная! Не то, что остальные воришки из их семейки! Ох! У меня просто кровь закипает, когда подумаю о том, как ужасно ей с ними живется. Она же ни одну живую душу не обидит. Я как-то наблюдала за ней здесь, в саду — у нее с ладони зяблики клевали.

Чай был обжигающе горячим. Льюис прихлебывал его молча, чувствуя неловкость.

— Он ведь умер, да? — Ее голос звучал резко,

обвинительно.

Он выдержал паузу, потом снова отхлебнул чая и сказал:

— Очень жаль.

— А тебе-то что?

— Его самолет разбился?

— Да нет! — сердито ответила Рози. — Речь не о моем Билли, а о его отце!

— О Бикертоне?

— Ну да, о Бикертоне.

— А, он-то точно умер, — ответил Льюис. — В Африке, как я слышал. От пьянства.

— И поделом ему! — отозвалась Рози.

Перед тем, как уйти, Льюис задал корма ее овцам, которые уже целую неделю оставались без сена. Забрал пустой бидон из-под молока и пообещал снова зайти в четверг.

Рози стиснула его руку и тихо проговорила:

— Значит, до четверга?

Прильнув к окну спальни, она провожала его взглядом. Он удалялся, идя вдоль вереницы боярышников, на фоне солнечного света. Она пять раз вытирала запотевшее стекло, пока черное пятнышко совсем не пропало из виду.

— Только зря все это, — сказала она вслух. — Ненавижу мужчин — всех до одного!

В четверг бронхит немного отпустил ее, и, хотя ей стало легче говорить, внимание ее удерживала только одна тема: замок Леркенхоуп, недавно реквизированный для размещения американских солдат.

Пять лет замок пустовал.

Реджи Бикертон умер от белой горячки в Кении в тот год, когда его кофейная плантация захирела. Поместье отошло дальнему родственнику, которому, в свой черед, пришлось заплатить налог на наследство. Изабелла, жившая в Индии, тоже умерла. А Нэнси перебралась в квартиру над конюшнями — по словам ее отца, они были построены лучше, чем сам дом. Там она и жила в одиночестве со своими мопсами и тревожилась о судьбе матери, интернированной на юге Франции.

Однажды она устроила званый обед для американских солдат, и люди рассказывали самые странные вещи.

Если не считать негра-боксера на руленской ярмарке, близнецы Джонсы никогда не видели чернокожих. Теперь же и дня не проходило, чтобы им не попадались эти высокие смуглые незнакомцы, расхаживавшие по улицам по двое или по трое.

Бенджамин притворно изумлялся, слушая рассказы, передававшиеся о замке. Неужели они правда отодрали все половицы и пустили их на растопку?

— О-о! — потирал он руки. — Они ведь из жарких стран.

Однажды морозным вечером, когда он возвращался домой из Майсифелина, его поприветствовал опрятно одетый великан:

— Привет, дружище! Я — Чак! Как дела?

— Спасибо, неплохо, — застенчиво ответил Бенджамин.

Лицо у солдата было серьезное. Он остановился, чтобы поговорить, и стал рассказывать о войне и о зверствах нацистов. Когда Бенджамин спросил, как живется в Африке, чужеземец вместо ответа весь скорчился и даже схватился за живот от смеха. А потом растворился в темноте, напоследок широко улыбнувшись и сверкнув белыми зубами над поднятым воротником шинели.

Другая незабываемая встреча произошла в тот день, когда солдаты из доминионов в шутку разыграли штурм Шишки Бикертона.

Близнецы вернулись из Нижней Брехфы, где поили телят, и обнаружили, что двор фермы наводнен «шоколадными ребятами». На одних

сидели кривобокие шляпы, у других головы были обмотаны полотенцами — это были гуркхи и сикхи, — и все они «трещали, как обезьяны, и распугивали птиц».

Но главным событием военных лет стало крушение самолета.

Пилот «Авро Энсона», возвращавшийся с рекогносцировки, неверно оценил высоту Черной горы и врезался в утес над Крайг-и-Феду. Уцелевший член экипажа, хромая, спустился по крутому склону к Скале и разбудил Джима; тот, примкнув к поисковому отряду, нашел летчика — мертвым.

— Я увидел его, — рассказывал потом Джим. — Он будто замерз насмерть, и лицо у него словно распоролось и сползло вниз.

Ополченцы огородили место катастрофы и вывезли оттуда семь телег, груженных обломками.

Льюис очень расстроился, когда узнал, что Джим видел разбившийся самолет, а он нет. Все, что он потом нашел, — это разбросанные среди вереска клочки холстины да полоска алюминия с болтом. Льюис засунул эти находки в карман и сохранил как сувенир.

Тем временем Бенджамин воспользовался падением цен и добавил к перечню их владений

еще шестьдесят акров земли.

Эта ферма, носившая название Глоток Воздуха, находилась в долине, в миле от их дома, и имела два пахотных поля по обеим сторонам ручья. После того как эти поля вспахали и засадили, они дали отличный урожай картофеля. Чтобы близнецам легче было его собрать, сотрудник министерства дал им помощника — военнопленного немца.

Звали его Манфред Клуге. Это был мясистый, розовощекий парень родом из Баден-Вюртемберга. Мать у него умерла; отец, деревенский дровосек, нещадно его порол. Угодив по призыву в армию, он служил в немецком Африканском корпусе; захват в плен в Эль-Аламейне стал для него одним из немногих удачных событий в жизни.

Близнецам никогда не надоедало слушать его рассказы:

— Я видель фюрер моими собственными глазами, я-а! Я быль в Зигмаринген. Я-а!.. И там многи, многи толп! Оччень многи толп! Я-а! «Хайль-Гитлер!.. Хайль-Гитлер!» Я-а?.. Я-а? А я сказаль: «Дурак!» ВСЛУХ!! И человек, кто стояль рядом со мной в толп… Оччень большой человек. КРАСНОРОЖИЙ-БОЛЬШОЙ-ЧЕЛОВЕК. Я-а? Он мне говорит: «Это ты сказаль «дурак»?» А я ему сказаль: «Я-а,

совсем дурак!» И он меня биль! Я-а? И другие все меня биль! Я-а? И я бежаль!.. Ха-ха-ха!

Манфред оказался очень старательным работником. Под конец дня его рабочая униформа была мокрой от пота в подмышках. И близнецы, совсем как заботливые родители, выдавали ему сменную одежду для дома. Третья шапка у порога, третья пара башмаков, третий прибор на столе напоминали им, что жизнь все-таки не прошла мимо.

Манфред с жадностью поглощал еду и всегда выказывал дружелюбие, когда появлялась надежда хорошенько поесть. Он был чистоплотен и ночевал на чердаке, где когда-то спал старый Сэм. Каждый четверг ему нужно было ходить в казармы отмечаться. Близнецы боялись четвергов: а вдруг Манфреда переведут в какое-нибудь другое место?

Особенно хорошо Манфред ладил с домашней птицей, поэтому братья разрешили ему завести собственное стадо гусей, а доходы от него оставлять себе — как карманные деньги. Он полюбил своих гусей, и часто можно было слышать, как он переговаривается с ними в плодовом саду:

– Komm, mein Lieseli! Komm… Schon! Komm zu

Vati![61]

Однажды погожим весенним утром война вдруг закончилась жирным заголовком в «Раднорширской газете»:

> ЛОСОСЯ
> ВЕСОМ В 51 1/2 ФУНТА ВЫТАЩИЛИ В ПРУДУ КОЛЬМАНА
> *Бригадир рассказывает о трехчасовой схватке с исполинской рыбой*

Читателям же, желавшим узнать о последних международных событиях, предлагалось ознакомиться с более короткой колонкой, помещенной ближе к краю страницы:

> Союзники входят в Берлин – Мертвый Гитлер в бункере – Муссолини убит партизанами

Манфред отнесся к падению Германии совершенно равнодушно, хотя спустя несколько месяцев обрадовался, увидев в «Новостях мира» фотографию грибообразного облака над Нагасаки:

---

[61] Примечания: 61
Иди сюда, моя Лизочка! Ну иди же! Иди к папочке! *(нем.)*

— Крошо, я-а?

— Нет, — покачал головой Бенджамин. — Чудовищно.

— Найн, найн! Крошо! Япония капут! Война капут!

В ту ночь обоим близнецам приснился одинаковый кошмар: занавески их кроватного полога загорелись, затем занялись их волосы, и наконец головы их сгорели, так что остались только тлеющие черепа.

Когда первые группы военнопленных начали отправлять на родину, Манфред не выказал ни малейшего желания возвращаться в Германию. Он говорил, что хочет поселиться где-нибудь поблизости, обзавестись женой и птицефермой. И близнецы в свой черед уговаривали его остаться.

К сожалению, он был слишком охоч до спиртного. Когда отменили ограничения военного времени, он подружился на почве выпивки с Джимом из Скалы. Стал часто пропадать где-то по ночам, а поутру братья находили его в соломе мертвецки пьяным. Бенджамин заподозрил, что Манфред спутался с кем-то из девиц Уоткинсов, и подумывал, не пора ли его прогнать со двора.

Однажды летним днем они услышали гусиный гогот и шипение; затем до них донесся голос Ман-

фреда: он с кем-то говорил по-немецки.

Выйдя на крыльцо, они увидели на дворе фермы женщину средних лет в коричневых вельветовых штанах и синей рубашке из ткани «артекс»[62]. В руках она держала карту. Женщина повернулась к ним — и вдруг просияла:

— Ой! — сказала она. — Близнецы!

[62] Примечания: 62

«Артекс» — британская компания по производству одежды, основанная в 1888 году. Также вид ткани.

39

Высокая, статная женщина с миндалевидными серыми глазами и золотистыми косами, толстыми, как буксирные канаты, Лотта Цонс покинула Вену за месяц до катастрофы. Ее отец-хирург был болен и отказался уезжать, а сестра не осознавала опасности. Лотта приехала на вокзал Виктория с дипломом по домоводству в сумочке — весной 1939 года для тех, кто хотел попасть в Англию, оставалась единственная проверенная лазейка: прикинуться профессиональной прислугой.

Любовь к Англии, возникшая из английской литературы, смешалась в ее памяти с пешими прогулками по Форарльбергу, горечавками, запахом сосен и страницами Джейн Остин, ослепительно сверкавшими под ярким альпийским солнцем.

Она двигалась с роскошной грацией дам, принадлежавших к досараевской эпохе[63]. Военные годы, проведенные в Лондоне, оказались самой мрачной порой ее жизни.

Вначале ее интернировали. Потом, получив

---

[63] Примечания: 63
То есть до Первой мировой войны.

диплом психотерапевта, Лотта устроилась на работу в клинику в районе Суисс-Коттедж, где проходили лечение жертвы авианалетов. Жалованья едва хватало на съем убогой комнатки. Питалась Лотта консервированной солониной и пакетированной картошкой, и ее жизненные силы таяли. Для приготовления пищи у нее была одноконфорочная газовая плита.

Иногда она виделась с другими беженцами-евреями в кафе в Хампстеде. *Nusstorte*[64] был несъедобным, а злословие только отнимало энергию, так что после этих встреч чуть ли не на ощупь она брела домой по темным, застланным туманом улицам, чувствуя себя еще более несчастной.

Пока длилась война, Лотта позволяла себе надеяться. Теперь же, после победы, надежда улетучилась. Из Вены не долетало никаких весточек. Увидев фотоснимки из Бельзена[65], она пришла в отчаяние.

Директор клиники предложил ей взять отпуск.

— Да, пожалуй, — неуверенно согласилась она. — А где тут у вас горы?

---

[64] Примечания: 64
Ореховый торт *(нем.)*.

[65] Примечания: 65
Берген-Бельзен — нацистский концлагерь в Германии.

До Херефорда она доехала поездом, потом села на автобус до Рулена. Она целыми днями бродила по зеленым улицам и переулкам, не менявшимся со времен королевы Елизаветы. Пьянела от пинты процеженного сидра, заходила в увитые плющом церковные дворы и читала Шекспира.

В последний день отпуска, почувствовав себя окрепшей, Лотта взошла на вершину Черной горы.

— А-а-а! — вздохнула она на английский манер. — Наконец-то я могу надышаться!

Спускаясь, она случайно оказалась во дворе Видения и услышала, как Манфред беседует по-немецки со своими гусями.

Льюис пожал руку нечаянной гостье и сказал:

— Пожалуйста, заходите к нам.

После чая она записала под диктовку Бенджамина рецепт валлийского печенья, а потом он предложил показать ей дом.

Без тени смущения распахнул дверь спальни. Она не сумела сдержать удивленного возгласа при виде наволочек, отороченных кружевами:

— Похоже, вы сильно любили свою маму.

Бенджамин опустил голову.

Уходя, Лотта спросила, можно ли ей когда-нибудь навестить их снова.

— Если будете в наших краях, — ответил он; было в ее манерах что-то, напомнившее ему Мэри.

На следующий год, в конце сентября, Лотта появилась снова — уже за рулем маленького серого автомобиля. Она поинтересовалась, как поживает ее «юный друг Манфред», но Бенджамин, нахмурившись, ответил:

— Нам пришлось его за дверь выставить.

Манфред обрюхатил Лиззи из Скалы. Потом «поступил как честный человек» и женился на ней, тем самым обретя право остаться в Британии. Пара перебралась в Кингтон и работала на птицеферме.

Совершая вылазки, Лотта стала брать с собой близнецов, и они вместе объезжали интересные места в округе.

Они осматривали мегалитические гробницы, развалины аббатств, побывали в церкви, в которой хранилась реликвия — шип из тернового венца. Они прогулялись вдоль вала Оффы[66] и взобрались на Кайр-Крадок, где Каратак ко-

[66] Примечания: 66

Вдоль остатков древнего пограничного земляного вала длиной около 240 км, возведенного, по преданию, в VIII веке королем Мерсии Оффой, проложена и открыта в 1971 году пешеходная туристическая тропа длиной около 100 км. Вал проходит приблизительно по границе между Англией и Уэльсом.

гда-то построил крепость, чтобы обороняться от римлян.

У братьев снова проснулся интерес к древностям. Защищаясь от холодного осеннего ветра, Лотта надевала темно-фиолетовую репсовую куртку с накладными карманами и подплечниками. Замечания близнецов она записывала в блокнот в клеенчатом переплете.

Похоже, ее память хранила содержание книг, которые могли бы составить небольшую библиотеку. В ее осведомленности о событиях местной истории было нечто пугающее, и порой она отстаивала свою правоту с решительностью тигрицы.

Во время поездки в Пайнскасл они встретили пожилого джентльмена в широких штанах — досужего любителя древностей, измерявшего крепостной ров. В завязавшейся беседе он походя заметил, что в 1400 году Оуайн Глендур[67] оборонял этот замок.

— А вот и неправда! — тут же парировала Лотта.

Та битва была вовсе не в Пайнскасле, а в Пил-

---

[67] Примечания: 67

Оуайн Глендур (1349–1414) — правитель королевства Поуис, последний валлиец, носивший титул принца Уэльского. Фигурирует под англизированным именем Оуэн Глендоуэр в исторической хронике Шекспира «Генрих IV».

лете, и не в 1400, а в 1401 году. Пожилой дилетант заметно смутился, извинился и обратился в бегство.

Льюис рассмеялся:

— Ого! Вот что значит иметь семь пядей во лбу! — и Бенджамин с ним согласился.

Лотта поселилась в маленькой гостинице в Рулене и, похоже, даже не собиралась возвращаться в Лондон. Мало-помалу ей удалось завоевать доверие братьев, сломить окружавший их барьер робости. Она заслужила право стать третьим человеком в их жизни и в конце концов начала выуживать у них самые сокровенные тайны.

При этом Лотта нисколько не скрывала своего интереса. Она сообщила, что еще до войны работала в Вене над исследованием, посвященным близнецам. И вот теперь ей хотелось бы возобновить ту работу.

Близнецы, говорила она, фигурировали в мифах большинства древних народов. У греков были Кастор и Полидевк — сыновья Зевса-лебедя; оба они родились из одного яйца.

— Совсем как вы!

— Вот это да! — удивлялись они.

Она рассказывала им о различиях между однояйцевыми и двуяйцевыми близнецами и

объяснила, почему одни близнецы одинаковые, а другие — нет. В тот вечер дул очень сильный ветер, и дым влетал обратно в дом через трубу. Братья, хватаясь за голову, пытались разобраться во всех этих сложных терминах, вызывавших головокружение, но порой ее слова, казалось, вновь соскальзывали к бессмыслице: «Психоанализ… Анкетирование… Проблемы наследственности и среды…» Что все это значило? В какой-то момент Бенджамин встал и попросил ее написать слово «монозиготный». Потом сложил бумажку и засунул в кармашек жилета.

В заключение она сказала, что многие однояйцевые близнецы остаются неразлучными даже в смерти.

— Ах, — задумчиво вздохнул Бенджамин, — я всегда об этом догадывался.

Лотта, сидевшая в свете лампы, вдруг переплела пальцы, подалась вперед и спросила, согласятся ли они ответить на ряд вопросов из ее анкеты.

— Я-то не против, — ответил Бенджамин.

Льюис же сидел с прямой спиной на скамье и смотрел на огонь. Ему не хотелось отвечать ни на какие вопросы. Ему казалось, он слышит голос матери: «Берегись этой иностранки!» Но в конце концов, чтобы сделать приятное Бенджамину, он

тоже согласился.

И Лотта стала следовать за близнецами по пятам, пока они занимались своими обычными делами. Ни один из них не привык к многословным исповедям, но ее теплая отзывчивость и резкий гортанный выговор каким-то образом создавали идеальное сочетание близости и отстраненности. Вскоре она собрала внушительное досье.

Поначалу Бенджамин произвел на нее впечатление библейского фундаменталиста.

Она спросила:

— Как вы представляете себе адский огонь?

— Наверное, он похож на Лондон.

При этом он сморщил нос и усмехнулся. Лишь потом, копнув немного глубже, Лотта обнаружила, что на месте представлений о загробной жизни — там, где у других обычно находится рай или ад, — у него зияет полнейшая, безнадежная пустота. Да и как можно верить в бессмертие души, когда твоя собственная воплощена в образе брата, который за завтраком сидит за столом напротив?

— Зачем же вы тогда ходите в молельню?

— Потому что туда ходила мама.

Оба близнеца сообщили, что им не нравится,

когда их путают. Оба припомнили, что иногда принимали собственное отражение за своего двойника.

— А однажды, — добавил Льюис, — меня обманула эхо.

Когда она направила свои вопросы в сторону спальни, то получила в ответ одинаковую невинную пустоту.

Лотта заметила, что чай всегда наливает Бенджамин, а Льюис нарезает хлеб; Льюис кормит собак, а Бенджамин — птицу. Она спросила, как они распределяют домашние обязанности и работу, и оба ответили одинаково:

— Так уж давно повелось.

Льюис вспомнил, что еще в школе отдал все деньги на хранение Бенджамину и с тех самых пор ему даже в голову не приходило, что он может владеть единолично хоть шестипенсовиком — не говоря уж о чековой книжке.

Однажды во второй половине дня Лотта нашла Льюиса в коровнике: на нем был длинный рабочий коричневый халат, и он вилами бросал солому на телегу. Лицо у него было красное и озабоченное. Искусно подгадав время, она спросила, не сердится ли он на Бенджамина.

— Да он совсем рехнулся! — ответил Льюис.

Оказалось, что Бенджамин уехал в Рулен покупать очередное поле.

Это совершенно бессмысленно, сказал он. Землю некому обрабатывать! А Бенджамин слишком прижимист, чтобы нанимать работников! Нужно купить трактор! Вот что им следует сделать!

— Попробуй его уговори купить трактор! — ворчал Льюис сердито. — Иногда я думаю, лучше бы я жил сам по себе.

Его грустный взгляд встретился со взглядом Лотты. Он отставил вилы, и вся его злость вдруг улетучилась.

Ведь он всегда любил Бенджамина! Любил больше всех на свете. Это абсолютная правда! Но он всегда чувствовал себя отвергнутым…

— Словно меня вытолкнули на обочину… — Он сделал паузу. — Я был сильным, а он — несчастным заморышем. Зато он был смышленее. У него основа была крепче, понимаете? За это мама его и любила.

— Продолжайте, — сказала Лотта.

Он был готов расплакаться.

— Да в этом-то вся беда! Иногда я лежу без сна и думаю: как бы я жил без него? Ну, если б он уехал… или даже умер. Я мог бы иметь свою жизнь: семья, дети…

— Понимаю, понимаю, — спокойно проговорила Лотта. — Но в жизни часто все не так просто.

В свое последнее воскресенье Лотта повезла близнецов в Бактон — осматривать памятник даме Бланш Парри, первой леди опочивальни королевы Елизаветы I.

Церковный двор густо зарос кипреем. Дорожка, которая вела к крыльцу, была усыпана красными шариками — опавшими тисовыми ягодами. Памятник — с колоннами и римской аркой — стоял в дальнем конце алтарной части. Правую половину занимало мраморное изваяние самой королевы — усеянный драгоценностями истукан, словно придавленный тяжестью цепи из тюдоровских роз. Дама Бланш, показанная в профиль, стояла перед ней на коленях. Лицо у нее было застывшее, но прекрасное, в руке она держала молитвенник. На ней был высокий плоеный воротник, под ним на ленте висел нагрудный крест.

В церкви было холодно. Бенджамину стало скучно. Он вышел и ждал в машине, пока Лотта переписывала себе в блокнот надпись с могилы:

Весь век земной я в девах провела,
Не знала мужа никогда я.
Служила верно Эльсбет-Королеве

Я, дева-фрейлина при венценосной деве,
И девой Богу душу отдала.

Она дописала последнюю строчку. Карандаш выпал из ее руки на алтарный ковер и отскочил на каменные плиты. На нее внезапно навалилось все удушливое одиночество ее собственной жизни: узкое девическое ложе, чувство вины при мысли о покинутой Австрии, вечные склоки в клинике.

Льюис нагнулся подобрать с пола упавший карандаш. На него вдруг тоже нахлынули воспоминания о несчастных первых влюбленностях, о крушении третьей любви. Он взял руку Лотты и прижался к ней губами.

Она осторожно отняла ее.

— Не надо, — сказала она. — Это было бы неправильно.

После чаепития она отвела Бенджамина в сторону и сообщила ему — в категорической форме, — что он должен купить Льюису трактор.

40

Эджи Уоткинс умерла жуткой зимой 1947 года. Ей было уже больше девяноста лет. Крышу завалило снегом, и умирала она в темноте.

У Джима закончилось сено. Коровы мычали так, что никто не мог уснуть. Собаки скулили, коты шныряли туда-сюда с выпученными от голода глазами. Семь пони Джима пропали где-то в горах.

Он запихнул окоченевшее тело матери в мешок и положил на поленницу, куда не достанут собаки (но кошкам и крысам такая высота оказалась нипочем). Через три недели, когда началась оттепель, Джим с Этель погрузили покойницу на санки и повезли хоронить в Леркенхоуп. Кладбищенский сторож был поражен, увидев, в каком состоянии труп.

Через несколько дней Джим нашел своих пони: все семеро застряли в расщелине между скалами. Они так и издохли, встав в круг, мордами к центру, будто спицы в колесе. Джим хотел вырыть для них могилу, но Этель не пустила его и заставила помогать по дому.

В торцевой стене в одном месте наметилось

вздутие, и вся она, похоже, собралась обрушиться. Некоторые потолочные балки прогнулись под тяжестью снега. Джимовы чучела животных пропитались ледяной водой, она стекала с них на пол чердака и просачивалась в кухню. И хотя Джим твердил: «Я раздобуду черепицу и все залатаю, будет как новенькое», в итоге он просто расстелил на крыше дырявый брезент, и этим все закончилось.

Когда наступила весна, он попытался укрепить стену снаружи камнями и шпалами, но только расшатал основание, так что стена совсем вывалилась внутрь. Следующей зимой в восточном конце дома уже никто не жил, да и некому было там жить, потому что все девочки Уоткинс, кроме Крошки Мег, разъехались.

Лиззи, выйдя замуж за Манфреда, делала вид, что никакой Скалы вообще не существует. Бренни уехала с «каким-то темнокожим» — американским солдатом, и о ней долго не было вестей, пока наконец не пришла открытка откуда-то из Калифорнии. Сара познакомилась на ярмарке в Рулене с одним подрядчиком, и он увез ее к себе на маленькую ферму за Бегвинсом.

Сара была крупнокостной, краснолицей молодой женщиной со всклокоченными черными

волосами и очень непредсказуемым характером. Ее преследовал один большой страх — скатиться в нищету, и поэтому она порой казалась черствой и расчетливой. Однако, в отличие от Лиззи, не забывала о Скале и старалась следить, чтобы там не голодали.

В 1952 году, после того как очередная буря превратила кухню в совершенно непригодное для житья помещение, Этель оставила это место курам и уткам, перетащив всю мебель в единственную оставшуюся комнату.

Теперь эта комната выглядела как сарай старьевщика. За выгнутой скамьей стоял дубовый сундук, на нем громоздился высокий комод и целая башня из картонных коробок. На столах в беспорядке стояли всевозможные плошки, миски, кастрюли, кружки, банки из-под варенья, грязные тарелки, да еще и ведро с кормом для птицы. Все трое обитателей дома спали на раскладной кровати. Скоропортящиеся продукты помещали в корзины, которые подвешивались к потолочным балкам. На каминной полке кучами валялась всякая всячина — от мисок для бритья до ножниц для стрижки овец: все это ржавое, изъеденное червями, заляпанное свечным салом и испещренное мушиным пометом.

По подоконнику маршировала шеренга безголовых оловянных солдатиков.

Когда со стены осыпáлась штукатурка, Джим запихивал в пустоты скомканные газеты и кровельный картон.

— Так даже лучше, — говорил он жизнерадостно, — ветер не задует.

Дым, проникавший внутрь из засоренного дымохода, обволакивал все бурой смолистой пленкой. Со временем стены сделались такими липкими, что, если Джиму нравилась какая-нибудь картинка — будь то открытка из Калифорнии, яркая бумажка с консервной банки с гавайским ананасом или ножки Риты Хейворт, — ему достаточно было приложить ее к стене и прихлопнуть ладонью — так оно и держалось.

Если к дому приближался кто-то незнакомый, Джим доставал свое древнее ружье, заряжавшееся с дула. Правда, ни дроби, ни пороха в запасах давно уже не водилось. Однажды, когда заявился налоговый инспектор и осведомился, не здесь ли живет «мистер Джеймс Уоткинс», Джим выглянул из-за частокола и покачал головой:

— Давненько его тут не видывали. Во Францию отбыл! Я слыхал, с немчурой там воюет.

Этель, несмотря на приступы эмфиземы, в ба-

зарные дни ходила пешком в город. Она быстрым шагом шла посередине улицы, всегда в одном и том же грязном рыжем твидовом пальто. На шее у нее висела лошадиная подпруга, на которой по обеим сторонам болтались хозяйственные сумки.

Однажды на гребне горы Кефн с ней поравнялся на своем новом тракторе Льюис Джонс. Помахав, она попросила его притормозить, а потом вскочила на подножку.

С тех пор она, выходя из дома, всегда подгадывала время, чтобы он подвозил ее до города. Льюис ни разу не слышал от нее ни слова благодарности; спрыгивала она у военного мемориала. Все утро Этель рыскала по торговым рядам и подбирала все, что укатилось, упало или было выброшено. А ближе к полудню наведывалась в бакалею «У Протеро».

Зная, что Этель нечиста на руку, мистер Протеро подмигивал своему ассистенту, как бы говоря: «Пригляди за старушкой, ладно?» Этот добрый человек с лоснящимся лицом, лысый, как головка голландского сыра, всегда разрешал ей стащить банку сардин или кокос. Но если она переступала границы дозволенного и прихватывала, скажем, большую банку консервированной ветчины, он

выскальзывал из-за прилавка и преграждал ей выход из магазина:

— Ну-ка, ну-ка, мисс Уоткинс! Что это у нас в сумочке сегодня утром, а? Что-то лишнее затесалось, верно?

Этель выслушивала все это, безучастно глядя в окно.

Так продолжалось год за годом, пока мистер Протеро не удалился от дел и не продал свой магазин. Он попросил новых хозяев смотреть на ее грешки сквозь пальцы, однако в первый же раз, когда Этель украла банку «Идеального молока», хозяева разыграли приступ праведного негодования и вызвали полицию.

Во второй раз ей выписали штраф в пять фунтов. А в третий последовало наказание посерьезнее: шесть недель в херефордской тюрьме.

После этого Этель сильно изменилась. Люди видели, как она ходит по рынку, словно сомнамбула, изредка нагибается, подбирает с земли пустую сигаретную пачку и запихивает к себе в сумку.

Однажды дождливым ноябрьским вечером пассажиры, ждавшие последнего автобуса, увидели в углу крытой остановки чью-то сгорбленную фигуру. Подошел автобус, и какой-то человек позвал:

— Эй! Проснитесь, проснитесь! Автобус упустите!

Он встряхнул Этель, но она была мертва.

Мег было в ту пору девятнадцать лет, она выросла в миниатюрную симпатичную девушку с ямочками на щеках, и глаза ее сияли ярче солнца.

Она просыпалась на рассвете и день-деньской трудилась, не покидая Скалу, — только иногда ходила собирать бруснику на склоне. Порой какой-нибудь заезжий турист, поднявшийся в горы, видел ее крохотную фигурку у края пруда: она гремела ведром, и к ней вразвалку семенили гуськом белые утки. Стоило кому-нибудь подойти поближе, как она опрометью бросалась к дому.

Мег никогда не снимала с себя ни одежду, ни шляпу.

Со временем эта шляпа — серый фетровый колокол, — захватанная жирными пальцами, сделалась похожей на коровью лепешку. Мег носила сразу две пары бриджей — коричневые поверх бежевых (они лопнули на коленях, так что нижняя часть, на шнуровке, облегала ноги, а верхняя свисала от талии отдельными длинными лоскутами) — и пять или шесть зеленых шерстяных фуфаек, до того дырявых, что сквозь

дырки просвечивало голое тело. Когда одна фуфайка окончательно расползалась, Мег сохраняла нитки и штопала ими другие, делая сотни крошечных зеленых стежков.

Видя Мег в таком наряде, Сара очень раздражалась. Она покупала ей блузки, кардиганы и ветровки с капюшоном, но Мег упорно носила только свои зеленые шерстяные фуфайки, причем обязательно рваные.

Однажды, в очередной раз наведавшись на ферму, Сара увидела Джима по щиколотку в жидкой грязи. Он ворчливо спросил ее:

— Ну как дела? Зачем ты вообще к нам ездишь? Чего в покое нас не оставишь, а?

— Я не к тебе, а к Мег пришла! — резко ответила Сара, и он заковылял прочь, тихонько бранясь под нос.

Неделей раньше Мег жаловалась на боли в животе.

Распихав кур, Сара подошла к девушке — та сидела на корточках у очага и вяло обмахивала тлевшие угли. Лицо ее было искажено болью, руки покрылись болячками.

— Поедешь со мной, — заявила Сара. — Я отвезу тебя к врачу.

Мег задрожала, принялась раскачиваться взад-

вперед и заунывно забубнила:

— Нет, Сара, я никуда не поеду. Очень мило с твоей стороны, Сара, но я никогда отсюда не уеду. Мы с Джимом, мы всегда рядом, вот так. Вместе работаем, вот так. Скотину кормим, птиц кормим, и жизнь у нас тут одна. А коли я уеду, бедняжки утки от голода помрут. Да и цыплята перемрут. А бедная курочка в клетке! Она совсем помирала, а я ее к жизни вернула. Коли уеду, она точно помрет. А птички в лощине? И они погибнут, коли я их кормить перестану! А кошка? Даже не знаю, что с кошкой-то будет, коли я уеду…

Сара пыталась ее переспорить. Врач живет всего в трех милях отсюда, говорила она, в Рулене.

— Ну не будь дурочкой! Его дом виден отсюда, с горы. Я отвезу тебя в больницу, а потом привезу обратно.

Но Мег засунула пальцы под поля шляпы и, накрыв лицо обеими ладонями, проговорила:

— Нет, Сара, я отсюда не поеду.

Через неделю она оказалась в херефордской больнице.

На рассвете в пятницу Сара проснулась от телефонного звонка: Джим звонил из телефона-автомата в Майсифелине. Из его бессвязного обрывочного лепета Сара поняла, что Мег стало

совсем плохо, и она чуть ли не при смерти.

Поля вокруг Крайг-и-Феду замерзли, и Саре удалось подъехать на своем фургоне прямо к воротам. Дом и хозяйственные строения окутывал туман. Собаки выли и рвались на цепи. Джим стоял на пороге, подпрыгивая, будто раненая птица.

— Как она? — спросила Сара.

— Плохо.

В прихожей куры еще дремали на насестах. Мег с закрытыми глазами лежала на полу, среди птичьего помета, и тихонько стонала. Ее перекатили на доску и отнесли в фургон.

По пути при одной мысли о том, что врач увидит Мег в таком состоянии, Сара начала испытывать жгучий стыд. Поэтому вместо того, чтобы повезти ее прямиком в Рулен, она доставила больную к себе домой и там при помощи мыла, горячей воды и приличной одежды постаралась придать ей более пристойный вид. К тому времени, когда они добрались до приемной врача, у Мег уже начался горячечный бред.

Вышел молодой доктор и поспешил забраться в кузов.

— Перитонит! — Он выплюнул это слово сквозь зубы и крикнул своему помощнику, чтобы тот вызывал «скорую помощь».

Врач сердито отругал Сару за то, что она не привезла больную раньше.

У Мег остались лишь самые туманные воспоминания о неделях, проведенных в больнице. Металлические кровати, лекарства, бинты, яркие лампочки, лифты, тележки, подносы с блестящими инструментами — все это было так далеко от привычных предметов, что ей легче было считать эти картины обрывками привидевшегося ей кошмарного сна. Врачи даже не сочли нужным сообщить ей, что удалили матку. Она лишь запомнила их слова.

— Запущенная! Так они говорили — и про болезнь, и про меня. Запущенная! Но даже не сказали толком, что со мной.

41

Первым трактором, появившимся в Видении, стал «Фордсон Мейджор». Корпус у него был синий, колеса — оранжевые, название выведено рельефными оранжевыми буквами на боку радиатора.

Льюис очень любил свой трактор, думал о нем как о женщине и даже хотел дать ему женское имя. Сначала он склонялся в пользу Моди, потом ему больше понравилось Мэджи, потом Энни; но ни одно из этих имен не подошло к характеру машины, и в итоге она так и осталась безымянной.

Прежде всего, ею было чрезвычайно трудно управлять. Однажды она очень испугала Льюиса, внезапно резко повернув вбок — в канаву. А когда он по ошибке принял муфту поворота за тормозную педаль, машина врезалась в изгородь. Но потом, хорошенько объездив ее, Льюис даже задумался, не поучаствовать ли ему в соревнованиях по пахоте.

Больше всего ему нравилось слушать, как машина плавно несется на всех восьми цилиндрах, урча ровным тоном, или тарахтит вверх по склону, таща за собой плуг.

Ее двигатель тоже поражал сложностью устройства, совсем как женская анатомия. Льюису вечно приходилось проверять разные втулки, возиться с карбюратором, засовывать шприц со смазкой в похожие на соски выступы и вообще тревожиться об общем состоянии ее здоровья.

При малейшем треске или шипении он лез за руководством по эксплуатации и зачитывал вслух перечень возможных недугов: «Неправильно вставленная воздушная заслонка… Слишком густая смазка… Бракованная резьба… Грязь в поплавковой камере», при этом у его брата лицо принимало такое выражение, словно ему приходится выслушивать отборные непристойности.

Бенджамин постоянно брюзжал, что содержание трактора обходится очень дорого, и то и дело приговаривал:

— Придется нам опять к конной тяге вернуться.

После покупки плуга, рядовой сеялки и шарнирной муфты оказалось, что количество необходимых приспособлений и деталей, а следовательно, и расходы только растут до бесконечности. Зачем только Льюису понадобилась картофелекопалка-швырялка? Какой смысл покупать пресс-подборщик для сена? Или навозоразбрасы-

ватель? Когда уже все это закончится?

Льюис лишь отмахивался от брата и предоставлял бухгалтеру объяснять, что они не только не разорены, а, напротив, вполне преуспевают.

В 1953 году у них произошла неприятная стычка с государственной налоговой службой. С тех пор как умерла Мэри, братья не платили ни одного пенса налогов. Наведавшийся к ним инспектор хотя и обошелся с ними мягко, все же настоятельно порекомендовал обратиться за советами к профессионалам.

У молодого человека, который пришел провести ревизию их финансовых дел, был нездоровый цвет лица, прыщи и недокормленный вид обитателя дешевого жилья — но даже он поразился аскетизму Джонсов. Одежду они донашивали старую, и ее запросто могло хватить до конца жизни; а поскольку с бакалейщиками, ветеринарами и торговцами сельхозтехникой братья расплачивались чеками, с наличными деньгами они почти не имели дела.

— Сколько же нам тогда записать в мелкие расходы? — спросил бухгалтер.

— Это вы про карманные деньги? — уточнил Бенджамин.

— Ну да, карманные расходы, можно и так

сказать!

— Фунтов двадцать, наверное?

— В неделю?

— Да какое там… Двадцатки нам на целый год хватает.

Когда молодой человек попытался втолковать братьям о выгоде работы в убыток, Бенджамин наморщил лоб и сказал:

— Так неправильно.

К 1957 году на счету фермы Видение накопилась весьма крупная налогооблагаемая прибыль, и бухгалтер тоже заметно «округлился». Над поясом его трикотажных рейтуз выпирало внушительное пивное брюхо. Наряд дополняли жокейский пиджак, желтые носки и сапожки для верховой езды. Он постоянно ругал какого-то мистера Насера[68].

Однажды он грохнул кулаком по столу:

— Или вы тратите пять тысяч фунтов на сельхозтехнику, или просто дарите эти деньги правительству!

— Ну раз так, пожалуй, мы купим еще один

---

[68] Примечания: 68

Гамаль Абдель Насер (1918–1970) — президент Египта в 1956–1970 годах, известный своей антиимпериалистической политикой. В 1956 году национализировал Суэцкий канал, что вызвало серьезный международный кризис: Британия была одним из главных акционеров канала.

трактор, — сказал Бенджамин.

Льюис изучил множество рекламных проспектов и остановил свой выбор на фирме «Интернэшнл Харвестер». Он заранее расчистил конюшню, превратив ее в сарай и, выждав для покупки погожий ясный день, пригнал из Рулена новенькую машину.

Эта красавица вовсе не предназначалась для работы в полях. Льюис чистил ей шины, протирал тряпочкой от пыли, изредка катался на ней по улицам — просто чтобы выгулять; но целыми годами он держал ее в нарядной праздности под замком в сарае. Время от времени припадал к щелке в двери и любовался алым корпусом машины, будто мальчик, тайком заглядывающий в бордель.

На пятидесятые годы пришлось немало зрелищных авиакатастроф: с неба упали две «Кометы», а на авиашоу в Фарнборо истребитель рухнул на толпу и убил тридцать зрителей. Бенджамину прооперировали грыжу, Видение подключили к электрическим сетям, а люди из старшего поколения один за другим заболевали и умирали. Едва ли месяц проходил, чтобы в молельне когонибудь не провожали в последний путь. Когда же на юге Франции умерла старая миссис Бикертон

(в девяносто два года утонула в собственном бассейне), в приходской церкви состоялась красивая поминальная служба, а потом миссис Нэнси из замка устроила застолье для всех бывших арендаторов и работников поместья.

Сам замок лежал в руинах и продолжал разрушаться, пока одним августовским вечером туда не забрался какой-то школьник, чтобы пострелять крыс из лука со стрелами. Он уронил зажженную сигарету, начался пожар, и все сгорело дотла. А потом, в апреле 1959 года, Льюис неудачно упал с велосипеда.

Он поехал в тот день с букетиком желтофиолей в Майсифелин, на родительские могилы. День был очень холодный. Пряжка его теплого пальто вдруг расстегнулась, конец пояса попался в спицы переднего колеса, и Льюис вверх тормашками перелетел через руль. Пластический хирург в херефордской больнице заново сделал Льюису нос, но он навсегда остался глуховат на одно ухо.

День шестидесятилетия стал для близнецов чуть ли не траурным днем.

Всякий раз, когда они отрывали лист календаря, на них накатывали мрачные мысли о жалкой старости. Они обращались к стене, увешанной семейными фотографиями: множество рядов

улыбающихся лиц, и все они умерли или уехали невесть куда. Как же так получилось, горестно думали братья, что они теперь совсем одни?

Пререкания между ними давно остались позади. Они были так же неразлучны, как и до детской болезни Бенджамина. Но все-таки, быть может, где-то на белом свете есть еще родственник, которому они могли бы довериться? Какой смысл владеть землей и тракторами, если у них нет единственно главного: наследника?

Они смотрели на олеографию с краснокожим индейцем и вспоминали о дядюшке Эдди. Может, у него есть внуки? Но, скорее всего, они живут в Канаде и никогда сюда не приедут. Близнецы задумывались даже о сыне их старого приятеля Манфреда — светлоглазом мальчугане, который иногда бывал у них в гостях.

Манфред завел собственную птицеферму (в каких-то ниссеновских[69] бараках, поставленных для польских беженцев) и, несмотря на свой сильный гортанный акцент, был теперь «больше англичанином, чем сами англичане». В порядке одностороннего письменного обязательства он

---

[69] Примечания: 69

Ниссеновские бараки — полукруглые строения с каркасом из гофрированной стали, спроектированные британским инженером Питером Ниссеном в 1916 году.

сменил фамилию с Клуге на Клегг. Манфред носил зеленые твидовые костюмы, редко пропускал скачки с препятствиями и сделался председателем местной консервативной организации.

Он с гордостью повез близнецов к себе — показать им свою ферму. Но проволочные клетки, вонь куриного помета и рыбной муки и особенно вид голых, ощипанных шей несчастных птиц вызвали у Бенджамина такое отвращение, что он предпочитал больше никогда туда не ездить.

В декабре 1965 года на листе перекидного календаря были изображены скованные льдом Норфолкские озера. Одиннадцатого декабря (близнецы навсегда запомнили точную дату) в их двор заехал ржавый «форд» с фургоном. Из него вышла женщина в резиновых сапогах и представилась: миссис Редпат.

42

У нее были тронутые сединой рыжие волосы, карие глаза и нежные розовые щеки, какие нечасто можно увидеть у женщин ее возраста. Она не меньше минуты простояла у садовой калитки, нервно теребя щеколду. А потом сообщила братьям, что у нее к ним важный разговор.

— Так заходите в дом, — пригласил ее Льюис. — Выпьете с нами чая.

Она стала извиняться за сапоги, забрызганные грязью.

— Ничего страшного, уж мы-то грязи не боимся, — заметил он любезно.

Она сказала: «Бутербродов не надо!» — но приняла ломтик фруктового пирога и, нарезав его на тонкие полоски, стала изящно класть их одну за другой на кончик языка. То и дело окидывала взглядом комнату и дивилась вслух, как это у близнецов находится время протирать от пыли «все эти диковины». Она упомянула о муже, который работает в службе водоснабжения, о благоприятной погоде и о ценах на рождественские подарки.

— Да, — ответила она на вопрос Бенджамина. —

Еще одну чашечку выпью.

Она взяла четыре куска сахара и наконец приступила к рассказу.

Всю жизнь она думала, что ее мать — вдова плотника, из-за нужды пускавшая в дом жильцов. Детство было несчастливое. А в июле прошлого года, когда старуха лежала при смерти, выяснилось, что на самом деле миссис Редпат — незаконнорожденный найденыш. Ее настоящая мать — девчонка с фермы на Черной горе — подбросила ее в 1924 году, а сама уплыла за океан с каким-то ирландцем.

— Ребеккина дочка, — тихо ахнул Льюис, и его чайная ложка звякнула о блюдце.

— Да, — сказала миссис Редпат, прочувствованно вздохнув. — Мою мать звали Ребекка Джонс.

Она достала свое свидетельство о рождении, сверилась с приходской метрической книгой, — и вот она здесь, их давно потерянная племянница!

Льюис по-новому присмотрелся к сидевшей перед ним симпатично-невзрачной женщине — и вдруг увидел в каждом ее жесте сходство с собственной матерью. Бенджамин помалкивал. В резкой тени, отбрасываемой голой электрической лампочкой, он успел заметить ее неприветливый рот.

— Вот погодите, вы еще увидите моего малыша Кевина! — Она потянулась к ножу и отрезала себе еще ломтик пирога. — Он вылитая копия вас обоих.

Она хотела привезти к ним Кевина уже завтра, но Бенджамин решительно воспротивился:

— Нет-нет. Мы сами когда-нибудь к вам заедем и посмотрим на него.

Всю следующую неделю братья пререкались, прямо как раньше.

Льюис решил, что Кевин Редпат — подарок, посланный им самим Провидением. А Бенджамин заподозрил (даже если вся эта история не просто небылица, даже если этот Кевин действительно их внучатый племянник), что миссис Редпат нацелилась на их деньги и добром это не кончится.

Семнадцатого декабря они получили рождественскую открытку с Санта-Клаусом в санях, запряженных оленями: «Поздравляем с зимними праздниками! Мистер и миссис Редпат и Кевин». Потом она снова приехала и за чаем спросила братьев, не хотят ли они сегодня же вечером съездить вместе с ней в Лланфехан на рождественский спектакль, в котором ее сын будет играть Иосифа-плотника.

— Да! Я поеду с вами, — без раздумий отозвался

Льюис.

Сняв чайник с конфорки, он кивнул брату и пошел наверх — бриться и переодеваться. Бенджамин, оставшись в кухне один, почувствовал сильное смущение. Подумав, он тоже поднялся в спальню.

Когда они наконец выехали, уже стемнело. Небо было ясное, звезды вращались, как крошечные огненные колеса. Изгороди окутал иней, и в свете фар деревья и кусты казались присыпанными мукой. Фургон забуксовал на одном из поворотов, но миссис Редпат вела осторожно. Бенджамин сидел сзади на мешке, набитом соломой, и, стиснув зубы, терпел тряску. Когда они наконец подъехали к залу собраний при молельне, она сразу побежала проверять, переоделся ли Кевин к представлению.

Внутри стоял жуткий холод. Тепло от пары парафиновых печек не доходило до задних скамеек. Под дверь с завыванием задувал сквозняк, от половиц неприятно пахло хлоркой. Зрители рассаживались по местам, не снимая пальто и шарфов. Проповедник — миссионер, вернувшийся из Африки, — здоровался с каждым прихожанином за руку.

Поперек сцены был натянут занавес из трех

бывших армейских серых одеял, усеянных молеточинами.

Миссис Редпат вернулась и села рядом со своими дядьями. Свет выключили — оставили только освещение на сцене. Зрители услышали детское перешептывание из-за занавеса.

На сцену вышла учительница и уселась на табуретку. На ней была вязаная шапочка такого же пюсового оттенка, что и азалия, стоявшая на фортепиано; когда ее пальцы застучали по клавишам, шапка начала подпрыгивать, а лепестки азалии — подрагивать.

— Рождественский гимн номер один, — объявила она. — «О милый город Вифлеем» — его исполнят только дети.

После первых аккордов из-за занавеса долетели нерешительные высокие звуки; сквозь молеточины близнецы заметили какое-то серебристое мельтешение: это шевелились нимбы ангелочков, сделанные из блестящей фольги.

Гимн смолк, и на сцену вышла светловолосая девочка в белой ночной рубашке, вся дрожавшая от холода. Ее корону спереди украшала звезда из серебряной бумаги.

— Я — Вифлеемская звезда… — проговорила девочка, стуча зубами. — Десять тысяч лет назад

Бог повесил на небо большую звезду. Я — эта самая звезда…

Она закончила свой пролог. Потом занавес резко отдернули (так, что все услышали визгливый скрип механизма), и перед публикой предстала Дева Мария в синем наряде, на красной резиновой подушечке для коленопреклонения. Она мыла пол своего дома в Назарете. И перед ней стоял ангел Гавриил.

— Я — ангел Гавриил, — произнес он сдавленным голосом. — И я пришел сообщить тебе, что у тебя родится ребенок.

— Ах! — ответила Дева Мария и вся вспыхнула. — Благодарю вас, сэр!

Но ангел скомкал следующую реплику, Мария скомкала свою, и оба, не зная, что делать дальше, продолжали растерянно стоять и молчать.

Учительница попыталась суфлировать, но, видя, что ничего не получается и сцену уже не спасти, крикнула: «Занавес!» и попросила всех присутствующих спеть гимн «Когда во граде Давида»[70].

Слова этой песни все помнили наизусть, так

---

[70] Примечания: 70

Рождественский гимн на слова стихотворения англо-ирландской поэтессы Сесил Фрэнсис Александер (1818–1895).

что в гимнарий[71] подсматривать не пришлось. Когда занавес снова отдернули, все расхохотались при виде составленного из двух частей осла, который лягался, брыкался, иакал и кивал большой головой из папье-маше. Двое рабочих сцены принесли тюк соломы и кормушку для телят.

— Вот он, мой Кевин! — шепнула миссис Редпат, легонько ткнув Бенджамина в ребра.

На сцену вышел мальчик в зеленом клетчатом халате. Голова у него была замотана в оранжевое полотенце, к подбородку приклеена черная борода.

Близнецы, выпрямив спину, стали тянуть шею, чтобы лучше его рассмотреть, но, вместо того чтобы встать к публике лицом, Иосиф-плотник робко отвернулся куда-то вбок и адресовал свою реплику в сторону задника:

— Сэр, у вас не найдется для нас комнаты? Моя жена родит с минуты на минуту.

— У меня все номера заняты, — отвечал Реувен, хозяин постоялого двора. — Весь город битком набит народом — все ринулись платить налоги. Я тут ни при чем, это римское правительство виновато!

---

[71] Примечания: 71

Гимнарий — собрание песен духовного содержания для различных церковных обрядов.

Потом он показал пальцем на ясли и сказал:

— А впрочем, у меня есть хлев — вот он. Если хотите, можете там переночевать.

— О, спасибо вам большое, сэр! — обрадовалась Дева Мария. — Это вполне устроит нас, мы люди скромные.

И она принялась перекладывать солому. Иосиф по-прежнему стоял спиной к зрителям. Вдруг он воздел правую руку к небесам.

— Мария! — громко прокричал он, внезапно набравшись смелости. — Я что-то вижу вон там! Мне кажется, это крест!

— Крест? Ох, не произноси лучше это слово. Оно напоминает мне о Цезаре Августе!

Сквозь двойной слой вельвета Льюис почувствовал, как задрожала коленка брата, потому что Иосиф-плотник вдруг обернулся — и улыбался в их сторону.

— Да, — сказала Дева Мария в конце последней сцены представления, — мне кажется, это самый прекрасный младенец на всем белом свете.

Близнецы Джонсы тоже перенеслись в Вифлеем. Но они смотрели вовсе не на пластмассового пупса. Не на хозяина постоялого двора и не на пастухов. Не на осла из папье-маше, не на живых овец, щипавших сено. Не на Мельхиора с

коробкой конфет. Не на Каспара с флаконом шампуня. Не на темнокожего Бальтазара в короне из красного целлофана и с баночкой имбирного порошка. Не на херувимов и серафимов, не на Гавриила, даже не на Деву Марию. Они видели лишь одно овальное лицо с серьезными глазами и черной челкой под тюрбаном из банного полотенца. Когда хор ангелов запел: «Мы тебя качаем»[72], братья тоже закачали головами в такт, и на их цепочки от часов закапали слезы.

После представления священник сделал несколько фотоснимков со вспышкой. Пока матери переодевали детей в молельне, близнецы дожидались снаружи.

Вдруг донесся пронзительный крик:

— Кевин!.. Кевин!.. Если ты сейчас же сюда не подойдешь, я тебя отшлепаю!

---

[72] Примечания: 72

«Колыбельная» версия песни группы Queen «We will rock you».

43

Это был милый мальчик, живой и ласковый, ему нравились фруктовые пироги дяди Бенджамина, нравилось кататься вместе с дядей Льюисом на тракторе.

В школьные каникулы мать присылала его погостить на целые недели, и близнецы думали о приближении первого учебного дня с не меньшей тоской, чем сам Кевин.

Сидя на брызговике трактора, он любил наблюдать, как лемех плуга вонзается в стерню, а серебристые чайки с пронзительными криками носятся над свежевзрыхленной бороздой. Он видел, как рождаются ягнята, как собирают урожай картофеля, как телится корова, а однажды наблюдал, как прямо на поле появился на свет жеребенок.

Близнецы говорили, что когда-нибудь все это достанется ему.

Они окружали его заботой, словно маленького принца, прислуживали ему за столом, твердо запомнили, что он не любит сыр и свеклу; они отыскали для него на чердаке старый волчок, который гудел, как довольная пчела. Пытаясь

идти по следам собственного детства, они даже подумывали, не свозить ли мальчика на море.

Иногда по вечерам глаза у Кевина слипались от сна, он ронял голову на руки и, зевая, просил:

— Пожалуйста, отнесите меня наверх.

И тогда они относили его в свою бывшую спальню и переодевали в пижаму, а потом на цыпочках удалялись, оставив ночной свет.

На огороде Кевин высадил латук, редиску и морковку, а еще целую грядку душистого горошка. Ему нравилось слушать, как звонко гремят семена в пакетиках, но двулетние растения сеять не желал.

— Ждать целых два года! — ныл он. — Нет, это слишком долго!

Захватив ведро, он уходил на охоту к живым изгородям и подбирал там все, что привлекало его внимание: жаб, улиток, мохнатых гусениц. Однажды он притащил землеройку. А когда его головастики превратились в лягушат, он выстроил для них лягушачий замок на большом булыжнике посреди старой каменной лохани.

Примерно в ту пору фермер, живший ниже Кум-Кринглина, устроил у себя турбазу с прогулками на пони, и в летние месяцы через Видение порой проезжало верхами до пятидесяти мальчиков и

девочек, поднимавшихся к вершине горы. Часто они забывали закрыть ворота; они истоптали все пастбище, превратив его в грязное месиво. Кевин сделал табличку с предостерегающей надписью: «Посторонним вход запрещен!»

Однажды днем Льюис косил крапиву у свинарника и вдруг увидел, как через поле к нему бегом несется Кевин.

— Дядя! Дядя! — кричал он, тяжело дыша. — Там кто-то ужасно забавный.

Он потащил Льюиса за руку, и они вместе приблизились к краю лощины.

— Тсс! — Кевин поднес палец к губам. Потом, раздвинув листья, показал на что-то в зарослях. — Гляди! — прошептал он.

Льюис поглядел — и ничего не увидел.

Солнечные лучи процеживались сквозь ветки лещины, и берег ручья пестрел пятнами света. Звонко журчала вода. Сквозь гущу лесных купырей прорастали рахисы молодых папоротников. Ворковали вяхири. Где-то рядом трещала сойка, вокруг мшистого пенька щебетало и чирикало множество птичек помельче.

Вдруг сойка поднялась со своего насеста и вскочила на пенек. Маленькие птички разлетелись в стороны. Пенек зашевелился.

Это была Мег из Скалы.

— Тсс! — Кевин опять выставил палец.

Мег согнала сойку, и другие птички снова слетелись клевать корм с ее руки.

Кожа ее, да и вся одежда, была заляпана рыжей грязью. Трухлявым пеньком оказалась ее полусгнившая шляпа. А мхом, ползучими побегами и папоротниками — ее изношенные, изорванные зеленые фуфайки, приметанные одна к другой.

Некоторое время они понаблюдали за ней, а потом зашагали обратно.

— Она чудесная, правда? — сказал Кевин, утопавший по колено в нивяниках.

— Правда, — отозвался его дядя.

Как только начались рождественские каникулы, Кевин заявил, что хочет сделать «тете птичнице» подарок. Он купил на собственные карманные деньги шоколадный торт с глазурью; а так как по четвергам Джим всегда уходил на рынок, они с Льюисом дождались четверга, чтобы наведаться в Скалу с гостинцем.

Когда они пробирались к ферме через нагроможденные вокруг нее оборонительные укрепления, над горой нависали аспидные тучи. Ветер хлестал и морщил поверхность пруда. Мег была в доме — мешала собачью похлебку, запустив руки

по локти в ведро. Увидев незваных гостей, она явно смутилась.

— Я принес тебе торт, — с запинкой проговорил Кевин, сморщив нос от вони.

Опустив глаза, Мег ответила:

— Вижу, спасибо большое! — и быстро выбежала из дома вместе с ведром.

Они услышали, как она кричит:

— А ну, заткнитесь, паршивцы!

Вернувшись в дом, Мег пояснила:

— Собаки совсем взбесились, сладу нет.

Она перевела взгляд с торта на мальчика и вдруг просияла:

— А может, я вам чаю сделаю, хотите?

— Хотим.

Она расщепила несколько веток топориком и развела огонь. Сюда уже много лет никто не заглядывал на чай. Она смутно припомнила тот день, когда мисс Файфилд учила ее накрывать на стол. Мег запорхала по комнате с проворством танцовщицы, и вот уже, выхватив откуда-то щербатую чашку и надтреснутую тарелку, сервировала стол на три персоны, причем каждому положила по вилке и ножу. Бросила в заварочный чайник щепотку чая, проткнула консервную банку со сгущенным молоком. Вытерла хлебный

нож о бриджи, отрезала три толстых ломтя торта, а крошки бросила парочке бентамок.

— Бедняги! — сказала Мег. — Они от холода чуть не околели, и я перенесла их в дом, пусть здесь кормятся.

Робость покинула ее. Она сообщила, что Сара повезла Джима продавать уток.

— Так они сказали! — Она уперла руки в бедра. — Но ничегошеньки они не выручат, утки-то совсем старые. Пусть бы жили себе, вот что я думаю! Пусть бы жили! И кролики пусть живут! И зайцы! И горностаи пусть себе резвятся! Да и лисы тоже, я им зла не желаю. Пусть все твари Божии живут!..

Она обхватила свою кружку обеими руками и стала покачивать головой туда-сюда. Когда Льюис упомянул про туристов, которые стали кататься здесь на пони, щеки у нее сморщились от улыбки:

— Да-да, видала я их. Пьяные в стельку! Визжали, орали и валились из седла, пьяные как свиньи.

Кевин был в ужасе от грязи и запустения в доме, ему не терпелось поскорее уйти.

— Отрезать тебе еще кусок? — спросила Мег.

— Нет, спасибо, — ответил он.

Она отрезала себе — побольше — и с жадностью съела. Теперь Мег не стала бросать крошки курам, но собрала их и отправила в рот. Потом облизала кончики пальцев, один за другим, рыгнула и похлопала себя по животу.

— Ну, мы пойдем, — сказал Льюис.

Мег опустила глаза. И приунывшим голосом спросила:

— Сколько я вам должна за торт?

— Это подарок, — ответил Кевин.

— Тогда заберите его с собой. — Мег запихала остатки торта обратно в коробку и грустно накрыла его крышкой: — Не хочу, чтобы Джим застукал меня с тортом.

Выйдя во двор, Льюис помог Мег стащить брезент с нескольких тюков сена. Затаившаяся в складках дождевая вода скатилась вниз и пролилась Кевину на резиновые сапоги. На кровле амбара громыхал на ветру наполовину оторвавшийся жестяной лист. Внезапно налетевший порыв ветра поднял его в воздух, он полетел, как чудовищная птица, в их сторону и с лязгом приземлился на мусорную кучу.

Кевин упал плашмя на землю, вжавшись в грязь.

— Проклятый ветрище, — заметила Мег. —

Крышу сдувает!

Мальчик крепко держался за дядину руку, когда они шагали по бугристому полю. Он весь перепачкался и хныкал от страха. В разрывах между летящими тучами сверкали кусочки синевы. Собаки одна за другой перестали лаять. Льюис с Кевином оглянулись и увидели Мег, стоящую возле ив и зовущую своих утят. Ветер доносил ее голос:

— Ути-ути! А ну-ка, идите сюда! Ути-ути!..

— Как ты думаешь, он поколотит ее? — спросил мальчик.

— Не знаю, — ответил Льюис.

— Наверное, он очень гадкий человек.

— Джим не такой уж злой.

— Не хочу больше туда ходить.

44

Кевин рос с немыслимой быстротой: ни Бенджамин, ни Льюис не поспевали за ним. Казалось, еще прошлым летом мальчик пел дискантом — и вот наступило следующее, а он уже превратился в длинноволосого смельчака и лихо управлял мустангом на представлении в Леркенхоупе.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, близнецы написали завещание в его пользу. Адвокат Оуэн Ллойд указал им на то, что предпочтительнее еще при жизни передать Видение в собственность Кевина. Нет-нет, он, конечно, никоим образом не собирается влиять на их решение: но если они проживут еще пять лет, тогда за вступление в наследство не придется платить пошлину государству.

— Не придется платить? — оживился Бенджамин и, чтобы лучше слышать адвоката, навис над столом.

— Ничего — только гербовый сбор, — ответил мистер Ллойд.

Уже одна мысль о том, что можно обжулить правительство, показалась Бенджамину весьма соблазнительной. Кроме того, он считал, что Ке-

вин не способен ни на что дурное. Если у него и были недостатки, то в точности такие, как у Льюиса, — и это делало их даже симпатичными.

Конечно же, продолжал мистер Ллойд, Кевин по закону будет обязан заботиться о них в старости, — особенно, добавил он, чуть понизив голос, «если кто-нибудь из вас двоих заболеет…»

Бенджамин бросил вопросительный взгляд на Льюиса, и тот кивнул.

— Вот и хорошо, — сказал Бенджамин и поручил адвокату составить договор дарения. Кевин должен был унаследовать всю их собственность по достижении двадцати одного года — а близнецам к тому времени исполнится восемьдесят.

Как только договор был подписан, мать Кевина миссис Редпат принялась донимать их. Пока вопрос о наследовании оставался подвешенным в воздухе, она соблюдала дистанцию и держалась в рамках вежливости. А тут она буквально в одночасье сменила тактику. Отбросив всякие приличия, стала вести себя так, словно ферма принадлежала ей по праву рождения, словно близнецы обманом лишили ее собственности. Она клянчила деньги, рылась в их ящиках и отпускала колкие шутки о том, что они спят в одной кровати.

Она говорила:

— Как можно готовить на этой старой плите! Неудивительно, что еда отдает сажей! Вы хоть слышали о том, что существуют электрические плиты?.. А этот каменный пол? В наше-то время! Это так негигиенично! Здесь нужен слой гидроизоляции, а сверху — хорошенькая виниловая плитка.

Однажды в воскресенье, просто чтобы испортить всем обед, она вдруг объявила, что ее мать — богатая вдова в Калифорнии — жива и здорова.

Бенджамин от удивления выронил вилку, а потом покачал головой.

— Навряд ли, — сказал он. — Она бы написала, если б жива была.

Тут миссис Редпат разразилась крокодиловыми слезами. Никто никогда ее не любил. Она оказалась никому не нужна. От нее всегда отказывались, отворачивались.

Желая утешить ее, Льюис достал шкатулку с серебром, завернутую в зеленое сукно, и вынул оттуда крестильную ложечку Ребекки. Глаза у миссис Редпат вдруг сузились. Она резким, требовательным тоном спросила:

— А что еще у вас есть из маминого?

Близнецы отвели ее на чердак, отперли сундук и разложили все детские вещицы, остававшиеся от их сестры. Солнечный зайчик, упавший через люк на крыше, забегал по клетчатому пальто, белым шелковым чулкам, сапожкам с застежками на пуговицах, берету с помпоном и блузкам с кружевными оторочками.

Близнецов так тронул вид этих грустных смятых реликвий, что они невольно перенеслись в те другие, совсем уже далекие воскресные дни, когда вся семья ездила на заутреню в отцовской двуколке. А потом миссис Редпат, даже не спросив у них разрешения, завернула все эти вещички в узел и была такова.

Кевин тоже начал огорчать их.

Он был очень обаятелен — Бенджамин даже подарил ему мотоцикл, — но в то же время оказался безнадежно ленив и пытался скрыть свою лень под болтовней, уснащенной техническим жаргоном. Он высмеивал агротехнические методы, которым следовали близнецы, и донимал их бесполезными рассуждениями о силосовании и искусственном осеменении.

По идее, два дня в неделю Кевин должен был работать на ферме, а три дня — посещать занятия в местном политехническом колледже. На деле же

он прогуливал и работу, и учебу. Появлялся лишь время от времени — в солнцезащитных очках и джинсовой куртке, украшенной заклепками и черепом. С запястья у него свисал маленький транзисторный приемник. На предплечье красовалась татуировка — змея. Он попал в дурную компанию.

Весной семьдесят третьего старую ферму в Гиллифайноге купила молодая американская пара, Джонни и Лейла, чтобы устроить там «общину». Кое-какой капитал у них имелся. О магазине здоровой пищи, который они открыли на Замковой улице, судачил весь город; а Льюис Джонс, зайдя туда однажды и все осмотрев, сказал потом, что «это похоже на склад кормов для скота».

Некоторые члены коммуны расхаживали в просторных оранжевых одеяниях и брили головы. Другие собирали длинные волосы в хвостики и одевались по моде викторианской эпохи. Они держали стадо белых коз, играли на гитаре и на флейте, а иногда их видели в саду при общинном доме: они сидели кружком, скрестив ноги и полузакрыв глаза, ничего не говорили и не делали. Миссис Оуэн Морган распустила слух, будто эти хиппи спят вповалку, «как свиньи».

В августе того же года Джонни выстроил прямо

в огороде странную алую башню, на которой вывешивались похожие на ленты флажки, изукрашенные розовыми цветами и вязью черных букв. По мнению миссис Морган, это были какие-то культовые значки. Она считала их индийскими надписями.

— Значит, они паписты, да? — переспросил Льюис, не расслышав ее слова из-за тарахтенья трактора.

Они стояли возле молельни в Майсифелине.

— Да нет же! — прокричала она. — Папа — это в Италии!

— Ну да, — кивнул он.

Через неделю он подвез рыжебородого великана, одетого в короткий жилет из домотканой материи. Ноги у него были обмотаны мешковиной: по его словам, кожаную обувь он не носит по принципиальным соображениям.

Высаживая парня у ворот общинного дома, Льюис спросил, что значат эти черные буквы на флажках. Тот поклонился, молитвенно сложил руки и очень медленно, певуче произнес:

— ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ! — и потом так же медленно перевел: — О жемчужина, сияющая в цветке лотоса!

— Большое спасибо, — поблагодарил Льюис,

дотронулся до края своей шляпы и включил передачу.

После этой встречи близнецы изменили свое мнение о хиппи, и Бенджамин высказал догадку, что они «просто так отдыхают». Однако им все равно не хотелось, чтобы Кевин крутился у них. Однажды он явился к дядьям в разгар зеленоватого заката, неуверенной походкой, покачиваясь, прошел по садовой дорожке, вошел в кухню с каким-то остекленевшим, отсутствующим взглядом и бросил свой желтый шлем на кресло-качалку.

— Ты что, напился? — спросил Бенджамин.

— Нет, дядя, — усмехнулся мальчик. — Грибов наелся.

45

Перешагнув порог семидесятилетия, близнецы неожиданно обрели нового друга в лице Нэнси — последней из рода Бикертонов. Теперь она жила в старом ректорском доме в Леркенхоупе.

Хотя она страдала артритом и близорукостью и не очень хорошо справлялась с педалями, ей как-то удалось получить водительские права и с некоторых пор она постоянно разъезжала на своем стареньком драндулете «Санбим». Про Видение она знала всю жизнь и теперь выразила желание увидеть ферму. А побывав там однажды, приезжала снова и снова, всегда без предупреждения — привозила с собой к вечернему чаепитию печенье из крутого теста и пятерых мопсов.

Аристократы нагоняли на нее скуку. Кроме того, ее с Джонсами объединяли некоторые воспоминания о счастливых годах до Первой мировой войны. Она сказала, что Видение — самая симпатичная ферма, какую она только видела, и велела братьям выставить миссис Редпат за дверь, если та вздумает причинить им «хоть капельку хлопот».

Она настойчиво приглашала братьев к себе

в ректорский дом, где они не бывали с тех самых пор, как скончался преподобный Тьюк. Они раздумывали несколько недель, прежде чем решились туда наведаться.

Когда они пришли, Нэнси — в розовом платье и шляпке из рафии — стояла в середине цветочного бордюра и выдергивала вьюнок, угрожавший задушить флоксы.

Льюис прокашлялся.

— Ах, это вы! — обернулась Нэнси.

Она давно перестала заикаться.

Два пожилых джентльмена стояли бок о бок на лужайке и нервно трогали свои шляпы.

— Как я рада, что вы пришли! — сказала Нэнси и устроила им экскурсию по своему саду.

Пятна на ее лице были замазаны густым слоем косметики, на исхудалой руке метались и стукались друг о дружку два браслета из слоновой кости.

— Вот это, — она махнула на пышное облако белых соцветий, — *Crambe cordifolia*, катран сердцелистный.

Она то и дела извинялась за беспорядок:

— Садовника днем с огнем не сыщешь!

Колонны перголы обвалились, сад камней превратился в холм, заросший сорняками; от одних

рододендронов остались только стебли, другие погибли. Остальные кустарники, высаженные когда-то священником, «вернулись обратно в джунгли». На двери сарая для пересаживания растений близнецы нашли ту самую подкову, которую прибили туда в детстве на счастье.

Ветер разносил пушок с семенами чертополоха над гладью озера с кувшинками. Братья стояли у кромки воды, наблюдая, как под листьями кувшинок снуют золотые рыбки, и снова мысленно видели лодку, а в ней — мисс Нэнси и ее брата, сидевшего на веслах. Экономка позвала их пить чай.

Пройдя в дом через двустворчатые стеклянные двери, они окунулись в море реликвий.

Нэнси в силу своего характера была неспособна выбросить хоть что-нибудь, и потому восемь комнат бывшего дома викария она забила всей дорогой ее сердцу рухлядью из пятидесяти двух комнат родового замка.

На одной стене гостиной висел траченный молью гобелен, изображавший Товита, на другой — большое полотно с Ноевым ковчегом и горой Арарат, на вязкой поверхности которой

пузырились волдыри битюма[73]. Стояли там «готические» буфеты, бюст Наполеона, половина рыцарского доспеха, слоновья нога и несчетное множество других крупных охотничьих трофеев. Пеларгонии в горшках роняли желтеющие листья на стопки брошюр и номеров «Сельской жизни». Попугайчик цеплялся когтями за прутья своей клетки; под консолью деловито бродило домашнее вино в больших оплетенных бутылях, на ковре там и сям виднелись побуревшие пятна мочи, которые оставили поколения страдавших недержанием мопсов.

С громыханьем подкатилась тележка с чайными приборами.

— По-китайски или по-индийски?

— В Индии жила мама, — невпопад проговорил Бенджамин.

— Тогда вам нужно познакомиться с моей племянницей, Филиппой! Она родилась в Индии! Обожает ее! Все время туда ездит! Но я спрашивала про чай.

— Большое спасибо, — отозвался Бенджамин.

На всякий случай Нэнси налила им обоим индийского чая с молоком.

---

[73] Примечания: 73

Битюм — особая краска, употребляемая в масляной живописи.

В шесть часов они переместились на террасу. Нэнси подала гостям вино из бузины; они сидели и предавались воспоминаниям о днях минувших. Близнецы напомнили ей о персиках мистера Эрншо.

— Ну, — протянула она, — вот это был настоящий садовник, не чета нынешним! Он бы очень огорчился, если бы увидел все это, правда?

Вино развязало Льюису язык. Краска бросилась ему в лицо, и он сознался, что однажды мальчишками они спрятались здесь за деревом и подглядели за их с Реджинальдом катаньем на лодке.

— Правда? — вздохнула она. — Если бы я только знала…

— Да, — усмехнулся Бенджамин. — Слышали бы вы, что мой брат сказал тогда маме!

— И что же? А ну-ка, говорите! — и она поглядела Льюису прямо в глаза.

— Нет-нет, — ответил тот, глуповато улыбаясь. — Нет, не могу.

— Он тогда заявил вот что, — ответил вместо него Бенджамин. — «Когда я вырасту, я женюсь на мисс Бикертон».

— Ах так? — Она хрипловато рассмеялась. — Ну вот, он вырос. Чего же мы ждем?

Под балками карниза щебетали городские ласточки. Вокруг левкоев гудели пчелы. Нэнси с грустью заговорила о своем брате Реджи:

— Нам всем было так его жалко! Он же потерял ногу, вы помните? Но он был, конечно, непутевый. Ему нужно было жениться на той девушке. Она бы из него человека сделала. И во всем оказалась виновата я.

В течение многих лет она пыталась подступиться к Рози, как-то загладить перед ней вину брата, но та неизменно захлопывала дверь у нее перед носом.

Они немного помолчали. В свете заходившего солнца падуб украсился золотым ободком.

— Боже мой! — тихо проговорила Нэнси. — Ну и норов у этой женщины!

Всего неделю назад она наблюдала из машины за Рози: согбенная, косолапая, в вязаной шапке, та постучалась в дверь к викарию, чтобы забрать свой еженедельный конверт с двумя пятифунтовыми бумажками внутри. Только Нэнси и викарий знали, откуда берется этот конверт, а увеличить сумму она не решалась: тогда Рози заподозрила бы неладное.

— Обязательно приходите еще. — Нэнси крепко пожала руку обоим близнецам. — Мы очень при-

ятно провели время. Обещайте мне, что придете!

— А вы к нам еще заглянете? — спросил Бенджамин.

— О, непременно! Я к вам заявлюсь в следующее же воскресенье! И захвачу с собой племянницу, Филиппу! И вы с ней всласть посудачите об Индии.

Чаепитие, устроенное в честь Филиппы Таунсенд, удалось на славу.

Бенджамин хлопотал изо всех сил, старательно готовил пирог с вишней по маминому рецепту; когда он приподнял крышку с фарфорового блюда с синим узором в китайском стиле, почетная гостья захлопала в ладоши и воскликнула:

— Вот это да! Коричные тосты!

После того как со стола убрали, Льюис развернул альбом Мэри с индийскими зарисовками, и Филиппа принялась листать его и называть все, что видела и опознавала:

— Вот это Бенарес! А это Сарнатх!.. Вы только посмотрите — это же фестиваль Холи! Все осыпаны красным порошком, как красиво!.. А вот слуга с опахалом, чудесно!

Это была низкорослая, отважная женщина с седоватой челкой и морщинками, которые собирались вокруг сине-серых глаз, когда она

смеялась. Каждый год она проводила несколько месяцев в Индии — совершала одиночные путешествия на велосипеде. Долистав до предпоследней страницы альбома, она вдруг замерла с потрясенным выражением лица при виде акварели, на которой изображалось здание вроде пагоды, одиноко стоявшее среди хвойных деревьев на фоне далеких Гималаев.

— Глазам своим не верю! — громко воскликнула она. — Я-то думала, что я — единственная белая женщина, которая видела этот храм.

Оказалось, что и Мэри Латимер тоже видела его — в девяностых годах прошлого столетия.

Филиппа сообщила близнецам, что пишет книгу об английских путешественницах девятнадцатого века. И спросила, можно ли ей снять копию с этой акварели, чтобы использовать потом как иллюстрацию.

— Конечно можно, — сказал Бенджамин и даже уговорил ее забрать альбом с собой.

Через три недели альбом вернулся к ним заказной почтой. В ту же бандероль оказалась вложена книжка с цветными иллюстрациями под названием «Чудеса британского Раджа»[74]. И хотя ни

---

[74] Примечания: 74

Слово «Радж» в данном случае означает британские колонии в Индии *(British Raj)*.

один из братьев толком не понимал, что именно там показывалось, этот подарок сделался одним из наиболее ценных домашних сокровищ.

Примерно раз в месяц в местном зале в Леркенхоупе проходили заседания Раднорского общества любителей древности; и всякий раз, когда там устраивались лекции с показом слайдов, Нэнси брала с собой «двух милых дружков». За год они прослушали лекции на самые разные темы — например, «Старинные английские купели в Херефордшире» или «Паломничество в Сантьяго». Когда же пришел черед Филиппы Таунсенд выступить там с рассказом об английских путешественницах в Индии, она поведала публике об «очаровательном альбоме» с фермы Видение; близнецы сидели очень довольные в первом ряду, и в петлицах у них красовались одинаковые красные туберозы.

Потом, когда в дальнем конце зала подавали угощение, Льюиса отвел в угол какой-то мясистый человек с бегающими глазками в лиловой рубашке в полоску. Он говорил очень быстро, проглатывая часть звуков, скаля потемневшие зубы и обмакивая имбирное печенье в кофе.

Он всучил Льюису свою визитную карточку, на которой было написано: «Вернон Коул — Анти-

кварный „Пендрагон“, Росс-он-Уай», и спросил, можно ли нанести им визит.

— Да, можно, — ответил Льюис, не вполне понимавший, что значит «антикварный», но подумавший, что это должно быть как-то связано с любителями старины. — Будем рады вас видеть.

На следующий же день мистер Коул приехал на «Фольксвагене» с прицепом.

Моросил дождик, гора тонула в тумане. Собаки подняли лай, когда незнакомец начал пробираться к дому, обходя лужи цвета кофе с молоком. Льюис с Бенджамином в это время чистили коровник и не очень обрадовались тому, что их отрывают от этого занятия, но, чтобы не быть невежливыми, воткнули навозные вилы в дымящуюся кучу и попросили гостя проследовать в дом.

Торговец антиквариатом вел себя совершенно непринужденно. Он без малейшего стеснения осматривал комнату; перевернул вверх дном блюдце и сказал: «Далтон»; пристально вгляделся в краснокожего индейца, чтобы удостовериться, что это всего лишь репродукция; потом поинтересовался, нет ли в доме апостольских ложечек.

Через полчаса, размазывая клубничный джем по бутерброду, он спросил:

— Вы когда-нибудь слышали о прорицателе Нострадамусе? Никогда? Ну и ну!

Затем он сообщил, что Нострадамус жил много веков назад во Франции, но при этом «точь-в-точь» предсказал появление Гитлера; антихрист, о котором он говорил, скорее всего, воплотился в полковнике Каддафи, а еще он предрекал, что в 1980 году наступит конец света.

— В тысяча девятьсот восьмидесятом?

— В тысяча девятьсот восьмидесятом.

Лица у близнецов вытянулись, и они уныло уставились на свои чайные приборы.

После этого мистер Коул плавно закруглил свой монолог, подошел к пианино, дотронулся до секретера, когда-то принадлежавшего Мэри, и сказал:

— Это просто ужасно!

— Что ужасно?

— Прекрасное маркетри — и в таком состоянии! Это просто кощунство!

Шпон на откидной крышке секретера вспучился и растрескался, нескольких кусочков мозаики недоставало.

— Его нужно реставрировать! — продолжал делец. — Я как раз знаю одного мастера.

Близнецам неприятно было думать о том, что

мамин секретер куда-то увезут, но мысль о том, что они загубили реликвию, напоминавшую им о Мэри, причиняла им еще большее огорчение.

— Вот как мы сделаем, — продолжал трещать их гость. — Я сейчас заберу его с собой и покажу мастеру. А если мастер не управится в течение недели, я просто привезу секретер обратно.

Он достал из кармана маленький блокнот с отрывными листками и застрочил что-то неразборчивое:

— Так… мм… сколько мы тогда напишем, а? Сто фунтов?.. Сто двадцать! Так-то оно лучше будет! Ну вот, распишитесь здесь, хорошо?

Льюис подписался. Бенджамин тоже. Агент оторвал нижний листок с копией расписки, подхватил свою «находку», пожелал им приятного вечера и ушел.

После двух бессонных ночей близнецы решили отправить Кевина за своим секретером. Но не успели: почтальон доставил им выписанный чек — на 125 фунтов.

От изумления на них нашло головокружение, и им пришлось немножко посидеть.

Кевин арендовал машину и предложил отвезти их в Росс, но у них не хватило смелости. Нэнси предлагала лично «отлупить» этого негодяя, но,

как-никак, ей было восемьдесят пять лет. А когда они обратились к адвокату Ллойду, он взял у них расписку, разобрал накарябанные там слова: «Один старинный секретер Шератон. Для продажи или возвращения» и покачал головой.

Мистер Ллойд все-таки направил торговцу написанное официальным юридическим языком письмо, но вскоре получил не менее официальный ответ: адвокат мистера Коула заявлял, что затрагивается профессиональная репутация его клиента, и угрожал судебным иском.

Оставалось только развести руками.

Разозленные и обесчещенные, близнецы удалились в свою скорлупу. Если бы они лишились секретера из-за кражи или пожара, они еще как-то примирились бы с потерей. Но потеряли-то они его из-за собственной глупости, по вине человека, которого сами же пригласили в дом, который сидел за столом Мэри и пил чай из ее чашек. Эта мысль так терзала и мучила их, что довела до болезни.

Бенджамин слег с приступом бронхита, Льюис — с воспалением внутреннего уха, и на выздоровление ему понадобилось больше времени (хотя, пожалуй, окончательно он так и не поправился).

С тех пор они жили в вечном страхе перед гра-

бителями. По ночам баррикадировали входную дверь. Льюис купил ящик патронов и держал их под рукой, рядом со старым ружьем 12-го калибра. Однажды декабрьской ночью, когда дул сильный ветер, они услышали, как кто-то колотит в дверь. Они неподвижно лежали под одеялом, пока стук не затих, а на рассвете обнаружили Мег из Скалы, уснувшую на крыльце среди резиновых сапог.

От холода она вся закоченела. Братья отвели ее к очагу и усадили на табурет; Мег расставила ноги, уперла локти в колени, охватила руками щеки и первая нарушила молчание:

— А Джим-то помер! Да, — тихо и монотонно забубнила она, — ноги у него замшивели, руки стали красными, как огонь. Я уложила его в постель, он и уснул. Ночью просыпаюсь, а собаки-то тявкают, и Джим уже не в кровати, а на полу лежит — видать, стукнулся сильно, голова вся искровавилась. Но он живой был и разговаривал, и тогда я его обратно уложила.

«Ну, не тужи! — говорит. — Ты корми их! — говорит. — Корми овец-то! Давай им сено, если будет! Корми их, голодом не мори! Пони давай остатки пирога, пусть едят! А солнце-то высоко! Солнце светит! Я его вижу! Солнце светит сквозь сливы…»

Так он и сказал — про сливы. А я пощупала его ноги — холодные они. Пощупала еще — а он уже весь холодный. И собаки как вдруг завоют, завоют, и затявкают, и ну с цепей рваться… Тогда я поняла, что Джим помер!..

46

Через час после похорон Джима четверо их главных участников протиснулись в зал для курящих в «Красном драконе», заказали суп и картофельную запеканку с мясом и попытались согреться. День был сырой, моросило. Обувь у всех промокла от долгого стояния в кладбищенской слякоти. Манфред и Лиззи были одеты в черное и серое; на Саре были просторные штаны и синяя нейлоновая куртка с капюшоном, а Фрэнк-перевозчик, грузный мужчина в твидовом костюме, который был ему мал на несколько размеров, сидел понурив голову от смущения, уставившись куда-то себе в пах.

У бара какой-то человек, перепивший сидра, со стуком опустил свою кружку, рыгнул и сказал:

— Уф! Вот это наше западное вино!

Мужчина с девушкой играли в видеоигру — исходившие от автомата электронные звуки разносились по всему залу. Манфред напряженно думал о том, что нужно как-то помешать жене поссориться со свояченицей. Он перегнулся через стол и спросил игроков:

— Во что играете, как называется?

— «Космические захватчики», — хмуро ответила девушка и опрокинула в рот арахис из пакетика.

Лиззи поджала свои бесцветные губы и не говорила ни слова. Зато Сара, уже румяная от близости очага, расстегнула парку и решила нарушить молчание.

— Вкусный суп, — сказала она.

— Французский луковый, — отозвалась другая женщина.

Снова наступила тишина. В бар вошла группа альпинистов и свалила рюкзаки в кучу. Фрэнк даже не притронулся к своему супу и по-прежнему сидел склонив голову. Его жена еще раз попыталась завязать разговор.

Она повернулась к огромной радужной форели в стеклянном ящике над каминной полкой и сказала:

— Интересно, кто поймал эту рыбу.

— Очень интересно, — равнодушно отозвалась Лиззи и принялась дуть на ложку с супом.

Пришла подружка бармена — принесла запеканку.

— Да, об этой форели тут все только и говорят, — сказала она с заметным ланкаширским выговором. — Ее поймал один американец

в Росгохском питомнике. Он был военный летчик. Установил бы рекорд для Уэльса, если б не выпотрошил ее. Оставил ее здесь, чтобы сделали чучело.

— Вот это рыба! — кивнул Манфред.

— Самка, — продолжила женщина. — Видно по форме челюсти. И к тому же каннибалка. Иначе бы в такую великаншу не вымахала. Чучельщик намаялся с ней, пока глаза нужного размера нашел.

— Да уж, — сказала Сара.

— Ну а где одна рыба, там и другая. Так рыбаки говорят.

— И тоже самка? — спросила Сара.

— Думаю, самец.

Сара поглядела на свои часы и увидела, что уже почти два. На половину третьего у них назначена здесь встреча с адвокатом Ллойдом. Она в упор посмотрела на Лиззи:

— А как же Мег?

— Что Мег?

— Где она будет жить?

— А мне откуда знать?

— Где-то ей нужно жить.

— Надо купить ей жилой фургончик и десяток кур, она будет рада-радехонька.

— Нет! — вмешался в разговор Манфред, и краска бросилась ему в лицо. — Не будет она рада. Выгони ее из Скалы — она с ума сойдет.

— Ну не может же она и дальше жить в этом свинарнике! — огрызнулась Лиззи.

— Это почему же? Она там всю жизнь прожила.

— Да потому, что Скалу нужно продать!

— Что-что ты сказала? — Сара резко повернула голову, и ссора разгорелась не на шутку.

Сара считала, что Скала должна достаться ей. Двадцать лет она выручала Джима, спасала его от нищеты, и он пообещал завещать Саре все имущество. Время от времени она хватала его за руку и допытывалась: «Ну как, сходил ты к адвокату?» — «Да, Сара, — говорил он, — я был у адвоката Ллойда и сделал все, как ты просила».

Она рассчитывала продать ферму сразу же после его смерти. У Фрэнка дела с перевозками шли неважно, к тому же продажа Скалы помогла бы свить «уютное гнездышко» для ее дочки Эйлин. У нее даже покупатель имелся на примете — делец из Лондона, который собирался строить домики для отдыха вроде шведских горных хижин.

Лиззи же считала Скалу своим родным домом — наравне с другими, и не собиралась отсту-

паться от причитавшейся ей доли наследства. Пререкание между ними продолжалось — они по очереди перешвыривались репликами, причем Сара сделалась плаксивой и истеричной. Она без умолку тараторила, повторяя, что вечно жертвовала собой, тратила деньги, ездила на ферму через снежные заносы, много раз спасала их от голодной смерти.

— И ради чего? Чтобы просто по зубам получить, да?

Потом Лиззи с Сарой и вовсе перешли на крики и вопли, и хотя Манфред кричал им: «Уймитесь вы!», а Фрэнк: «Эй, вы! А ну заткнитесь!» — обед в пабе едва не перерос в побоище.

Бармен попросил их покинуть заведение.

Фрэнк оплатил счет, они вышли на Широкую улицу и, старательно обходя жидкую грязь, направились к конторе адвоката. Обе женщины побледнели, когда мистер Ллойд приподнял очки и сообщил им:

— Завещания нет.

Более того, поскольку ни Сара, ни Лиззи, ни Мег не приходились Джиму кровными родственницами, его имущество должно было перейти к арбитражному управляющему. Затем мистер Ллойд добавил, что больше всего прав на это иму-

щество у Мег, потому что она всегда там жила.

И вот Мег осталась в Скале — одна. Она сказала:

— Я не могу жить ради мертвых. У меня есть и своя жизнь.

Морозными утрами она сидела на перевернутом ведре, согревая руки о кружку горячего чая, а синицы и зяблики слетались к ней на плечи. Когда зеленый дятел склевывал крошки с ее ладони, она представляла, будто эта птица — вестник Божий, и весь день напролет распевала песни, восхвалявшие Его.

С наступлением темноты она садилась поближе к огню и жарила себе ветчину и картошку. А потом, когда свеча гасла, сворачивалась клубком на раскладной кровати, в компании черной кошки. Вместо одеяла у нее было пальто, вместо подушки — мешок, набитый сухим папоротником.

Поскольку реальный мир мало чем отличался для нее от мира снов, ей представлялось, что она действительно играла с барсучатами, парила вместе с ястребами над горой. А однажды ей приснилось, что на нее напали какие-то чужие люди.

— Я их слышала, — рассказывала она потом Саре. — Молодой и старый. Возились там на кры-

ше. Да! Черепицу сдирали и лезли сюда вниз. Я зажгла свечу и как закричу: «А ну пошли вон, паршивцы! У меня тут ружье есть, я вам ваши дурные головы-то поотшибаю». Как сказала, так и все, шум затих.

Все услышанное лишь утвердило Сару во мнении, что у Мег «шарики за ролики совсем заехали».

Сара договорилась с лавочниками из магазина Протеро, чтобы для Мег оставляли еду в неиспользуемой бочке из-под бензина, которая стояла на обочине. Но вскоре этот тайник обнаружил Джон Фургон — красноглазый негодяй, живший в старом вагончике от ярмарочного аттракциона. Случалось, что Мег оставалась без еды на целые недели и чуть не валилась с ног от голода; а ее собаки, лишившись мяса, выли дни и ночи напролет.

Пришла весна, Сара и Лиззи принялись наперебой заискивать перед Мег. И та и другая приезжали к ней то с пирогами, то с коробками конфет, но Мег видела их насквозь и просто говорила:

— Спасибо вам большое, увидимся через неделю.

Иногда они пытались подсунуть ей на подпись

уже готовое заявление, но она смотрела на ручку как на какую-то отраву и не прикасалась к ней.

Однажды Сара приехала с прицепом, чтобы забрать пони — как свою собственность. Она направилась к хлеву, держа недоуздок, но у двери, скрестив руки, стояла Мег.

— Ты, конечно, можешь забрать его, — сказала она. — Но как быть с собаками, а?

Джим держал тринадцать овчарок, они жили взаперти в жестяных конурах, и теперь, оставшись на хлебе и воде, так отощали и запаршивели, что их опасно было спускать с цепей.

— Бедные псины, они совсем взбесились, — сказала Мег. — Их бы надо пристрелить.

— Может, к ветеринару отвезти? — с сомнением проговорила Сара.

— Ну нет, — возразила Мег. — Я не отдам их на живодерню! Привози своего Фрэнка, пусть захватит ружье, а я потом вырою яму и всех их закопаю.

Утро расстрельного дня было сырым и туманным. Мег в последний раз покормила собак и стала выводить их попарно, а затем привязывать цепями к дикой яблоне на пастбище. В одиннадцать часов Фрэнк выпил залпом немного виски, пристегнул пояс-патронташ и, выйдя в туман,

зашагал к дереву.

Мег заткнула уши, Сара тоже, а ее дочь Эйлин сидела в «лендровере» и через наушники слушала рок-музыку, лившуюся из кассетного магнитофона. Дым от пороха стелился по ветру. Наконец раздался последний жалобный визг, потом последний одиночный выстрел; из тумана вернулся Фрэнк. Он осунулся, казалось, его сейчас вырвет.

— Вот и отлично, — сказала Мег и взвалила на плечо лопату. — Спасибо вам большое.

На следующее утро она увидела, как Льюис Джонс едет на своем красном «Интернэшнл Харвестере», и подбежала к изгороди. Он заглушил мотор.

— Они приезжали и пристрелили собак, — сказала она, запыхавшись. — Бедные псины, зла никому не сделали. Не гоняли ни овец, никого. Но они же от голода подыхали, а тут и лето близко, и жара, и вонь у них в конурах, и цепи в шею впивались… до крови! А потом налетели мухи и яйца туда отложили, и в шеях у них черви завелись. Бедные псины! Потому я сама попросила их пристрелить.

Глаза у нее горели.

— Но вот что я вам скажу, мистер Джонс. Это не

собак надо наказывать, а людей!..

Вскоре после этого Сара случайно встретила Лиззи возле аптеки в Рулене. Они решили вместе выпить кофе в «Хейфоде», потому что каждая в душе надеялась, что другая развеет ужасный слух: у Мег завелся ухажер.

47

Его звали Тео из Шатра. Это был тот самый рыжебородый великан, которого Льюис Джонс однажды повстречал на улице и подвез. Свое прозвище он получил из-за купольного сооружения из молодых березовых стволов и холстины, которое он возвел на огороженном выгоне на склоне Черной горы, где жил в одиночестве — если не считать мула по кличке Макс и осла, составлявшего компанию Максу.

Его настоящее имя было Теодор. Он происходил из семьи твердолобых африканеров, которые владели плодоводческой фермой в Оранжевой республике. Тео рассорился с отцом из-за выселения каких-то работников, уехал из Южной Африки, приехал в Англию и «выпал из жизни»: на фестивале свободы под Гластонбери повстречал группу буддистов и примкнул к ним.

Следование дхарме в монастыре на Черной горе впервые привнесло в его жизнь ощущение покоя и счастья. Он охотно брал на себя любой тяжелый труд и радовался посещениям тибетского наставника-ринпоче, который изредка приезжал читать лекции по высшей медитации.

Наружность Тео иногда отпугивала людей. Однако когда они осознавали, что он и мухи не обидит, то использовали в собственных интересах его мягкий характер и доверчивость. От матери ему достался небольшой капитал, и вожаки коммуны без стеснения обращались к нему за деньгами. Во время одного финансового кризиса ему велели забрать из банка весь годовой доход и отдать коммуне.

Однажды по дороге в Рулен Тео остановился у сосновой рощи и улегся на травку. Небо было безоблачное. Шелестели колокольчики. На разогретом камне бабочка павлиний глаз то складывала, то раскладывала крылья, будто подмигивая, — и внезапно при одной мысли о монастыре Тео сделалось тошно. Выкрашенные в пурпур стены, запах ароматических палочек и пачулей, мандалы кричащих цветов, слащавые картинки — все это вдруг показалось какой-то дешевкой и безвкусицей. Он осознал, что, как бы старательно ни медитировал, сколько бы ни штудировал «Бардо Тхёдол»[75], он никогда не придет к просветлению этим путем.

Тео собрал немногочисленные пожитки и

---

[75] Примечания: 75
«Тибетская книга Мертвых».

ушел. А вскоре и другие буддисты поступили так же и уехали в Соединенные Штаты.

Он купил кусок земли — выгон на крутом склоне над рекой Уай, — и там поставил свой шатер, или скорее юрту, воспроизведя план, который приводился в одной книге о Высокогорной Азии.

Из года в год он бродил по Раднорским горам, играл на флейте кроншнепам и заучивал наизусть основные положения «Дао дэ цзин». На скалах, на створках ворот и на пнях он вырезал трехстрочные хайку, приходившие ему в голову.

Тео вспоминал, как в Африке видел бушменов Калахари — они шли по пустыне, и матери, неся детей на спине, смеялись, — и пришел к убеждению, что всем людям от рождения суждено быть странниками: как эти бушмены, как святой Франциск Ассизский. И примкнув к тем, кто идет по Пути Вселенной, можно обнаружить Великий Дух повсюду: в запахе папоротника после дождя, в гудении пчелы, в венчике наперстянки или в глазах мула, ласково глядящего на неловкие движения хозяина.

Иногда ему казалось, что даже его скромное самодельное жилище мешает ему следовать по Пути.

Однажды в ветреный мартовский день, стоя на крутом склоне с осыпями над Крайг-и-Феду, он бросил взгляд вниз и увидел крошечную фигурку Мег, которая брела, согнувшись под грузом валежника.

Он решил навестить ее, даже не подозревая, что Мег уже давно наблюдала за ним.

Она видела, как он шел извилистой тропой через гору под серым зимним дождем. Видела его фигуру на горизонте, на фоне туч. И вот теперь она стояла в дверном проеме, скрестив руки, пока он привязывал своего мула. Что-то подсказывало ей, что он не из тех незнакомцев, от которых нужно бежать и прятаться.

— А я все думала: когда же ты придешь? — сказала она. — Чай заварен. Заходи, садись.

Он почти не видел ее лица — такой густой чад стоял в комнате.

— Я расскажу тебе, что сегодня делала, — начала Мег. — Я поднялась вместе с солнцем. Покормила овец. Задала сена лошадям. Да! И черствых корок коровам бросила. Покормила птицу. Принесла хворосту. А сейчас просто сидела, чай пила и думала: надо хлев почистить.

— Я тебе помогу, — сказал Тео.

Черная кошка запрыгнула к Мег на колени,

впилась когтями в ее бриджи и поцарапала голые части ноги.

— Ай! Больно! — вскричала Мег. — Куда ты, чернушка? За кем охотишься, темная куколка? — И она залилась тонким смехом; кошка угомонилась и замурчала.

Хлев не вычищался годами: слои слежавшегося навоза поднимались от пола чуть ли на полтора метра, и телки уже терлись хребтами о стропила. Мег с Тео взялись за вилы и лопату, и к вечеру на середине двора появилась большая коричневая куча.

Мег ничем не показывала, что устала. То и дело, когда она выкидывала из хлева очередную порцию навоза, петли на ее джемперах распускались. Сквозь дыры Тео видел, что под одеждой у нее ладное, ловкое тело.

Он сказал:

— А ты крепкий орешек, Мег!

— А то! — усмехнулась она, и ее глаза вдруг сузились до монгольских щелок.

Через три дня Тео пришел снова — починить окно и перевесить дверь. Мег нашла в карманах Джимовой одежды несколько монет и упросила Тео взять плату за свою работу. И потом всякий раз, когда он помогал ей, она тянулась к завязан-

ному на узел носку и вручала Тео десятипенсовую монетку.

— На вот, возьми немножко, — говорила она.

Тео брал каждую из этих монеток так, словно в них заключалось целое состояние.

Он одолжил у кого-то металлические прутья, чтобы прочистить дымоход. Где-то в середине трубы щетка наткнулась на что-то твердое. Тео ткнул посильнее, и на решетку посыпались глыбы сажи.

Мег залилась смехом, увидев, как почернели у него лицо и борода:

— Ты же весь чумазый теперь, как черт!

Рядом с этим кротким великаном Мег чувствовала себя спокойно и не боялась ни Сары, ни Лиззи, ни другой угрозы извне.

— Пусть только сунутся, — говорила она. — Не дам им забрать моих курочек.

Если он не появлялся целую неделю, Мег совсем сникала; ей представлялось, что вот-вот придут «люди из министерства», схватят ее или убьют.

— Уж я-то знаю, — говорила она мрачно. — О таких вещах и в газетах пишут.

Иногда даже Тео казалось, что Мег «мерещится невесть что».

— Я тут видела парочку городских собак, —

рассказала она как-то раз. — Черные, как грех! Носились по лощине как бешеные, гонялись за ягнятками! Я потом вышла, нашла ягнят мертвыми и подумала, что они от холода околели, а околели они от страха перед теми городскими собаками.

Она с ужасом думала о том, что и он когда-нибудь уйдет насовсем.

Тео целыми часами сидел у нее возле огня, слушая грубую, земную музыку ее голоса. Она говорила о погоде, о птицах и зверях, о звездах и фазах луны. Он ощущал, что в ее лохмотьях есть какая-то святость, и даже посвятил им такое трехстишие:

Пять фуфаек зеленых
Сквозь тысячу дырок
Лучатся светом небес.

Он приносил ей из Рулена всякие лакомства — то шоколадный торт, то пакетик фиников — и, чтобы заработать лишний фунт-другой, пошел в наемные работники: каменщиком сухой кладки.

Одно из первых заданий привело его на ферму Видение, где Кевин врезался трактором в свинарник.

Кевин огорчал своих дядьев, и они на него

дулись.

Через полтора года он должен был сделаться собственником фермы, но пока не выказывал ни малейшей склонности к занятиям земледелием.

Он общался с «городскими». Пил. Наделал долгов. А когда банк отказал ему в займе, продемонстрировал презрение к жизни, вступив в парашютный клуб. Наконец, словно нарочно для того, чтобы довершить длинный перечень своих проступков, обрюхатил девушку.

Обычно он так заразительно улыбался, что близнецы были готовы простить ему что угодно, но теперь он весь побелел от тревоги и дурных предчувствий. Этой девушкой, сознался он, была дочь Сары Эйлин. Бенджамин прогнал Кевина из дома и велел больше не приходить.

Эйлин была симпатичная девятнадцатилетняя девушка с пухлыми губами, веснушчатым носом и рыжими упругими кудрями. Она вечно ходила с недовольной гримаской, но, если уж ей хотелось чего-то добиться, она умела принимать вид ангельской простоты. Она страстно увлекалась лошадьми и брала призы на различных конноспортивных состязаниях; как многим лошадникам, ей вечно требовались деньги — много денег.

Кевина она впервые увидела на представлении в Леркенхоупе.

Уже при виде его ладной фигуры, ловко удерживавшей равновесие на спине необъезженного пони, у нее по коже побежали мурашки. Когда он получил приз, она ощутила ком в горле. А узнав, что он еще и богат (вернее, вот-вот станет богатым), начала методично строить планы.

Спустя неделю после флирта на вечере стилизованной народной музыки в «Красном драконе» парочка тайком залезла на заднее сиденье Сариного «лендровера». Прошла еще неделя — и он дал обещание жениться.

Предупредив Эйлин, что с дядьями нужно вести себя осторожно, Кевин привел ее в Видение как свою будущую невесту. Но, хотя за столом она держала себя безупречно, старательно восхищаясь всеми драгоценными безделушками, имевшимися в доме, и, хотя Льюис счел, что она «милая малышка», Бенджамин с горечью думал о том, что она из семейства Уоткинсов.

Однажды знойным днем в начале сентября Эйлин шокировала Бенджамина тем, что села за руль автомобиля в бикини и на ходу послала ему воздушный поцелуй. А в декабре она то ли нарочно, но ли нечаянно забыла принять пилюлю.

Бенджамин не пошел на свадьбу, которая по настоянию Сары справлялась в англиканской церкви. Льюис отправился туда без него и вернулся слегка под мухой. Он сказал, что, хоть это и была «свадьба по залету» (такое выражение он услышал от другого гостя за столом), все равно праздник удался и невеста очень хорошо смотрелась в белом платье.

В свадебное путешествие молодожены отправились на Канары, а когда вернулись, загорелые и красивые, Бенджамин наконец сменил гнев на милость. Нет, Эйлин не очаровала его: к такого рода чарам он был совершенно равнодушен. Зато его подкупило ее здравомыслие, умение разбираться в денежных делах и обещание угомонить Кевина.

Близнецы договорились построить для молодых супругов бунгало в Нижней Брехфе.

Тем временем Кевин перебрался жить к тестю с тещей — и те буквально не давали ему ни минуты покоя. То Фрэнку срочно понадобится купить в Херефорде какую-то запчасть для грузовика, то конкурная лошадь Сары вывихнет ногу, то Эйлин вдруг до смерти захочется копченой селедки и она пошлет мужа в рыбную лавку.

В результате в последние недели беременности

Эйлин у Кевина не находилось ни одной свободной минуты на Видение: он пропустил перегон овец, стрижку и сенокос. А поскольку на все работы у близнецов не хватало рук, они и наняли в помощники Тео.

Тео оказался отличным работником, но, будучи строгим вегетарианцем, всякий раз поднимал шум, когда они отправляли какое-нибудь животное на бойню. Он отказывался водить трактор или управлять хотя бы простейшей техникой, и, слушая его высказывания об истории двадцатого века, можно было счесть Бенджамина вполне продвинутым современным человеком.

Однажды Льюис выразил сомнение в том, что жить в шатре — так уж разумно; на что южноафриканец вспылил и ответил, что в шатре жил Господь Бог израильтян, а раз уж шатер — подходящее жилище для Бога, то годится и для него.

— Ну пожалуй, — кивнул Льюис в нерешительности. — Только в Израиле ведь жаркий климат?

Несмотря на все разногласия, Тео и близнецы очень привязались друг к другу, и в первое воскресенье августа он позвал их к себе отобедать.

— Спасибо большое, — поблагодарил Льюис.

Поднявшись к хребту над Крайг-и-Феду, два старых джентльмена остановились перевести

дух и утереть пот со лба.

Теплый западный ветерок прочесывал длинные травы, в вышине парили жаворонки, а со стороны Уэльса наплывали густые плотные облака. У горизонта на горах слоями лежала дымчатая синева. Братья задумались о том, что, в сущности, ничто не переменилось здесь с тех пор, как они ходили этой тропой вместе с дедом — вот уже больше семидесяти лет тому назад.

Вдруг над рекой Уай, издавая гул и рев, низко пролетели два истребителя — и напомнили близнецам о существовании разрушительного мира. Когда их слабые глаза принимались блуждать по пестрому ковру из полей — этим красным, желтым или зеленым лоскутам — и по рассыпанным пятнышкам беленых ферм, где когда-то жили и умирали их предки-валлийцы, они с трудом могли поверить словам Кевина о том, что все это может в любой день исчезнуть от одного большого взрыва.

Ворота, которые вели к участку Тео, представляли собой беспорядочное нагромождение палок, проволоки и веревок. Он уже поджидал их, наряженный в домотканую куртку и штаны. Шляпу его увенчивала жимолость, и обликом он очень походил на Древнего Человека.

Льюис предусмотрительно набил карманы кусками сахара — чтобы угощать мула и осла.

Тео повел гостей вниз по склону, мимо огорода, ко входу в юрту.

— И ты живешь вот в этом? — дуэтом проговорили оба близнеца.

— Да.

— С ума сойти!

Они еще никогда не видели столь диковинного сооружения.

Два куска брезента — зеленый поверх черного — были натянуты на кругообразный каркас из березовых веток и придавлены камнями. Из центра этой конструкции торчала металлическая труба — чтобы выходил дым от очага.

Укрывшись от ветра, друг Тео, поэт, кипятил воду для риса, в другой кастрюльке уже поджаривались овощи.

— Ну заходите же, — сказал Тео.

Присев на корточки, близнецы проползли внутрь через входное отверстие — и вскоре уже сидели, откинувшись на подушки, на истрепанном синем ковре, испещренном китайскими иероглифами. Солнечные лучи пучками проникали в юрту через дырочки в брезенте. Жужжала муха. Внутри разливался покой — и для всего

находилось место.

Тео пытался объяснить им, что юрта — это образ Вселенной. На южной стороне нужно держать «вещи для тела» — пищу, воду, инструменты, одежду, — а на северной — «вещи для ума».

Он показал гостям свой глобус звездного неба, астрономические таблицы, песочные часы, тростниковые письменные принадлежности и бамбуковую флейту. На шкатулке, выкрашенной красной краской, стояла позолоченная статуэтка. Тео пояснил, что это — Авалокитешвара, бодхисатва бесконечного сострадания.

— Забавное имя, — заметил Бенджамин.

На боках шкатулки были нанесены по трафарету белые буквы поэтических строк.

— А что там написано? — поинтересовался Льюис. — Я без очков ничего не вижу.

Тео быстро подобрал ноги, приняв позу лотоса, скосил глаза к носу и прочитал полностью приведенные там строки:

В ком честолюбья нет,
Кто любит солнца свет,
Сам ищет, что поесть,
Доволен всем, что есть, —
К нам просим, к нам просим, к нам про-

сим.

В лесной тени

Враги одни —

Зима, ненастье, осень[76].

— Очень мило, — отозвался Льюис.

— «Как вам это понравится», — пояснил Тео.

— Ну, зимой мне такое не понравилось бы.

Потом Тео потянулся к книжному стеллажу и прочитал свое любимое стихотворение. Этот поэт, сказал он, был китайцем и тоже очень любил бродить по горам. Его звали Ли Бо.

— Ли Бо, — повторили братья медленно. — И все?

— Все.

Тео сказал, что это стихотворение о двух друзьях, которые редко виделись; всякий раз, когда он читает его, вспоминает о своем друге, оставшемся в Южной Африке. В стихотворении было много других забавных имен, и близнецы ничего не понимали, пока Тео не дошел до последних нескольких строк:

И кажется, незачем разговор горо-

---

[76] Примечания: 76

Цитата из комедии У. Шекспира «Как вам это понравится». Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

дить,

Но я мог бы с тобой без конца говорить,

Ибо сердце разлукам не верит.

Я вызвал слугу,

Он присел на колени —

Ждет, чтобы взять письмо…

А я не могу поставить печать —

Запечатать свою печаль, —

И вот все медлю отправить письмо

За тысячи ли, на север[77].

Тео вздохнул, и они вздохнули, словно их тоже отделяли от кого-то тысячи и тысячи ли.

Они поблагодарили за угощение, сказав, что все было очень вкусно, и в три часа Тео предложил проводить их до Гребешка. Все трое зашагали гуськом по овечьим тропам. Никто не произносил ни слова.

У приступки перед изгородью Бенджамин посмотрел на южноафриканца и тревожно закусил губу:

— Он не забудет про пятницу, как ты думаешь?

---

[77] Примечания: 77

Цитата из стихотворения Эзры Паунда «Письмо изгнанника» по мотивам поэзии Ли Бо. Перевод А. Кистяковского.

— Кевин?

В пятницу им должно было исполниться восемьдесят лет.

— Нет, — улыбнулся Тео из-под полей своей шляпы. — Я знаю: он все помнит.

48

В пятницу, восьмого августа, близнецы проснулись от звуков музыки.

Подойдя в ночных рубашках к окну, они раздвинули кружевные занавески и всмотрелись в людей, стоявших во дворе. Солнце уже взошло. Кевин бренчал на гитаре. Тео играл на флейте. Эйлин — в одежде для будущих мам — обнимала своего джек-рассел-терьера, а мул щипал в саду розовый куст. Возле сарая стояла красная машина.

За завтраком Тео вручил близнецам свой подарок — пару валлийских ложек любви, соединенных деревянной цепочкой; он сам вырезал их из цельного куска тисовой древесины. К ложкам прилагалась открытка с надписью: «Тео из Шатра поздравляет вас с днем рождения! Живите триста лет!»

— Спасибо большое! — сказал Льюис.

Подарок Кевина еще не подоспел. Он будет готов, сказал Кевин, в десять часов, и до него час езды.

Бенджамин заморгал.

— И где же это?

— Сюрприз, — ответил Кевин и подмигнул Тео. — Загадочная поездка.

— Мы не можем просто так уехать, нам нужно сначала покормить животных.

— Они уже накормлены, — возразил Кевин. К тому же Тео оставался присматривать за фермой.

Эта «загадочная поездка» предполагала посещение одного старинного поместья, поэтому близнецы поднялись в спальню, чтобы переодеться, и вернулись в своих лучших коричневых костюмах с белыми накрахмаленными воротничками. Сверив свои часы с ходом Биг Бена, они объявили, что готовы отправиться в путь.

— Чья это машина? — с подозрением спросил Бенджамин.

— Арендованная, — ответил Кевин.

Когда Льюис уселся на заднее сиденье, терьер Эйлин куснул его за рукав.

— Сердитая козявка, — заметил он, и машина, качнувшись, поехала вниз по грунтовке.

Они проехали насквозь Рулен и запетляли среди невысоких холмов, где Бенджамин заметил указатель на Брин-Драйног. Он морщился всякий раз, когда Кевин приближался к повороту. Потом дорога стала менее каменистой; дубы здесь были

более старыми и могучими, показались черно-белые фахверковые дома. На Кингтон-Хай-стрит они ненадолго застряли за фургоном для доставки грузов, но вскоре вокруг них уже расстилались поля, на которых паслись рыжие херефордские коровы, и примерно через каждую милю они проезжали мимо ворот очередного большого краснокирпичного деревенского дома.

— Мы куда же — к замку Крофт едем? — спросил Бенджамин.

— Может быть, — сказал Кевин.

— Значит, еще далеко?

— Много-много миль, — ответил он и через полмили свернул куда-то с главной дороги.

Машина затряслась по ухабистому асфальтовому отрезку дороги. Первым, что заметил Льюис, был оранжевый ветроуказатель:

— Вот это да! Это же аэродром!

Показался черный ангар, потом ниссеновские бараки и, наконец, взлетно-посадочная полоса.

Бенджамин, увидев все это, как будто съежился. Он принял какой-то жалкий, стариковский вид, нижняя губа у него задрожала.

— Нет-нет. Я в самолет не полезу, — заявил он.

— Но, дядя, это же безопаснее, чем ездить на автомобиле…

— Ну знаешь! Когда за рулем ты — вполне может быть. Нет-нет, я в самолет ни за что не полезу.

Не успела машина затормозить, как Льюис уже выскочил — и, ошеломленный, застыл на взлетной полосе.

На траве стояло около тридцати легкомоторных самолетов — по большей части «Сессны», принадлежавшие членам Летного клуба Западного Мидленда. Одни были белые, другие выкрашенные в яркие цвета. Некоторые — с полосками, и у всех на крыльях трепетали аэродинамические законцовки, словно им не терпелось поскорее взмыть в небо.

Дул освежающий ветер. По взлетной полосе гонялись друг за другом пятна света и тени. На диспетчерской вышке анемометр вращал своими черными чашечками. У дальней стороны летного поля виднелась вереница качающихся тополей.

— Ветрено сегодня, — сказал Кевин — порывы сдували ему волосы на глаза.

Молодой человек в джинсах и зеленой куртке-бомбере крикнул: «Привет, Кев!» и зашагал к ним, шаркая каблуками по асфальту.

— Я — ваш пилот, Алекс Питт, — представился он, схватив Льюиса за руку.

— Спасибо большое.

— С днем рождения! — сказал пилот, поворачиваясь к Бенджамину. — Никогда не поздно научиться летать, правда? — Потом, махнув в сторону ниссеновских бараков, он попросил их проследовать за ним. — Пара формальностей, и все, летим!

— Так точно, сэр! — откликнулся Льюис, подумав, что именно так нужно разговаривать с пилотом.

Первое помещение, в которое они попали, оказалось кафетерием. Над баром висел деревянный пропеллер времен Первой мировой войны, стены украшали цветные гравюры, изображавшие битву за Британию. Когда-то это летное поле служило центром подготовки парашютистов — и до сих пор в некотором смысле продолжало играть прежнюю роль.

В баре сидела компания молодых людей, одетых для «прыжка», они пили кофе. Завидев Кевина, один мускулистый парень поднялся, хлопнул того пятерней по кожаной куртке и спросил, полетит ли он с ними.

— Не сегодня, — ответил Кевин. — Я лечу с моими дядьями.

Пилот провел их в комнату предполетного

инструктажа, и там Льюис с жадностью бросился изучать доску объявлений, рассматривать карты с размеченными воздушными коридорами и аспидную доску, исписанную инструкторскими каракулями.

Потом из кабинета авиадиспетчера выскочил черный лабрадор и поставил лапы на брюки Бенджамина. В умоляющем собачьем взгляде тому почудилось предостережение: не лети, останься! У него закружилась голова, ему пришлось присесть.

Пилот выложил на синий столик из огнеупорной пластмассы три распечатанных бланка — один… два… три… — и попросил всех пассажиров поставить свои подписи.

— Страховка, — пояснил он. — На тот случай, если мы приземлимся в поле и задавим корову какого-нибудь старика-фермера.

Бенджамин вздрогнул и чуть не выронил шариковую ручку.

— Не пугай моих дядьев! — прыснул Кевин.

— Твоих дядьев ничем не испугать, — возразил пилот, и Бенджамин осознал, что уже поставил свою подпись.

Эйлин, прогуливавшая терьера, помахала на прощанье, и они зашагали по траве в сторону

«Сессны». Вдоль фюзеляжа у самолета была проведена широкая коричневая полоса, вдоль обтекателей — полоска потоньше. Регистрационный номер: G-BCTK.

— «TK» — сокращение от «Танго Кило», — пояснил Алекс. — Это его имя.

— Забавное имя, — заметил Льюис.

Затем Алекс начал внешние проверки, попутно рассказывая, как что называется и для чего служит. Бенджамин с потерянным видом стоял у законцовки крыла и думал обо всех крушениях из альбома Льюиса.

А Льюис, похоже, представлял себя мистером Линдбергом[78].

Он опускался на корточки и вставал на цыпочки. Его взгляд был прикован к каждому движению молодого летчика. Он смотрел, как нужно проверять шасси, убеждаться в исправности откидных бортов и элеронов, испытывать аварийную сирену, которая включалась, если самолет вдруг терял скорость.

Он заметил небольшую вмятину на хвостовом киле.

— Наверное, от птицы, — сказал Алекс.

---

[78] Примечания: 78

Чарльз Линдберг (1902–1974) — американский летчик, первым в одиночку перелетевший Атлантический океан в 1927 году.

— Ох! — только и сказал Бенджамин.

Лицо у него вытянулось еще больше, когда пришла пора подниматься на борт. Он уселся на заднее сиденье и после того, как Кевин пристегнул на нем ремень безопасности, почувствовал себя еще неуютнее и несчастнее.

Льюис сел справа от пилота и пытался понять, для чего нужны все эти индикаторы и датчики.

— А это что? Ручка управления?

Самолет оказался учебно-тренировочным летательным аппаратом, и в нем имелось двойное управление.

Алекс поправил Льюиса:

— Сейчас это называется штурвалом управления. Их тут два: один для меня, другой для вас, если я вдруг потеряю сознание.

С заднего сиденья донеслась какая-то икота, но голос Бенджамина потонул в трескотне пропеллера. Он закрыл глаза, и самолет выехал с площадки для ожидания.

— Проверка Танго Кило завершена, — передал по радиосвязи пилот, а затем тронул рычаг дросселя; вскоре самолет остановился на взлетной полосе. — Танго Кило, взлет на запад. Возвращение примерно через сорок пять минут. Повторяю, через сорок пять минут.

— Принято, Танго Кило, — пришел ответ из диспетчерской.

— Взлетаем со скоростью шестьдесят! — проорал Алекс в ухо Льюису — и треск мотора перерос в рев.

Когда Бенджамин снова открыл глаза, самолет уже набрал высоту полторы тысячи футов.

Внизу расстилалось поле цветущей горчицы. Блестела, отражая солнечный свет, теплица. Виднелся поток белой пыли — это фермер удобрял поле. Пронеслись леса, пруд, затянутый ряской, карьер с несколькими желтыми бульдозерами. Бенджамин поймал себя на мысли, что черный автомобиль смахивает на жука.

Его по-прежнему немного подташнивало, но кулаки он наконец разжал. Впереди по курсу виднелась Черная гора с облаками, перетекавшими через ее вершину. Алекс поднял самолет еще на тысячу футов и предупредил, что могут ощущаться воздушные порывы.

— Турбулентность, — пояснил он.

Сосны на вершине Кефна были сине-зелеными и черно-зелеными, в зависимости от падавшего на них света. Вереск сливался в лиловую массу. Овцы размером и формой напоминали личинок; повсюду виднелись чернильные лужицы с

тростниковыми оторочками. Тень самолета набежала на стадо пасшихся пони, и те бросились врассыпную.

Был один ужасный момент, когда утесы над Крайг-и-Феду, казалось, мчались им навстречу. Но Алекс изменил курс и начал плавно спускаться в долину.

— Гляди! — закричал вдруг Льюис. — Это же Скала!

И вправду — вот ржавый частокол, вот пруд, вот проломленная крыша, а вот и белые гуси Мег, насмерть перепуганные!

А вон там слева — Видение! И Тео!

— Да! Это точно Тео!

Теперь пришла очередь Бенджамина восторгаться. Он прижался носом к окну и всматривался в крошечную коричневую фигурку, стоявшую в плодовом саду и махавшую шляпой; самолет снизился, описывая второй круг, и приветственно покачал крыльями.

Через пять минут они уже удалились от гор, и Бенджамин определенно получал удовольствие от полета.

Потом Алекс обернулся через плечо на Кевина, и тот подмигнул. Тогда пилот перегнулся к Льюису и прокричал:

— А теперь ваша очередь!

— Моя очередь? — Тот нахмурился.

— Порулить.

Льюис очень осторожно положил руки на штурвал управления и стал слушать своим здоровым ухом, что говорит инструктор, стараясь не пропустить ни слова. Потянул штурвал на себя — и нос самолета поднялся. Толкнул — и нос опустился. Надавил влево — и горизонт наклонился. Он выпрямил самолет и надавил вправо.

— Теперь вы сами, — сказал Алекс невозмутимо, и Льюис проделал те же маневры еще раз, но уже самостоятельно.

И вдруг он почувствовал — пусть даже мотор откажет, пусть самолет войдет в крутое пике и их души улетят к Небесам, — что все невзгоды и разочарования в его полной лишений и тягот жизни теперь не значат абсолютно ничего, потому что в течение этих великолепных десяти минут он делает то, чего ему всегда хотелось.

— Попробуйте описать восьмерку, — подсказывал Алекс. — Вниз влево!.. Так, достаточно!.. Теперь выпрямляйте!.. Теперь вниз вправо!.. Аккуратно!.. Отлично!.. Теперь еще одну большую петлю — и хватит.

Лишь вернув управление Алексу, Льюис осо-

знал, что он только что описал в небе восьмерку и ноль.

Они уже шли на посадку и видели, как приближается взлетная полоса, — вначале в виде прямоугольника, затем в виде трапеции, а потом в виде пирамиды с отпиленной вершиной; пилот отрапортовал по радиосвязи «снижение», «заход», «посадка», и они приземлились.

— Спасибо вам большое, — поблагодарил Льюис с застенчивой улыбкой.

— И вам тоже, мне было очень приятно, — ответил Алекс и помог близнецам выйти из самолета.

Он был профессиональным фотографом, и десять дней назад Кевин заказал ему аэрофотосъемку Видения — в цвете.

Этот снимок, оправленный в рамку, и был второй половиной подарка, который Кевин приготовил близнецам ко дню рождения. Они развернули сверток уже на автопарковке — и расцеловали молодых супругов.

Теперь перед ними встал важный вопрос: куда же повесить фото?

Конечно, оно просилось на ту стену в кухне, что была вся увешана старыми фотографиями. Но туда ничего не добавлялось с самой смерти

Амоса — обои, выгоревшие между рамками, за фотографиями сохранили изначальный цвет, будто новые.

Целую неделю братья препирались, снимали с гвоздиков и по-всякому перетасовывали дядюшек и кузенов, которые вот уже шестьдесят лет тихо и мирно висели на своих законных местах. Наконец, когда Льюис уже сдался и решил повесить новый снимок над пианино, рядом с «Широким и узким путем», Бенджамин все-таки нашел верное решение. Оказалось, что если сместить дядюшку Эдди с гризли чуть-чуть повыше, а Ханну и старика Сэма чуть-чуть вбок, то высвобождается как раз достаточно места, чтобы подарок уместился рядом с групповым фото, сделанным на свадьбе их родителей.

49

Дни становились короче. Ласточки перекликались на электрических проводах — они уже вовсю готовились к долгому перелету на юг. Ночью задул ветер, и они улетели. Когда ударили первые морозы, близнецов вдруг навестил мистер Айзек Льюис, священник.

Теперь они очень редко бывали в молельне, но молельня не покидала их мыслей, и посетитель заставил их встревожиться.

Он пришел к ним пешком из самого Рулена, перевалив через Кефн. На низ его штанин налипла грязь, и хотя он старательно вытер подошвы ботинок у порога, все равно заметно наследил на полу кухни. Между бровей у него свисала длинная прядь волос. Выпуклые карие глаза, хотя и излучали свет веры, слезились от ветра. Он пожаловался на ранние, не по сезону, холода:

— Стужа-то какая, и это в сентябре!

— Да, стужа! — согласился Бенджамин. — Будто первый день зимы.

— А дом Божий в запустении, — хмуро продолжал священник. — И люди отдалились от Него… Печальные последствия!..

Он был валлийским националистом с крайними взглядами. Но эти взгляды обычно выражал столь иносказательным образом, что мало кто из слушавших понимал хоть сколько-нибудь ясно, о чем идет речь. Близнецам потребовалось двадцать минут, чтобы осознать, что он пришел попросить у них денег.

Финансовые дела у молельни в Майсифелине находились в плачевном состоянии. В июне кровельщик, заменявший пришедшие в негодность черепицы, наткнулся на участок сухой гнили. Электропроводка, проложенная еще до войны, как выяснилось, представляла угрозу для пожарной безопасности, а стены внутри пришлось перекрасить голубой краской.

Лицо у священника сильно раскраснелось — от близости жаркого огня и от смущения. Он всасывал воздух сквозь зубы так, словно вся его жизнь состояла из щекотливых бесед. Он заговорил о материализме и о безбожном веке. Мало-помалу из брошенных вскользь намеков стало понятно, что мистер Трантер, подрядчик, торопит его с оплатой ремонтных работ.

— Разве я уже не заплатил ему пятьдесят фунтов из собственного кармана? Но скажите мне, что такое пятьдесят фунтов сегодня, много ли на

них купишь?

— Какой счет он вам выставил? — перебил его Бенджамин.

— Пятьсот восемьдесят шесть фунтов, — вздохнул священник, словно утомленный долгой молитвой.

— И на чье имя нужно внести плату — на имя мистера Трантера?

— Да, — ответил священник. Он так удивился, что даже не нашел что добавить.

Его глаза внимательно следили за движениями пальцев Бенджамина, выписывавшего чек. Получив его, Айзек Льюис аккуратно сложил бумажку и сунул в бумажник.

Когда он уходил, ветер гнул лиственницы. На пороге священник остановился и напомнил близнецам, что близится праздник урожая: в пятницу, в три часа.

— Воистину это пора благодарения! — сказал он и поднял воротник пальто.

В пятницу рано утром Льюис приехал на тракторе к Бугру и предложил Рози Файфилд поехать вместе с ними.

— Благодарить кого и за что? — огрызнулась она и хлопнула дверью.

В половине третьего Кевин подобрал близне-

цов на автомобиле. На нем был нарядный новый серый костюм. Эйлин ждала схваток в любую минуту и потому осталась дома. Бенджамин прихрамывал — его беспокоило легкое воспаление седалищного нерва.

Стоявшие возле молельни фермеры со свежеобветренными лицами тихо жаловались друг другу на правление миссис Тэтчер. Внутри дети в коротких носочках играли в прятки среди скамеек. Молодой Том Гриффитс раздавал листки с текстом «Гимна во славу урожая», а женщины ставили в вазы георгины и хризантемы.

Бетти Гриффитс из Кум-Кринглина, которую все звали Толстушкой, испекла каравай в форме снопа пшеницы. На столике для причастия были горой навалены яблоки и груши, стояли баночки с медом и с чатни, лежали спелые и зеленые помидоры, зеленый и лиловый виноград, кабачки, лук, капуста и картошка, а также стручковая фасоль величиной с ножовку.

Дейзи Протеро внесла корзину, к которой был прикреплен ярлык с надписью «Плоды полей». К столбам в центральном проходе между рядами скамей прикололи куколок из кукурузной соломы, а кафедру проповедника оплели ломоносом.

Пришли «другие» Джонсы, и мисс Сара, как

обычно, постаралась поразить всех своим нарядом: ондатровой шубой и шляпкой с фиалками. Пришли Эван Беван, Джек Уильямс Врон, Сэм Рожок, все оставшиеся Морганы; а когда приковылял на палочке Джек Хейнс из Красного Дарена, Льюис поднялся и пожал ему руку — впервые после убийства миссис Маскер они обменялись словами приветствия.

Внезапно воцарилась тишина: это Тео зашел вместе с Мег.

Если не считать пребывания в больнице, Мег за тридцать с лишним лет ни разу не покидала Крайг-и-Феду, и потому ее появление в длинном, до лодыжек, пальто было воспринято как событие из ряда вон выходящее. Она робко села рядом с великаном-южноафриканцем, робко подняла взгляд и, увидев ряды улыбающихся лиц, тоже расплылась в улыбке.

Мистер Айзек Льюис в зеленом костюме оттенка гусиного дерьма стоял возле двери, приветствуя свою паству. У него имелось странное обыкновение — складывать ладони горстью перед губами, так что возникало впечатление, будто он хочет схватить сказанные слова и затолкать их обратно в рот.

С Библией в руке он подошел к Тео и попросил

его прочесть — когда подойдет черед второго отрывка из Святого Писания — главу 21 из Книги Откровения:

— Предлагаю вам опустить стихи девятнадцатый и двадцатый. Там встречаются довольно сложные слова.

— Нет. — Тео огладил бороду. — Я хорошо знаю камни Нового Иерусалима.

Первый гимн — «О красоте Земли» — зазвучал как-то неуверенно: между хором и музыкантом, игравшим на фисгармонии, сразу возник разнобой и в темпе, и в мелодии. Лишь несколько стойких голосов продолжили бороться до конца. Затем проповедник начал читать главу из Екклесиаста:

— «Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное…»

Льюис почувствовал, как радиатор прожигает ему брюки. Уловив запах подпаленной шерсти, он слегка подтолкнул брата, чтобы тот чуть-чуть подвинулся.

Бенджамин сначала смотрел перед собой — на черные кудри Кевина, спадавшие на воротник.

— «Время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать…»

Затем он опустил взгляд и стал рассматривать

лист с «Гимном во славу урожая». Там были картинки с изображениями Святой земли: женщины с серпами, мужчины, сеющие зерно, рыбаки у моря Галилейского и стадо верблюдов у колодца.

Он сразу подумал о матери, о Мэри, вспомнив, что и она побывала когда-то в Галилее. А потом ему пришло в голову, что через год, когда ферма уже отойдет Кевину, будет гораздо легче пройти в игольное ушко — и воссоединиться с нею.

— «Время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру…»

На оборотной стороне листа был заголовок «Собран добрый урожай»[79], под ним — фотография с несколькими коротко стриженными улыбающимися мальчиками; в руках у них были оловянные кружки, на дальнем плане виднелись палатки.

Бенджамин прочитал, что это палестинские беженцы, и подумал о том, что хорошо было бы отправить им рождественские подарки. Конечно, они там у себя не справляют Рождество, но подаркам уж точно обрадуются.

Между тем небо снаружи темнело. Над горой раздался удар грома. На окна налетали порывы ветра, в витражные стекла застучали первые

[79] Примечания: 79

Строка из гимна для праздника урожая английского богослова и поэта Генри Алфорда (1810–1871).

дождевые капли.

— Гимн номер два, — объявил проповедник. — «Мы вспахиваем поля и бросаем в землю доброе семя…»[80]

Паства поднялась и раскрыла рты, но все тонкие голоса оказались заглушены одним зычным, долетавшим сзади.

Весь зал оживило шумное пение Мег, а когда она дошла до слов «Он кормит птиц», у Льюиса из-под века выкатилась слеза и потекла по морщинистой щеке.

А потом настала очередь Тео, и прихожане слушали как завороженные:

— «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город…»[81]

Тео прекрасно справлялся с чтением текста, он ни разу не запнулся, перечисляя названия: яспис и гиацинт, хризопрас и халкидон. Люди, сидевшие напротив окон, увидели радугу, раскинувшуюся над долиной, и под ней — стаю черных

---

[80] Примечания: 80

Пересыпанный новозаветными аллюзиями гимн немецкого поэта Матиаса Клаудиуса (1740–1815). Позже был переведен на английский язык и традиционно исполнялся в Британии в день благодарения.

[81] Примечания: 81

Откр. 21: 1–2.

грачей.

Когда пришло время проповеди, священник поднялся и поблагодарил своего «брата во Христе» за такое знаменательное чтение. Он сказал, что еще никогда Святой Город не представлялся ему столь зримым, столь осязаемым. У него возникло ощущение, что достаточно протянуть руку — и прикоснешься к нему.

Но ведь это не такой город, к которому можно прикоснуться! Это не город из кирпича или камня. Он не похож ни на Рим, ни на Лондон, ни на Вавилон! Это не город ханаанский, потому что в Ханаане господствует ложь! Это тот город, что узрел вдали, как мираж на горизонте, праотец Авраам, когда уходил жить в пустыню, в шатрах и скиниях…

Услышав о шатрах, Бенджамин подумал о Тео. Между тем от всегдашней косноязычности мистера Льюиса не осталось и следа. Он воздел руки к стропилам.

— Нет, — гремел его голос, — это не город для богачей! Вспомните Авраама! Вспомните, как Авраам возвратил свои богатства царю Содома! Вспомните! Ни одной нитки, ни одного ремня для обуви не пожелал он взять из царства Содомского!..

Он остановился, перевел дух, а потом продолжал уже спокойнее.

Они собрались здесь, в этой скромной молельне, чтобы поблагодарить Господа за достаток. Господь накормил их, одел, дал им все необходимое для жизни. Ведь Он — не суровый надсмотрщик. Мудрость Екклесиаста — не суровая мудрость. Всему есть свое время и свое место — время забавляться, смеяться, танцевать, любоваться красотой земли, прекрасными цветами, которые распускаются в свой срок…

Но нельзя забывать, что богатство — это бремя, что земные блага могут стать помехой на пути в Город Агнца…

— Ибо Город, к которому мы устремляемся, — это Прочный Город, это то место в чужом краю, где мы должны обрести покой — или навсегда лишимся покоя. Наша жизнь — пузырь. Мы рождаемся. Взмываем вверх. Ветер относит нас то туда, то сюда. Мы блестим на солнце. А потом пузырь вдруг лопается — и мы падаем на землю, рассыпавшись на мелкие брызги. Мы как эти георгины, срезанные к первым осенним морозам…

Утро пятнадцатого ноября было ясным и морозным. Вода в поилках покрылась коркой льда. В дальнем конце долины двадцать волов ждали,

когда их покормят.

После завтрака Тео помог Льюису установить шарнирную муфту на «Интернэшнл Харвестер» и вилами забросил на трактор несколько тюков сена. Заводился он медленно. Льюис замотал горло голубым вязаным шарфом. Он в очередной раз простудил внутреннее ухо, а еще в последнее время у него кружилась голова. Трактор, покачнувшись, поехал по двору, и Тео помахал на прощанье. Потом зашел в дом, и некоторое время они с Бенджамином болтали на кухне.

Бенджамин, закатав рукава, отскребал от тарелок присохший желток. В каменной раковине на поверхность воды всплывали колечки жира от ветчины. Он рассказывал, что в восторге от малыша, родившегося у Кевина.

— Да, — улыбался он. — Такой бойкий мальчишка!

Он выжал губку для посуды и вытер руки. Вдруг резкая боль пронзила ему грудь. Он упал на пол.

— С Льюисом беда! — прохрипел он, когда Тео помогал ему подняться и сесть на стул.

Тео выбежал из дома и поглядел через долину на покрытое инеем поле. В косо падавшем солнечном свете дубы отбрасывали голубые тени. Перекликались дрозды-рябинники, клевавшие

корнеплоды. Над ручьем летела пара уток, небо рассекал след самолета. Шума трактора Тео не слышал.

Он увидел сено, разбросанное по полю; но волы разбежались в стороны, хотя один или два уже начинали потихоньку двигаться назад.

Тео заметил полосу грязи, сбегавшую вертикально по склону вдоль изгороди. А внизу лежало что-то красно-черное. Это был трактор, завалившийся на бок.

Бенджамин тоже вышел на крыльцо. Он стоял без шапки и дрожал.

— Ждите здесь! — тихо сказал Тео, а сам побежал.

Бенджамин, хромая, пошел за ним по тропе к лощине. У трактора выключилось сцепление, и он скатился вниз. Бенджамин слышал, как Тео бежит вперед. Слышал плеск воды и сквозь деревья пронзительные крики чаек.

Вдоль ручья лежала сброшенная березовая листва. На лиловых веточках поблескивали иголочки инея. Трава затвердела, вода легко бежала поверх плоских коричневых камней. Он встал на берегу, не в силах двинуться дальше.

Тео уже шел ему навстречу, медленно шагая между блестящими стволами берез.

— Не надо вам на него смотреть, — сказал он.

А потом обнял старика за плечи и прижал к себе.

50

Рядом с калиткой кладбища в Майсифелине растет старый тис, могильные плиты вблизи его извилистых корней давно покосились. По обе стороны от аллеи тянутся ряды надгробий; на одних надписи вырезаны классическим шрифтом, на других — готическим, и все они покрыты лишайником. Надгробия сделаны из камня мягкой породы, поэтому на тех, что обращены к западу (откуда обычно дуют ветры), буквы почти стерлись. Скоро уже никто не сможет прочесть имена умерших, и сами надгробия рассыплются и смешаются с землей.

Более новые памятники высечены из камня твердой породы — твердостью они могли бы поспорить с камнями фараонов. Поверхности их отшлифованы машинным способом. Цветы на них кладут пластмассовые, земля вокруг присыпана не гравием, а крошками битого зеленого стекла. Самое новое надгробие сделано из глыбы блестящего черного гранита; на одной его половине выгравирована надпись, вторая оставлена пустой.

Время от времени турист, случайно забредший

за молельню, видит, как на краю каменной плиты сидит старый фермер-горец в вельветовых штанах и гетрах. Он смотрит на собственное отражение, а над головой у него проносятся облака.

После несчастного случая, унесшего жизнь брата, Бенджамин сделался таким потерянным и беспомощным, что едва мог застегнуть пуговицы на рубашке. Чтобы он не расстраивался еще больше, ему запретили приближаться к кладбищу; когда Кевин вместе с женой и малышом переехали в Видение, старик смотрел сквозь них, будто не узнавая.

В мае прошлого года Эйлин тихонько распустила слух, что дядя «уже слегка поехал умом» и ему самое место в доме престарелых.

Он наблюдал, как она распродает старую мебель — предмет за предметом.

Она продала пианино, чтобы купить стиральную машину, продала старую кровать с балдахином, чтобы заменить ее на новый спальный гарнитур. Перекрасила кухню в желтый цвет, поснимала и убрала на чердак все семейные фотографии, а на их место повесила картинку с принцессой Анной верхом на конкурной лошади. Почти все постельное белье, оставшееся от Мэри, отправилось на барахолку. Пропали стаф-

фордширские спаниели, потом напольные часы; старая чугунная кухонная плита валялась и ржавела на дворе среди зарослей щавеля и крапивы.

Однажды в августе Бенджамин вышел из дома погулять, с наступлением темноты не вернулся, и Кевин снарядил поиски.

Ночь была темная. Нашли его на следующее утро: он сидел на могиле и спокойно ковырял в зубах травинкой.

С тех пор Майсифелин стал для Бенджамина вторым домом — вернее сказать, единственным. Кажется, он был вполне счастлив, когда ему удавалось проводить на кладбище хотя бы по часу в день. Иногда Нэнси Бикертон посылала за ним машину, чтобы позвать к себе на чаепитие.

Тео сменил южноафриканский паспорт на британский, продал свой луг и уехал в Индию, где надеется походить по горным тропам в Гималаях.

Со Скалой дело так и не сдвинулось с точки, и Мег по-прежнему живет там в одиночестве.

Рози Файфилд тоже продолжает жить в своем домике. Ее скрючил артрит, и потому в комнатах у нее беспорядок и грязь, но, когда местный санитарный инспектор предложил ей перебраться в приют, она огрызнулась:

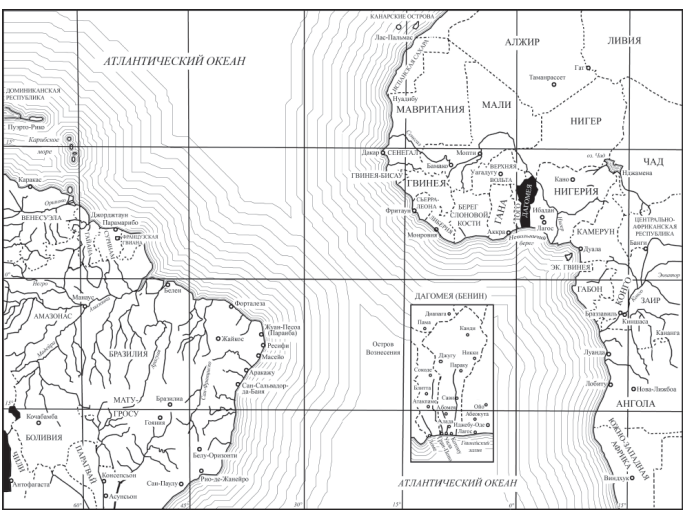
— Вам придется за ноги меня волочить!

На восемьдесят второй день рождения сын подарил ей армейский бинокль, и по выходным дням ей нравится наблюдать за дельтапланеристами, стартующими с вершины Шишки Бикертона (она называет их вертолетчиками). Рози видит множество крошечных человечков, оснащенных яркими крыльями; они разбегаются, воспаряют в воздух, летят, а потом опускаются, кружась, как крылатки ясеня.

В этом году она стала свидетельницей катастрофы со смертельным исходом.

Вице-король Уиды{Перевод К. Голубович.}

Страшись, трепещи
Залива Бенин.
Сорок бригов войдет,
Отплывет лишь один.



1

Семья Франсишку Мануэла да Силвы собралась в Уиде, чтобы почтить его память заупокойной мессой и ужином. Стоял обычный душный мартовский полдень. Он умер сто семнадцать лет назад.

Мессу отслужили в базилике Непорочного Зачатия, этом оштукатуренном памятнике французского католицизма, смотрящем через пространства красной грязи на глинобитные хижины и деревья возле храма Питона[82].

В молочном небе мерно кружили грифы-индейки. Металлический гул сверчков, казалось, только усугублял жару. Листья банановых деревьев свисали вялыми лентами. Ветра не было.

Отец Олимпиу да Силва приехал в город из семинарии Сен-Галл. Седовласый, в алом облачении, он стоял на южной лестнице, разглядывая своих родственников сквозь очки в стальной оправе и поворачивая блестящую бронзовую голову с достоинством орудийной башни.

---

[82] Примечания: 82

Храм Питона — одна из достопримечательностей Уиды, храм религии вуду, в котором почитают змей.

Он был не только священником, но и любителем-этнографом — посещал лекции Бергсона и Марселя Мосса[83] в Сорбонне, опубликовал мудреную книгу «Человеческие жертвоприношения у племени фон» и не мог начать ни единого предложения без уточняющих наречий: «Статистически… морфологически…»

Торжественно и тяжеловесно проплывала органная музыка; у исполнителя был ограниченный аккордный диапазон.

Да Силвы приехали из Нигерии, Того, Ганы и даже с Берега Слоновой Кости. Бедные — на автобусах и такси. Богатые — на личных автомобилях, а самая богатая из всех, мадам Элен да Силва, более известная как Мамаша Бенц, сидела, раскинувшись на заднем сиденье своего кремового «мерседеса», обмахиваясь веером из тысячефранковых банкнот, в ожидании конца службы.

Все члены семейства знали своего предка по его бразильскому имени — Дон Франсишку.

Он приехал из Сан-Сальвадора-да-Баия в 1812 году и более тридцати лет был «лучшим другом» короля Дагомеи, снабжая его ромом, табаком,

---

[83] Примечания: 83

Анри Бергсон (1859–1941) — французский философ. *Марсель Мосс* (1872–1950) — французский этнограф и социолог.

украшениями и ружьями «Long Dane»[84], которые производились вовсе не в Дании, а в Бирмингеме.

В обмен на эти услуги Дон Франсишку получил титул вице-короля Уиды, монополию на продажу рабов, погреб, забитый «Шато-Марго», и неисчерпаемый женский сераль. После своей смерти в 1857 году он оставил шестьдесят три сына-мулата и неизвестное количество дочерей, чье темное потомство, бесчисленное, как кузнечики, разбросано ныне от Луанды до Латинского квартала. Из тех, кто сегодня собрался на площади, лишь пятеро побывали в Европе и никто — в Америке.

Дамы в тюрбанах ковыляли к собору, шаркая в пыли босыми ногами, слишком мозолистыми и широкими для обуви. На их хлопчатобумажных одеяниях были изображены письмена, листья, львы и портреты военных диктаторов. Они с трудом втискивали себя на церковные тиковые скамьи.

Маленькие девочки спотыкались в оборчатых платьях; их волосы были скручены в косички, перевязанные ленточками с блестками.

Их братья, одетые в узкие брюки, переминались

---

[84] Примечания: 84

Букв. «длинное датское ружье» *(англ.)*.

с ноги на ногу, держа в руках краснозвездные шапочки *Jeunes Militants*[85].

Молодежь пришла в национальных одеждах, старики — в костюмах светлого цвета или выцветшего хаки.

Жизнь стариков да Силва была пустой и печальной. Они оплакивали работорговлю как потерянный золотой век, когда семья была богатой, знаменитой и белой. Их изнурял ревматизм и тяготы многоженства. Их кожа потрескалась под харматаном[86]; дожди, барабаня по листьям каладиумов, намывали цоколи красной грязи вдоль стен их домов.

И все же они цеплялись за свои кепи и пробковые шлемы, как цепляются за знаки исчезнувшего величия. Они называли себя бразильцами, хотя давно забыли португальский язык. Людей, которые были ненамного черней их самих, они называли неграми. Они называли Дагомею Дагомеей, несмотря на то что глава государства давно сменил ее название на Бенин. Каждый из них повесил изображение Дона Франсишку среди

---

[85] Примечания: 85

Юные бойцы *(фр.)*. Юношеская милитаризированная организация, основанная после переворота в Бенине.

[86] Примечания: 86

Харматан — сухой ветер на западном побережье Африки.

хромолитографий святых и Богородицы: при таком соседстве они чувствовали себя плотнее связанными с вечностью.

Отец Олимпиу встал перед алтарем и утешающим баритоном произнес свое ежегодное послание:

— Отец наш не умер, а перешел в жизнь вечную. Он взирает на своих детей из небесного пристанища. Он дает нам советы из бесконечного кладезя своей мудрости. Особенно, — добавил он полушепотом, — в это трудное время.

Когда прозвучало *Credo*[87], дамы вздохнули, потянулись и поднялись на ноги. Письмена, листья, львы, и диктаторы зашуршали, устраиваясь в новых сочетаниях.

Миссис Розмари да Силва, жена бухгалтера из Лагоса, затыкала уши во время католических богохульств — она была методисткой. Она осталась сидеть, когда все преклонили колени на *Sanctus*, и была неподвижна во время *Agnus Dei*. Ее муж Эрнест находился рядом, потея в своем английском пиджаке и жалея, что она вообще пришла. Он чувствовал прилив любви и жалости к себе подобным. Она же изо всех сил старалась

---

[87] Примечания: 87

Здесь и далее перечисляются песнопения, исполняемые во время католической мессы.

его опозорить.

Розмари устроила целое представление, поправляя соломенную шляпу, разглаживая складки белого пикейного платья и прижимая к груди три нити со стеклянными бусинами. Когда да Силвы поднялись, чтобы принять причастие, склонив головы в благоговении, она устремила взор к потолку, гадая, сколько пройдет времени, прежде чем тот рухнет.

От здания исходил запах распада. Ржавые линии расчертили железные столбы нефа. Синие доски крыши прогнили. Кто-то украл голубя мира из слоновой кости, инкрустированного в алтарный стол. И хотя Богородица в своей нише все еще притягивала взгляд, руки ее были опутаны паутиной.

Бросались в глаза и другие изменения: над яслями висела красная звезда, лица святого семейства были перекрашены в цвет Бальтазара[88], а в исповедальне валялись алые барабаны.

После *Benedictus* семья спела гимн *Mido gbe we* («Слава Тебе, Царица Небесная») на языке фон. Отец Олимпиу захлопнул свой требник, и младшие дети побежали на солнце.

---

[88] Примечания: 88

Бальтазар — один из трех волхвов, пришедший поклониться младенцу Иисусу. По легенде, он был темнокожий.

На ступенях собора да Силвы позировали для ежегодной фотографии.

За ритуал отвечал Агостиньу-Эзекил да Силва. Джентльмен восьмидесяти девяти лет, похожий на птицу, был одним из четырех оставшихся в живых внуков основателя и главы семейства.

Его кожа плотно обтягивала лысый, блестящий череп, беззубый рот был вытянут в идеальную букву «о». Он молча размахивал тростью с серебряным набалдашником: старики должны сидеть на стульях, молодые — стоять на ступеньках, а их родители — заполнить пространство между ними.

Двое худеньких мальчиков помогали составлять группу. Мальчиков звали Модест и Пьер; им никак не удавалось расставить дам в нужном порядке:

– *Mettez-vous là, madame! Bougez, madame! Ne bougez pas, madame!*[89]

Но дамы продолжали суетиться, спорить, толкаться локтями, отпихивать друг друга.

Мужчины вели себя не лучше.

Дядя Прокопиу, отставной флейтист Дакарской консерватории, читал свою «Оду на смерть Да-

---

[89] Примечания: 89

Встаньте там, мадам! Двигайтесь, мадам! Не двигайтесь, мадам! *(фр.)*

гомейской республики». Густав, интеллектуал, пытался заставить его замолчать. Африку да Силва расхваливал свою бензоколонку. Карл Генрих утверждал, что поезда государственных железных дорог всегда ходят вовремя, а старый Зеферину, медиум, последователь Кардека[90], пересказывал разговор с духом брата, полковником Тигре да Силвой, жившим некогда в изгнании на Елисейских Полях: на том свете полковник, как и при жизни, потягивал шампанское и глазел на девушек.

Фотограф тем временем впадал в отчаяние.

Это был молодой человек по имени Сирьяк Кабокики, с бритой головой, похожей на тыкву, и с такой черной кожей, что она отливала синевой; он относился к своей профессии очень серьезно. На спине его оранжевого комбинезона без рукавов красовался фиолетовый барашек и надпись «Фотостудия Аньё Паскаля».

Наполовину скрытый черной тканью, фотограф стоял за штативом и обеими руками показывал Модесту и Пьеру, чтобы те двигали дам с двух сторон, втискивая их в рамку пластинчатой камеры.

---

[90] Примечания: 90

Аллан Кардек (1804–1869) — философ, основатель французского спиритизма.

Мальчишек это страшно возбуждало. Они толкали дам в спины. Они их шлепали и щипали. Но дамы не обращали на это внимания, их взгляды были прикованы к храму Питона, где европейский турист фотографировал *féticheur*[91]. Старик стоял на одной ноге; его живот был обмотан синей тканью, лицо выражало абсолютное презрение; голова питона покачивалась возле его левого соска, хвост обвивался вокруг пупочной грыжи.

Солнце ползло к земле, отбрасывая кроваво-красные тени и золотя зазубренные края листьев папайи.

— Свет уходит, — застонал Сирьяк Кабокики, чем привел дам в чувство.

Ничто не помешает им получить свою фотографию! С немыслимым еще минуту назад единодушием они повернулись боком, и длина шеренги сократилась.

Папа Агостиньу поставил на колени фотографию Дона Франсишку. Его главная жена, Яйя Фелисидаде, постаралась привести в порядок своенравную грудь. Густав заломил котелок, Прокопиу подкрутил усы. Модест поднял зеленое атласное знамя Общества бразильского карна-

---

[91] Примечания: 91
Колдуна *(фр.)*.

вала, а дамы растянули рты в улыбках: золото и белизна заблистали из полураскрытых губ.

Над головами на юго-восток летели первые крыланы. В воздухе пахло гуавой и стоялой мочой. Сирьяк Кабокики поднял крышку объектива и вернул ее на место.

С площади Непорочного Зачатия семья отправилась в португальский форт. Два мальчика стучали в тамтамы. Мальчишки поменьше размахивали маракасами, били в гонги, крутили велосипедные шины и катались в пыли. Пьер нес венок из розовых виниловых роз, чтобы возложить его к святилищу Девы Марии.

В конце улицы Монсеньора Штейнмеца процессия обогнула останки хлопкового дерева. Министр внутренних дел объявил его «рестораном колдунов» и приказал срубить после того, как офицер жандармерии поймал старика, который прибивал к стволу амулет: в амулете нашли коготь летучей мыши, несколько раздавленных пауков и газетную вырезку о президенте.

Да Силвы вошли на площадь Маршала Зобе. Внушительные *mammas*[92] проплывали домой в противоположном направлении. Длиннопалые

---

[92] Примечания: 92
Мамаши *(порт.)*.

торговцы из племени мандинго складывали ткани-индиго в жестяные сундуки. Знахарь заворачивал в тряпку экскременты радуги[93], а продавец государственной лотереи в последний раз призывал всех *fidèles amis de la chance*[94].

То был час, когда жрецы-фетишисты закалывали птицу над Айзаной, богиней рыночной торговли, представляющей собой омфал из тесаного камня, одиноко стоящий на пустыре.

То был час, когда интеллигенция Уиды собиралась в «Современной библиотеке» и обсуждала последние книги, несмотря на то что ассортимент их сократился до последних номеров *La Femme soviétique*[95], «Мыслей» Ким Ир Сена, социалистического романа «Баобаб», «Баязета» Расина, полного собрания Энгельса и нескольких горшочков с бриолином цвета макао.

Наступало время ужина. Сотни чадящих ламп освещали палатки, где добродушные матроны разливали пиво из калебасов, жарили оладьи

---

[93] Примечания: 93

Имеется в виду знахарская медицина на основе человеческих экскрементов.

[94] Примечания: 94

Верных друзей случая *(фр.)*.

[95] Примечания: 95

«Советской женщины» *(фр.)*.

на пальмовом масле, заворачивали маисовый бланманже в банановые листья или готовили на гриле агути — большую крысу с желтыми зубами.

Руки этих женщин тянулись к деньгам покупателей — розовые, влажные и ласковые, как собачьи языки. Младенцы были укутаны в хлопчатобумажные одеяла. Все они спали: ни один ребенок не плакал.

Вот женщина вырвала из крыла живой птицы перо и покрутила им в ухе.

— Это чтобы убрать серу, — сообщил европейскому туристу маленький мальчик; турист погладил мальчика по голове и дал ему франк.

— Люблю белых, — ласковым голосом сказал мальчик, — белые меня лечат.

Мамаша Бенц ехала на «мерседесе»: она была слишком грузной, чтобы ходить пешком. Когда шофер поравнялся с торговками, она приказала ему остановиться, чтобы перекусить агути в соусе; Мамаша Бенц протянула белую эмалированную миску женщине, и та вернула ее обратно с едой.

Мальчик сказал:

— Мамаша Бенц — хищница, да?

Другие маленькие мальчики, сверкая зубами в

полумраке, тянули оглушительным хором:

– *Ago! Yovo! Ago! Yovo!* — что означает: «Убирайся, белокожий!».

Тем временем да Силвы свернули направо по улице Ленина, мимо отеля «Виндзор», мимо отеля «Анти-Виндзор» и подошли к бару *Ennemi du Soir*[96], куда дядя Прокопиу заскочил выпить.

К стене был прибит ротанговый коврик с тремя жирафами, шествующими на фоне китайского пейзажа, рядом с которым кто-то нацарапал синим мелом:

Собака воет —
Караван идет.

На улице стояли два такси из Лагоса — класса «Доверие» и «Доверие ребенка». Ранее днем из-за щелястых ставней спален доносились стоны любви. Сейчас водители пили пиво с девушками из бара, а по радио глава государства произносил первый из своих вечерних монологов.

Самая юная из девиц за барной стойкой задохнулась от удивления и даже вскинула руку, обнажив подмышку, когда дядя Прокопиу поклонился, щелкнул каблуками и сказал:

---

[96] Примечания: 96
Недруг вечера *(фр.)*.

— Мадемуазель, мне, пожалуйста, зеленый шартрез.

Она устремила взор на его невероятные усы, машинально налила ему шартрез и не сводила с него глаз, пока он не опустошил стакан и не ушел.

Молодые марксисты высыпали на улицу и провожали взглядом проезжавший мимо «мерседес».

Наконец да Силвы добрались до форта и возложили венок.

Они осмотрели мемориал независимости — сгоревший «ситроен» Последнего Португальского Резидента, — установленный на бетонном цоколе.

С южного бастиона они бросили взгляд на серую лагуну, мангровые заросли и линию прибоя за ними.

Множество надписей, сделанных арабской вязью, напоминало гребцов, возвращающихся на лодках домой.

Неяркие огни двигались к пляжу по дорожке — вверх по ней когда-то пришел сюда Дон Франсишку, а еще раньше вниз спустилось слово «вуду», чтобы добраться до обеих Америк.

Затем все вернулись в Симбоджи.

К западу от стоянки такси находился глинобитный дом да Силва, где в течение недели перед мессой потомки Дона Франсишку готовили его любимые блюда: скрежет, стук, жужжание и шипение заглушали адское щебетание птиц-ткачей.

Девушки возвращались с рынка с кувшинами свиной крови. Мальчишки ехали на велосипедах с водруженными на плечи тушами. Рыбаки приносили корзины с устрицами и синими крабами. Старики тащили листья из леса. Старухи опускали птичьи яйца в мед.

Шестилетний Грегуар да Силва указал на колонну муравьев, спешившую к отключенному от сети холодильнику, и сказал:

— Холодильник работает.

Модест и Пьер целую неделю покрывали абрикосового цвета известью стены личных покоев Дона Франсишку — двух длинных низких зданий, расположенных под прямым углом вдоль главного двора.

Оба мальчика разделись по пояс и нацепили на голову колпаки из газет, чтобы краска не липла к волосам.

Они сняли кресты с притолок и с особой тщательностью подобрали цвет для дверей и ставней

— не черный, не фиолетовый, не коричневый, а в тон собственной коже.

Затем они принялись за работу в старой гостиной.

Они вытряхнули дохлых мух из японской фарфоровой вазы. Починили разбитую плевательницу и прибили полотно жесткого картона вместо развалившегося плетеного сиденья дивана. Они внимательно рассмотрели развалины бильярдного стола, не представляя, как на нем играют, и обмахнули страусовым пером рамы картин — комната была еще и портретной галереей.

Вдоль вымытых голубых стен висели головы да Силва — от основателя рода до нынешнего главы.

Покрытый морщинами лоб и багровый череп Дона Франсишку сияли с испещренного сизыми пятнами полотна, выполненного через двадцать лет после его смерти бродячим сицилийским художником, который застрял в Уиде в 1870-х годах и явно зарабатывал на жизнь изображениями Гарибальди.

Гораздо ближе к оригиналу был портрет сына, Исидору да Силвы, второго главы клана, написанный в Баие по случаю его двадцать первого

дня рождения в 1837 году. Молодой щеголь-мулат изображен в полный рост в библиотеке, уставленной книгами, в синем фраке, бархатном шарфе и в расшитом в цветочек жилете из белого атласа, сияющем на небольшом брюшке. Одной рукой Исидору держится за лацкан, другой сжимает алмазный набалдашник трости.

Портреты его братьев, Лину и Антониу, также принадлежали кисти сицилийского художника. Была еще фотография в сепии, изображающая пятого главу — Кандиду — в форме почетного полковника португальской пехоты. И наконец, в рамке лежала страница сувенирного каталога Парижской выставки 1900 года, где Эштеван да Силва и его сын Агостиньу-Эзекил были представлены как *Fils et Petit-Fils du Négrier*[97].

Сам Дон Франсишку спал вечным сном под своей кроватью, в комнате, выходившей в сад из красной земли и пластмассовых цветов, где на плоских беломраморных плитах грелись ящерицы. Эта комната принадлежала Яйе Аделине, прачке, которая никого не пускала сюда без разрешения.

Кровать с балдахином со стойками черного

---

[97] Примечания: 97
Сын и внук работорговца *(фр.)*.

дерева и изголовьем, украшенным медальонами из слоновой кости, привезли некогда из Гоа. Но больше всего в комнате привлекала внимание раскрашенная гипсовая статуя святого Франциска Ассизского; его коричневая ряса, подпоясанная веревкой с настоящими узлами, смотрела на заплесневелые простыни своего тезки и воздевала рукава в молитве.

Белая мраморная доска, вмонтированная в пол, гласила:

> FRANCISCO MANOEL DA SILVA
> *Nascido em 1785 Brazil*
> *Fãlecido a 8 de março 1857 em Ajuda (Ouidah)*[98]

На венке из аронников красовалась надпись: *Pour Notre Illustre Aïeul!*[99], на полке стояли позолоченное распятие, пожелтевший *Ecce Homo*[100] и серебряный слон, ставший семейной эмблемой.

---

[98] Примечания: 98

Франсишку Мануэл да Силва. Родился в 1785 году в Бразилии, умер 8 марта 1857 года в Ажуде (Уиде) *(порт.)*.

[99] Примечания: 99

Нашему Прославленному Предку! *(фр.)*

[100] Примечания: 100

Се человек *(лат.)*. Популярный христианский сюжет в искусстве; как правило, изображение Иисуса и Понтия Пилата или одного Иисуса с терновым венком на голове.

В своем почитании предка Яйя Аделина дошла до того, что держала на столике у кровати открытую бутылку джина «Гордонс» на случай, если тот воскреснет.

А на тот случай, если он захочет умыться, она каждое утро набирала воду в серебряный кувшин, отлитый из талеров Марии Терезии, расплавившихся при попадании в склад британского снаряда в 1840-х годах.

Время от времени Яйя Аделина снимала белую ткань, прикрывавшую ржавый, чем-то похожий на зонт, измазанный кровью и обляпанный перьями железный предмет, воткнутый в пол.

Это был асин — дагомейский алтарь мертвых.

За два дня до празднования произошел один инцидент — подполковник Зоссунгбо Патрис из Национальной службы безопасности нарушил тишину сиесты папы Агостиньу и запретил ему служить мессу и справлять поминки.

Подполковнику, одетому в выглаженное до острых складок зеленое облачение десантника, было двадцать четыре года; у него были длинные загнутые ресницы. На поясе висели две гранаты, напоминающие бутылочки одеколона.

Папа Агостиньу, обернув полотенце вокруг живота, качался на кресле-качалке, а молодой

революционер вышагивал взад-вперед, толкая речь, подчеркивая особенно важные моменты взмахами северокорейского автомата.

Семейные праздники, кричал он, это варварские и фетишистские пережитки колониальной эпохи…

Полдень был жарким, подполковник устал.

Его голос сбивался на детскую трель. Он страшно боялся не произвести должного впечатления и, когда папа Агостиньу сделал ему весьма скромное денежное предложение, подполковник испытал такое облегчение и благодарность, что тут же разрешил да Силва продолжить приготовления — правда, при одном условии (он должен был поставить хоть какое-то условие!): в восемь часов они обязаны прослушать президентскую речь.

Затем, с улыбкой лучезарной невинности, подполковник снял кепи, словно был школьником, и вышел со двора спиной вперед.

По пути он раздавил сапогом бегонию.

Этим визитом и объяснялось появление на столе коричневого пластикового радиоприемника, из которого доносились военные марши в тот момент, когда гости собирались на ужин.

Стол был накрыт клеенкой в красную клетку. Керосиновые лампы изливали потоки желтого

света на воздушные корни баньяна. Два манговых дерева, мерцающие светлячками, блестели арками черного бархата на фоне темного неба.

Никогда, даже во времена Дона Франсишку, не становилась Уида свидетелем столь роскошного пиршества. Свиные головы в соусе из бамии и имбиря. Черные бобы, посыпанные мукой из маниоки. Серебристая рыба, блестящая в соусе с перцем малагета. Рагу из морской капусты, дичи и цветков сери, которые, по слухам, обладают свойствами афродизиака. Жареные петушиные гребни, салаты из моркови и папайи, паштеты из креветок, орехов кешью и кокосовой мякоти. Названия бразильских блюд были у всех на устах: ксинксим, ватапа, сарапатен, мокуэка, молокото. Фаллические сладости из тамаринда и тапиоки, амброзия, болосы, бабасы и груды золотых пирожных. Яйя Аделина, с бритой головой, в хлопчатобумажных тканях, которые кружили вокруг нее подобно кольцам Сатурна, огибала стол, зачерпывая понемногу от каждого блюда на пробу в калебас, украшенный тотемными животными.

Дядюшка Прокопиу двинулся к шоколадным пирожным, бормоча: «Византия!» Он уже почти засунул одно из них в рот, когда Аделина ударила

его по спине:

— Как вам не стыдно, сударь! Подождите Отца!

Она поставила калебас на столик у окна спальни Дона Франсишку и накрыла тканью с *broderie anglaise*[101].

Все ждали, что будет дальше.

Звякнул гонг. Загрохотал барабан. Грегуар да Силва выскочил из тени с криком: «Дон Франсишку! Дон Франсишку!» — и во двор вплыла разномастная процессия.

Мужчины в белых набедренных повязках вошли с изображениями, обернутыми в красную материю. Другие несли цыплят и вислобрюхого козла. Все скандировали песню об отце-основателе: «Слон расставляет свои сети на суше и на море…» Их тела были обсыпаны белой пудрой, ритуальные шрамы бугрились на коже, как оплывший свечной воск.

Трое молодых барабанщиков призывали Предка вернуться на землю. Рубашки облепили их кожу, темные пятна расползались из-под мышек, как чернила по промокательной бумаге. Папа Агостиньу надел коралловые ожерелья и оперную шляпу, украшенную бабочками и кро-

---

[101] Примечания: 101
Английской вышивкой *(фр.)*.

воточащим сердцем. Его сын, Африку да Силва, был в кринолине с желтыми лепестками, а Яйя Фелисидаде — в уборе из пурпурных анютиных глазок — размахивала над головой военно-морским британским ружьем XIX века.

Женщины, словно подхваченные барабанным боем, погружались в вибрацию танцевальных движений. Женоподобный мужчина в розовых атласных штанах застонал, покачнулся и рухнул на землю, вытянувшись как доска.

Другие женщины, стоявшие на коленях перед окном и растиравшие перевязанную как окорок козу, кричали:

– *Za! Za! Zanku!* Ночь! Ночь!

Куры пронзительно закудахтали и замолчали. Нож опустился козе на шею, и жизнь ее угасла.

Ставни распахнулись, папа Агостиньу стоял в спальне своего деда. Женщины передали ему наполненный доверху пенистой кровью калебас. Он осыпал кровать, могилу и алтарь мертвых едой и перьями, полил кровью и джином «Гордонс».

Африку воскликнул:

— Мертвые уже едят!

Кто-то произнес пророчество о том, что дождь польет кукурузу, с дальнего конца двора послышался рокочущий голос отца Олимпиу:

– *Syncrétisme!*[102]

Миссис Розмари да Силва потрясла кулаком, крикнула:

— Ах, не ходить тут, нет джу-джу![103] — и ушла; за ней последовал ее муж.

Все сошлись на том, что нигерийцы не отличаются хорошими манерами.

Пока верующие одевались и переодевались, оркестр исполнял бразильскую самбу. Отец Олимпиу занял свое место во главе стола:

– *Bénissez-nous, Mon Dieu, pour la nourriture que nous mangeons ce soir…*[104]

На протяжении всего ужина голос президента доходил до собравшихся трескучими взрывами — что-то случилось с радио. Он призывал народ разорвать «пуповину международного империализма», а когда ему не хватало слов, кричал: «Долой интеллектуалов!» или «Смерть наемникам и приспешникам капитализма!».

Никто не обращал на него особого внимания.

---

[102] Примечания: 102

Синкретизм! *(фр.).*

[103] Примечания: 103

Джу-джу — популярный в Африке вид колдовства, сосуществующий наравне с вуду.

[104] Примечания: 104

Возблагодарим Господа за пищу, которую едим сегодня *(фр.).*

Набив рот кукурузной кашей, Эрменгильду да Силва признался, что принес козла в жертву Гу, богу войны. Мамаша Бенц икала. Аделина чихнула и облила стол ананасовым соком. Дядюшка Прокопиу предложил сыграть «Юмореску» Дворжака, а братья-близнецы, Эвклид и Поликарпу, заспорили о том, какой девиз должен быть у семьи: «Мухи в обществе не видны!» или «Мухи в обществе не приемлемы!».

Но, как обычно, любимой темой была потеря состояния Доном Франсишку; и, как обычно, главный «немец» семьи, Карл Генрих (Газозу) да Силва, положил кулаки на стол и начал свой ежегодный доклад:

— Я располагаю сведениями, полученными от моего покойного отца Антона Вильгельма, что наш выдающийся предок поместил тридцать шесть миллионов долларов США в швейцарский банк…

— Это был не швейцарский банк, — прервал его Агостиньу. — Это был банк Коутиньу в Баие.

— Петрификация!.. — вскричал президент. — Парализация!.. Мистификация!.. Мумификация!

— И твой дядя Антониу…

— Это были не доллары. Это были крузейро…

— …потерял бумагу…

— Он не потерял ее. Он ее пропил.

— …сенсибилизировать… организовать… мобилизовать…

— Я говорю вам, он сжег бумагу из банка. Положил ее в стакан, потом вылил туда бутылку шампанского и выпил.

— Я вам не верю.

— Это был большой стакан.

— А флот? — спросила Яйя Аделина. — Что случилось с флотом?

— Потоплен англичанами.

— …чтобы разгромить этот мрачный заговор с целью уничтожения нашего народа…

— Украден бразильским правительством.

— Они должны вернуть его.

— Они никогда этого не сделают.

— Мы должны начать процесс.

— …чтобы украсть невероятные богатства нашей страны…

— Арахис, — сказал дядя Прокопиу.

— Арахис?

— Мы умерли бы с голоду, если бы не арахис.

— …и громовой ответ наших вооруженных сил…

— И пальмовое масло…

— …наш продуманный и действующий ре-

жим…

— Но арахис вызывает рак.

— Это все, что у нас осталось.

Африку да Силва сказал, что от президента болит голова. Густав возразил, что голова болит от харматана. Кто-то еще предположил, что виноваты крыланы, а папаша Агостиньу устало закончил свою речь, заметив, что Дон Франсишку разорился в тот год, когда Соединенные Штаты перестали использовать раковины-каури в качестве денег.

Мамаша Бенц спросила, что это за каури.

— Каури — это улитка, — ответил он. — Она живет в реке под названием Миссисипи. В старые времена американцы бросали в реку раба и каури питались его мясом; потом тело вытаскивали на берег, и так получали деньги, чтобы купить еще рабов.

— Революция или смерть!

— Так что, когда они приняли закон, каури больше никому были не нужны…

— Марксизм-ленинизм — наше единственное философское руководство!

— …и Дон Франсишку разорился!

– *Ah! Cette chinoiserie de la Révolution!*[105] — Густав да Силва покачал своей прекрасной головой.

— А флот? — причитала Яйя Аделина. — Что же стало с флотом?

[105] Примечания: 105
Здесь: «Ах! Да пошли они со своей революцией!» *(фр.)*

2

В двадцать пять минут восьмого из глубины поместья донесся женский вопль:

— Эй-йео-йо-йо-о-о-о-уо-уо-уо!

Обедающие развели руками и замолчали. В зал ворвалась девочка.

— Это Мама Веве, — крикнула она. — Она не хочет есть.

Распугивая мускусных уток, да Силвы двинулись за девочкой по аллее к дому с фиолетовыми ставнями.

Они заглянули внутрь. Мотыльки кружились вокруг клейкого пятнышка света.

В дальнем конце комнаты лежала, умирая, родная дочь Дона Франсишку, Веве Белая — воплощенное доказательство того, что их Отец действительно был белым. Мадемуазель Эужения да Силва, кожа да кости, умирала на палисандровом диване, украшенном резными анакардями и страстоцветом. Рядом стояла тарелка с нетронутой измельченной папайей.

Ее язык прилип к нёбу. Губы растворились в глубоких морщинах. Виден был только нос, торчащий из лохмотьев черного кружевного чепца,

и большие белые руки, лежащие на складках черного бумазейного платья.

Да Силвы смотрели на это чудо. В том, что она продолжала жить, не было ничего невероятного. Она была немногим старше короля Сагбаджу, который со своими женами и прислугой занимал бунгало за дворцом в Абомее.

Немыслимо было другое: то, что она умрет.

Иногда прохладными вечерами ее ставни со скрипом открывались. Мальчишки, игравшие во дворе голышом, собирались вокруг, и сквозь плотные черные занавески к ним тянулась иссохшая белая рука, нащупывая их головы.

Иногда они видели ее лицо: прозрачную, как у геккона, кожу и зеленые глаза, помутневшие от катаракты.

В ее пальцах все еще была сила. Они перебирали тугие кудрявые локоны, но если касались головы с прямыми волосами, то ласкали и гладили их, а вторая рука, протягиваясь сквозь занавески, награждала владельца монетой Луи Наполеона или королевы Виктории.

По словам остальных да Силва, она жила *en princesse*[106], питаясь бобовой пастой и папайей,

---

[106] Примечания: 106
Как принцесса *(фр.).*

выпивая немного сока манго или настоя травы цитронеллы. Единственной ее спутницей была исхудавшая женщина по имени Маэ Рокса, которая готовила и пробовала ее еду: Мама Веве ужасно боялась, что ее отравят.

В 1953 году, на праздновании своего столетия, она указала пальцем на своих родственников и сказала:

— Помните, что вы бразильцы!

С тех пор она больше не разговаривала. Годы шли, и она ни разу не открыла рта, кроме как за едой.

Пока она не погрузилась в молчание, папаша Агостиньу был единственным человеком, чье присутствие она еще терпела. Он слушал, как она бессвязно рассказывает о событиях века: об амазонках, барабанящих во дворе; о руках генерала Доддса[107], «довольно волосатых для мулата», или об «этой твари» — матери Агате из *Petites Soeurs des Pauvres*[108].

Но когда Агостиньу спросил ее о некоторых

---

[107] Примечания: 107

Альфред Доддс (1842–1922) — французский генерал, участник колониальных кампаний в Африке.

[108] Примечания: 108

Малые сестры бедняков *(фр.).* Женский религиозный институт католической церкви, основанный в 1839 году.

потерянных бумагах и попытался направить разговор к событиям марта 1857 года, она скривила губы.

Ровно девяносто восемь лет назад она влюбилась.

Она была высокой и красивой, с золотистой кожей, ее черные волосы отливали рыжиной. У нее были глаза цвета зеленоватого янтаря, как у неспокойного моря. Уголки рта приподнимались словно в улыбке от произношения долгих, замысловатых звуков бразильского наречия. При виде ее раскачивающейся походки мужчинам приходилось сдерживать себя — в то время она оставалась девственницей.

Однажды вечером, когда дул харматан, она встретила английского торгового агента, идущего с пляжа. Он рассказал ей о судне, стоящем на якоре. На его борту находился профессор, прибывший для сбора растений и животных Дагомеи.

В ту ночь она лежала без сна и пыталась представить себе профессора. На рассвете надела платье из белого муслина, расшитое голубыми цветами, повязала ленту на соломенную шляпу и отправилась с мистером Таунсендом на берег.

Крабы разбегались в разные стороны, когда они ступали по дюнам из белого песка. Сквозь туман

они увидели корпус корабля и качающиеся реи; когда туман рассеялся, разглядели красный флаг и черные точки — пассажиров и команду.

Но прибой был высок. Пассажиры не смогли высадиться, и крумены[109] вернулись в свои хибары.

Через пять дней море стихло. Мистер Таунсенд подал сигнал: «Все чисто!» Она смотрела, как сквозь морскую пену проступают нос каноэ и спины круменов в лучах яркого солнца.

Возле волнорезов плавали акулы, поджидая, когда лодка опрокинется: говорят, эти рыбины были не прочь полакомиться белой плотью. Жрец-фетишист стоял на мелководье, гремя четками. Она тоже молилась. Ей было невыносимо смотреть, как мужчины гребут веслами, стараясь удерживать лодку прямо.

Каноэ с грохотом перевалилось через гребень и шлепнулось на гальку: черные руки вытащили пассажиров на берег, прежде чем нахлынула следующая волна.

Профессор пожал руку мистеру Таунсенду, стер соль с очков и начал проверять свое снаряжение. Это оказался грузный человек с багровым лицом,

---

[109] Примечания: 109

Крумены — африканские моряки, живущие на берегу. Среди прочего доставляли путешественников с кораблей на сушу.

одетый в куртку с множеством карманов и пробковый шлем с вуалью.

В первом порыве разочарования она не разглядела высокого веснушчатого лейтенанта с рыжими усами и голубыми глазами цвета бус у торговок на базаре — и только потом заметила, как заколотилось ее сердце.

В тот вечер лейтенант прибыл в Симбоджи с просьбой о гамачных носильщиках: он собирался в Абомею с посланием для короля.

На ужин лейтенант надел сине-золотую форму Второго вест-индского королевского полка, расквартированного в замке Кейп-Кост. Она немного говорила по-английски, и он сказал ей:

— Скоро мы покончим с этим пиджином[110].

Медленно, чтобы она понимала каждое слово, лейтенант рассказал ей об английской королеве и лондонском Сити. Она пыталась представить себе снег — мягкий и белый, как шелковый пух хлопкового дерева, но только холодный; впрочем, насколько холодный, она не могла вообразить.

Она запустила швейцарские музыкальные шкатулки, когда-то принадлежавшие ее отцу.

---

[110] Примечания: 110

Пиджин — упрощенный язык. Здесь имеется в виду западноафриканский пиджин-инглиш, который использовался в общении между британцами и африканскими работорговцами.

Они смотрели на стальные гребенки и латунные цилиндры, которые крутились нестройно и в беспорядочном темпе, потому что были изъедены ржавчиной. Он попытался спеть «Форель» Шуберта, но мелодия была слишком прерывистая, и все закончилось смехом.

Затем она нашла ключ от шкатулки, которая играла вальсы. Она позволила себе скользить — не зная танцевальных па и доверившись мужской руке, лежащей у нее на спине.

Он играл в бильярд с ее сводным братом Антониу и позволял тому выигрывать. Она слышала, как они переговариваются по-английски, и ловила жадный взгляд голубых глаз сквозь клубы гаванского дыма.

На следующее утро лейтенант пришел с подарками: двумя шарфами из мадрасского шелка, ожерельем из марказита и позолоченным туалетным зеркалом — все это предназначалось для дам короля.

На закате они отправились в сад Зомаи (беленые стволы манговых деревьев, ветерок шевелит ветви кокосовых пальм), где Дон Франсишку когда-то построил китайский павильон.

Павильон имел вздернутые карнизы и круглые окна. Старый садовник подмел его дочиста, слов-

но для пикника. Когда они вошли в дом, садовник выскользнул прочь, и она подумала: «Значит, все это устроил мой брат».

Ее верхнюю губу уколола щетина его усов. Сначала его руки были нежными, но потом она почувствовала, как они твердеют. Она резко отстранилась — так, что порвала платье.

От неожиданности он уронил ее. Она не закричала, но выбежала из сада на красную улицу, где репетировали мальчики-барабанщики из племени фон. Они стали глумиться, показывать на нее пальцами и ускорять ритм, когда она пробегала мимо.

Эужения закрылась в своей комнате и легла лицом вниз на медную кровать, покрытую местными тканями. Только когда подушка стала мокрой от слез, она поняла всю степень своего одиночества.

Не то чтобы она не знала, чего ожидать. В Симбоджи девушек лишали девственности с легкостью лопнувшего стручка. С детства ей был знаком грубый смех женщин, нюхавших окровавленную тряпку. Сводные братья пытались ее изнасиловать. Сводные сестры поджимали губы, если к ним приближался кто-то темнее их самих, но всегда были готовы стать шлюхами

белокожих моряков.

Прирожденный кодекс чести не позволял ей опускаться до их уровня.

Однако, когда он вернулся утром, бормоча извинения, она, словно очарованная кукла-автомат, упала в его объятия.

Она сказала:

— Возьми меня с собой!

— Возьму, — ответил он и тут же пожалел об этом.

Носильщики были готовы сопровождать экспедицию вглубь страны. Лейтенант и профессор легли в полосатые сине-белые гамаки. Носильщики как ни в чем не бывало подняли этот груз и отправились в путь с грохотом гонгов и речитативом труб из слоновой кости. Последнее, что она видела, — это машущие рукава цвета хаки, исчезающие из виду.

В течение трех недель ее настроение менялось от эйфории до отчаяния.

Однажды поздно вечером к ней прибежал мальчик из дома мистера Таунсенда: младший белый вернулся больным, очень больным, а профессора оставил у себя король.

Цвет лица лейтенанта был белее занавесок. Глаза пожелтели, серый рот пенился по краям и

бормотал имена, которые ничего для нее не значили. Мистер Таунсенд диагностировал приступ малярии, который, возможно, окажется смертельным. У Таунсенда закончился хинин, однако ему хватило ума не презреть средство, которое Эужения принесла от травницы. Он влил его в горло больного, и тот поправился.

К лейтенанту вернулись силы, и он судорожно стал искать способ вернуться домой. Когда мистер Таунсенд сообщил о голландском бриге, стоящем на якоре, лейтенант попросил взять его на борт.

Никому из подданных короля не дозволялось без разрешения покидать Дагомею, поэтому ей пришлось спускаться к берегу под охраной. Его манеры были корректны, но голос холоден: из Англии он пришлет деньги на проезд и выкуп за невесту.

День был серым и безветренным, но от грохочущих волнорезов шел поток воздуха, трепавший между ног ее муслиновое платье. Она помахала платком, когда каноэ отчалило. Он не помахал в ответ, лишь неподвижно смотрел в море на ожидающий корабль.

Она ждала полгода, год, два года. Она научилась искусству плетения кружев у рабыни, освобожденной из Баии. Вместе они мастерили головные

уборы, нижние юбки и салфетки: она жаждала овладеть всеми видами совершенств, необходимых для леди.

Она пыталась научиться читать. Притворялась, что читает, но, хотя могла отличить одну страницу от другой и даже запомнить буквы на странице, была не в состоянии разгадать смысл строк.

Надеясь овладеть английским языком, она каждый четверг ходила на службу с пением гимнов в методистскую часовню. Преподобный Бернабо был мулатом из Сьерра-Леоне с бакенбардами Дандрири[111], получивший образование в Англии. Он научил ее гаммам на маленьком пианино, и вскоре под такт метронома она уже играла «Пребудь со Мною» или «Я видел, как во славе Господь явился нам».

Дочери миссионера обожали ее. Когда они надевали белые платья и пели, у ворот обязательно собиралась толпа с широко раскрытыми глазами. Эужения была глубоко огорчена, узнав, что женщины устроились на эту работу, чтобы отцу было на что купить выпивку.

Она совершала долгие прогулки в одиноче-

---

[111] Примечания: 111

Лорд Дандрири — персонаж комедии Тома Тейлора «Наш американский кузен» (1858), известный своими пышными бакенбардами.

стве.

В грозовые дни, когда перпендикулярные тучи громоздились высоко в небе, Эужения пробиралась через пальмовые рощи к лагуне и смотрела, как черно-белые зимородки порхают над темной водой.

Иногда она уходила вглубь острова к стойбищам племени фульбе. Эти светлокожие люди спали под звездами и сохраняли до старости свою красоту. Харматан пригонял их из саванны на побережье. Их лиророгий скот с треском двигался по траве. Она приветствовала их приход: сухой сезон вел на побережье и европейцев.

Ее глаза вопросительно смотрели на мистера Таунсенда, но гордость не позволяла ей спрашивать о новостях. Он старался избегать ее: черствость соотечественника его смущала. Только когда Таунсенда призвала к себе фирма, он нашел в себе мужество рассказать ей о письме профессора: лейтенант вышел в отставку, женился и поселился в Сомерсете.

— О! — сказала она.

Он ожидал вспышки горя и протянул руку, чтоб утешить ее. Но она взглянула на него как на сумасшедшего и побежала по песку босиком, напевая и пританцовывая, туда, где крумены

переносили с корабля пустые бочонки из-под пальмового масла.

Годы сделали контур ее лица жестче, превратив его в угловатые плоскости. Уголки глаз сузились. Кожа натянулась на носу и скулах, рыхлыми складками легла на горло. В тридцать лет она была уже старой девой, но в последующие годы внешность ее почти не менялась. Невольничий берег либо забирает своих жертв молодыми, либо маринует их до глубокой старости.

Постепенно круг ее знакомых сузился до служанки, мальчика-раба из племени махи, отца и рыжеволосого незнакомца. Не в силах отличить реальность от фантазии, она не делала различий между живыми, мертвыми и отсутствующими.

Для нее все родственники были лишь масками ночного кошмара. А да Силвы, в свою очередь, смотрели на белую бездетную женщину с суеверным благоговением.

Они подозревали, что у нее дурной глаз и сжигали ее выпавшие волосы и обрезки ногтей. Женщины говорили, что по ночам она бродит вокруг Симбоджи, разгребая землю, пропитанную их слюной.

Поскольку никто не хотел спать с ней под одной крышей, ей отдали старую виллу Жуакина

да Силвы в дальнем конце поместья. Она купила кусок черной ткани и задрапировала им свою комнату. Она и сама стала носить все черное: строгое платье до икр и кружевной чепчик, завязанный под подбородком.

Долгие годы Эужения преданно ухаживала за ара своего отца, злобной птичкой по кличке Зе Пиранья, клевавшей исключительно незнакомцев и собственные перья, пока не умерла от истощения. Затем Эужения перенесла свою любовь на чесоточную суку, болеющую маститом, которая лежала весь день в тени банана, а на закате садилась на ступеньки и выла. Поместье Симбоджи пришло в упадок. Крыши рухнули, стены осыпались. Сорняки задушили груды обломков, отданных ящерицам, скорпионам и змеям. Лишившись дохода от работорговли, да Силвы погрузились в тропическое оцепенение.

В 1882 году торнадо пронесся над домом Дона Франсишку, взвинчивая в воздух и разбрасывая по городу черепицу.

В 1884 году некая девушка жарила орехи кешью, один из них вырвался из мангала и поджег крышу. Тринадцать домов сгорели дотла.

В 1887 году главой семьи был избран Кандиду да Силва, один из младших сыновей Дона Фран-

сишку, проявивший талант к восстановлению утраченного состояния. Он даже убедил короля Дагомеи поставить свой крестик на документе, передававшем Уиду под протекторат португальцев.

Колонизаторы прибыли с острова Сан-Томе с военным отрядом и разбили в поместье казармы. Король прислал Кандиду лестное приглашение в Абомею. Тот поехал, одетый в форму португальского полковника, со своими женами, детьми, зонтиконосцами, музыкантами и почетным караулом из амазонок.

И не вернулся.

Майора-португальца, который отправился спросить о судьбе своего боевого товарища, провели в глинобитный дом с парой ножей, воткнутых по бокам от входа. Высокородный полковник сидел, привязанный к европейскому стулу, все еще в погонах, с железной цепью на шее и деревянным кляпом во рту. У его ног стояла серебряная миска, в которой жужжали мухи.

— В эту чашу, — сказали офицеру, — должны падать головы всех, кто беспокоит королевство.

Девять дней спустя в Симбоджи ворвался отряд амазонок в мундирах с вышитыми крокодилами — эмблемой их отряда. Они стреляли из мушке-

тов в воздух и исполняли танец обезглавливания, предупреждая да Силва, что если они посмеют продать хоть крупицу дагомейской земли иностранцам, то дом будет сломан, разрушен, уничтожен, а их самих отправят работать на королевские плантации или к предкам короля, чтобы рассказать им, как обстоят дела в этом вероломном мире.

На несколько месяцев Симбоджи был объят гробовой тишиной.

Сеньорина Эужения воспользовалась этой катастрофой, чтобы унести к себе некоторые реликвии Дона Франсишку, словно, собрав его вещи, могла вернуть его к жизни.

Она взяла его серебряный портсигар, розово-опаловый ночной горшок, тавро из слоновой кости для рабов с инициалами «Ф. С.», четки из карнаубских орехов, несколько клочков бумаги с его почерком, литографию императора Педру II[112], изображение их бразильского дома и особенно кровожадное полотно с Юдифью, отрубающей голову Олоферну.

Ее товарищем по экспедициям был десятилетний сын Кандиду да Силвы, Сезариу. Родители

---

[112] Примечания: 112

Педру II (1825–1891) — второй и последний император Бразилии.

отправились в Абомею без него, и теперь мальчик остался сиротой.

Сезариу, с его зелеными глазами и копной светлых волос, был отпрыском иной, старинной семейной ветви. И как молодые птенцы изгоняют альбиноса из гнезда, так и другие мальчишки семейства превратили жизнь Сезариу в мучение, забрасывая его грязью и гнилыми фруктами.

Климат не благоволил ему. Солнце сдирало с него кожу, оставляя розовые пятна. На переносице постоянно появлялся струп, а комариные укусы превращались в рубцы и становились гнойниками.

Однажды утром он пришел к Эужении с клещами в левой ноге.

Она положила его на кровать, наточила лезвие ножа, разрезала плотную кожицу на ступне и выковыряла кладку с яйцами. Он даже не всхлипнул. Она поцеловала его в лоб и забрала жить к себе.

Эужения никогда не ухаживала за детьми — каждый день приносил что-то новое. К ней вернулась легкая походка и ослепительная улыбка. На лице проступил румянец. Она сбросила с себя траур, вставила в уши золотые обручи и ходила по рынку в платье ярких цветов.

Она одела Сезариу в белый костюм и панаму из пальмового волокна и отправила к французским священникам, чтобы те научили его читать. Он возвращался домой с рассказами о железных дорогах, рыцарях в доспехах и всякой полезной информацией: предки на самом деле были галлами, коровы в Верхней Савойе дают в шесть раз больше молока, чем коровы в Африке.

Особенно ему понравилась история о Моисее и фараоне, и он все время спрашивал, был ли фараон таким же, как король Дагомеи; когда ему сказали, что нет, он разочаровался в фараоне.

В дождливые дни она доставала цветную гравюру, созданную Церковным миссионерским обществом в Абеокуте, и, указывая на седобородого путника, призывающего на «узкий и тесный путь»[113], говорила:

— Смотри! Это фотография твоего деда!

В другие дни они расстилали панораму Баии, и он зачитывал названия: «Дом Милосердия… Монастырь Святого Бенедикта… Монастырь Святой Терезы…», а ее взгляд метался по куполам, башням и фронтонам, которые напоминали ей Новый Иерусалим, спустившийся с небес.

---

[113] Примечания: 113

«Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь…» (Мф. 7: 14).

Она пыталась представить себе дом, в котором они будут жить, когда вернутся в столицу. Рассказывала о танцах в Баие, в высокой голубой комнате, украшенной зеркалами и золотыми колоннами, — все было неправдой, ведь она никогда не бывала дальше Уиды.

Иногда они заходили к немцам. В 1890 году торговая компания из Гамбурга под названием «Гёдельт» взяла в концессию старый британский форт. Новоприбывшие пили пиво из керамических танкардов[114], а по вечерам их столовая затягивалась трубочным дымом. На стене висели часы с кукушкой, расписанные красными розами, и картины с изображением Дочерей Рейна[115] и молодого кайзера Вильгельма II.

Сезариу был любимцем директора герра Раабе, который подумывал о том, чтобы выучить его на бухгалтера. Всякий раз, когда Эужения приходила за Сезариу, она приносила курицу или фрукты и застенчиво стояла в дверях на одной ноге, глядя на стену.

Немцы думали, что она ждет кукушку. Когда

---

[114] Примечания: 114

Танкард — высокая пивная кружка.

[115] Примечания: 115

Дочери Рейна — три нимфы, персонажи оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунгов».

птица выскакивала из своего окошка, они говорили по-английски:

— Ну все, старушка, хватит. Спасибо. Пора домой! — а когда дверь за ней закрывалась, по-немецки: — Боже мой, что за взгляд у этой женщины!

А она всего лишь смотрела на кайзера.

Однажды вечером они с Сезариу пересекали Сагбаджи в тишине, которая обычно предшествует буре. Белые флаги неподвижно висели над фетишем. В тени скрючились какие-то старики с низко опущенными головами, выбеленные с головы до пят. В город слетелось необычное количество грифов-индеек.

Из одного дома послышался тихий стон; из другого скорбящие вынесли труп, завернутый в тростниковую циновку, из которой наружу торчали лишь ноги. Они увидели человека, на четвереньках вползающего в кусты. По всей улице виднелись пятна рвоты и желтых экскрементов.

Холера сошла на берег вместе с командой корабля.

Они поспешили домой. Эужения заперла дверь на засов и никого не впускала: она хорошо помнила эту заразу.

На третий день в сумерках Сезариу почувствовал головокружение и вынужден был прилечь. Уже через час он испачкал свою постель. Пот ручьями стекал по его коже, оставляя ее холодной, жесткой и липкой. Его глаза утонули в глазницах и уставились на стропила. Он не терял сознания и крепко сжимал в пальцах ее руки.

Кризис наступил в тот момент африканского рассвета, когда все вокруг превращается в золото. В саду ворковали голуби. Солнечный свет падал в окно и обрамлял женщину в голубом, стоявшую на коленях у кровати мальчика. По его телу пробегали судороги, грудная клетка выгибалась гармошкой.

Она наклонилась и поцеловала его, медленно проведя языком по пересохшему рту, молясь, чтобы болезнь оставила мальчика и пришла к ней.

Он вздохнул:

— Оставь меня в покое, — и вскоре покинул ее.

А Эужения продолжила жить.

Она пошла к бразильскому торговцу и купила отрез лазурной ткани, которую носят ангелы на небесах. Она обмыла тело, уже принявшее зеленоватый оттенок. Она завернула его и положила в гроб из дерева ироко. Она уложила его волосы, как нимб. Она вложила в его руку золотую моне-

ту, и садовник прибил над ним крышку.

Сезариу похоронили на семейном кладбище, под окном Дона Франсишку, над головой установили крест из пальмовых ветвей. Никто из ее родственников не обратил на это внимания, их слишком занимала собственная смерть.

Через три дня помощник Раабе увидел, как она шла по пляжу, низко опустив голову и что-то бормотала, глядя, как песок просачивается между пальцами ног.

Потом она рассмеялась, широко развела руки и помахала черным платком в сторону безлюдного моря.

Помощник спросил, что она делает, и Эужения ответила:

— Он уехал в Баию.

Последующие годы пронеслись над ней, не нарушая ее уединения.

Она не заметила человеческих жертвоприношений, ознаменовавших приход к власти нового короля, Беханзина Акулы. Она проигнорировала французскую бомбардировку Уиды, в результате которой погибло сто тридцать человек и был уничтожен священный королевский баобаб. Она не радовалась, когда Эштеван да Силва водрузил на флагшток импровизированный триколор и

положил начало их семейной карьере в качестве «коричневых французов».

Событиями ее жизни были урожай пальмовых орехов и праздники бразильской церкви. Каждый сентябрь в течение трех недель перед днем святых Космы и Дамиана они со служанкой Роксой шили оборчатые платья для сестер-близнецов, которым в городе поклонялись почти как божествам. В январе они помогали изготавливать костюмы для праздника *Bumba Meu Boi*[116]. Третьего июня, в день Иоанна Крестителя, они сидели у часовни португальского форта и жарили для прихожан початки кукурузы.

Поскольку эти события повторялись из года в год, она потеряла всякое ощущение времени.

Маэ Рокса умерла во время эпидемии оспы 1905 года, отказавшись от прививки. Ее место заняла восемнадцатилетняя бразильянка, настоящее имя которой было Кристелла Чавес, но Эужения называла ее Роксой, требуя от девушки вспоминать события последних пятидесяти лет.

К 1914 году часовня в форте пришла в упадок. Эужения давно мечтала заполучить голову

---

[116] Примечания: 116

Букв.: «Бумба, мой бык» *(порт.).* На этом ежегодном бразильском карнавале разыгрываются сцены из разнообразных мифов, в центре которых история убийства и воскрешения священного быка.

Крестителя и, чтобы уберечь ее от мародеров, взяла себе на хранение. Голова со стеклянными глазами и всклокоченными черными кудрями была работой африканского скульптора из Баии, который со скрупулезным вниманием к деталям изобразил аорту, пищевод и третий шейный позвонок. Затем прикрутил все это к минтоновскому блюду для мяса с узором из сиреневых гвоздик: нарисованная кровь стекала в черпак, предназначенный для сбора подливы ростбифа.

Затем она задумала превратить спальню Дона Франсишку в святилище.

С Роксой она смастерила четки. Сделала реликварий. Сплела венки из искусственных цветов, собранных из морских раковин, и сымпровизировала Святой Дух из пилливютовского чайника в виде цыпленка. Они повесили панораму Баии, изображение Юдифи с Олоферном и несколько религиозных цветных гравюр: святая Марта с парой кровоточащих сердец, улыбающаяся святая Лучия с глазами, лежащими на ладони.

Голову Крестителя они поставили на алтарный стол.

Затем, когда работа была почти закончена, ей пришла в голову идея купить статую святого Франциска, чтобы стояла у изножья кровати ее

отца.

Скупщик пальмовых орехов, месье Пуадевину, отправил некоторую сумму (аванс за часть будущего урожая) в марсельскую фирму, которая специализировалась на статуях святых.

Poverello[117] прибыл на вокзал в крепком ящике. Бразильский оркестр заиграл самбу. Мама Веве — так ее теперь называли — стояла, улыбаясь, на перроне. Впервые за двадцать пять лет она не была в черном.

Отцы собора Африканской Богоматери услышали об этом трогательном примере веры и предложили свою помощь. Но она никого не пускала в комнату, пока не подготовила все к освящению.

Однажды утром отцы Труатар, Боэ и Зерринджер спустились в Симбоджи в безупречно белых сутанах и сандалиях. Она отворила дверь и торжественно ввела их внутрь.

Они увидели голову Олоферна, голову Крестителя, рабские цепи, туалетное зеркало, гвозди и испачканные кровью перья. Отец Зерринджер, любитель зоологии, осмотрел реликварий и опознал коготь стервятника, позвонок питона,

---

[117] Примечания: 117
Бедняк *(ит.)* — прозвище Франциска Ассизского.

фрагмент черепа бабуина и барабанную перепонку льва.

– *Ce sont les gri-gris du marché*[118], — прошептал он.

Поговорить начистоту с Мамой Веве поручили отцу Труатару, поскольку тот был менее склонен к сектантской гневливости. Отец Труатар — стыдливый человек с изрытым язвами лицом и добрыми карими глазами — провел годы в общении с волнами и буревестниками на острове Уэсан. Он немного знал португальский.

Мать-Церковь, объяснил он, не может допустить поклонения идолам на святой земле. Вера у Мамы Веве есть. Сердце готово, и плоть готова. Но ей требуются уроки Священного Писания. К тому же решение поставить святого Франциска у могилы рабовладельца никак нельзя назвать мудрым.

— Но он отправил их в РАЙ! — закричала она и указала на картину с панорамой Баии.

— Святой Франциск, сестра моя, был бедным странником, который любил всех людей, птиц и животных…

Она не слушала. Хриплый крик сорвался с ее

---

[118] Примечания: 118

Это же гри-гри с рынка *(фр.). Гри-гри* — разновидность талисманной магии.

губ. Ее руки беспомощно взмахнули. Она бросилась под палящее солнце и упала навзничь.

Два дня спустя мать Агата из *Petites Sœurs des Pauvres*, протопав мимо Роксы, вошла в комнату Эужении, только чтобы вылететь оттуда через пять минут с исполосованным в кровь лицом и в порванной одежде, ставшей карминовой.

Мама Веве просидела следующие шестьдесят лет в затхлом помещении, вдыхая запах гниющей парчи, уставясь на переносную молельню с Тайной вечерей.

Это была витрина со стеклянной крышкой, размером с маленький кукольный домик, сделанная монахинями из Соледада в Баие. В миниатюрной комнате были небесно-голубые стены, зеркала и позолоченные колонны. Пол был украшен золотистым маркетри, под стеклянным куполом на каминной полке стояли часики. Деревянные фигурки Христа и апостолов готовились поужинать гипсовым цыпленком. Глаза Господа были бирюзового цвета, на голове у него щетинились настоящие рыжие волосы. В своем воображении Мама Веве уменьшала свое тело настолько, чтобы встать, наблюдая за происходящим, в дверном проеме; при этом она была готова в любой

момент отшатнуться от коварного мулата[119], который выходил из комнаты в середине ужина.

Годы шли, дом, в котором жила Мама Веве, никто не ремонтировал. Солома сгнила, ставни раскололись, а когда муравьи разворошили пол, кресло-качалка перестало раскачиваться. В сезон дождей по углам вырастали сорняки, бледные от недостатка света. На стенах появились пятна плесени; из осиных гнезд в стропилах расходились красные ручейки, пересекавшие термитные тропы.

Лишь однажды, в 1942 году, прервался привычный ритм ее жизни.

После шумного *vin d'honneur*[120] жена иностранного гражданина, мадам Бурлатон, перепутав газ с тормозом у своего «пежо», разнесла на куски Айзану, рыночный фетиш, по всей площади. Фетишисты потребовали принести человеческую жертву для повторного освящения места. Ее муж отказался. Начались беспорядки.

Взвод сенегальских спаги открыл огонь, убив козу и ранив женщину в ногу. Рокса услышала выстрелы и через четыре часа прибежала в ка-

---

[119] Примечания: 119
Имеется в виду Иуда, которого монахини изобразили черным.

[120] Примечания: 120
Приема *(фр.)*.

зарму с сообщением для командира: мадемуазель да Силва будет рада его принять.

Лейтенант Андре Паризо был наслышан о таинственной белой женщине, которую никто не видел. Он не спеша уложил волосы макассаровым маслом и надел лучший костюм.

— Лейтенант, — сказала Мама Веве. — Я буду играть в честь вашей победы. Рокса, принеси мне мое пианино!

Рокса внесла белую доску с тридцатью пятью черными клавишами, и лейтенант кусал губу, пока ее нестриженые ногти выцарапывали арпеджио, а из червоточин сыпалась пыль.

Шкаф Дона Франсишку, державшийся лишь благодаря покрытой лаком поверхности, дожил до 1957 года; затем он рухнул, обнажив обломки китового уса и лоскуты черной тафты, взлетевшие вверх, как бумажный пепел.

Пауки превратили клетку попугая в слепой серый кокон. Картины облупились, от двенадцати апостолов сохранились лишь покрытые пятнами обрубки. Только из головы Христа, подобно перископическим глазам у некоторых рыб, по-прежнему торчали на стебельках две голубые стеклянные бусины.

Глаза самой Эужении слишком устали, чтобы

рассматривать лица, заглядывающие к ней в окно. Впрочем, Эужения уже видела их много лет назад, они давно были здесь, как она и предполагала.

Развинтив серебряный фиал, отец Олимпиу да Силва совершил соборование, и в комнате зазвучала молитва. Модест взмахнул кадилом, и клубы голубого дыма потревожили зажужжавших ос.

Она не вспотела. Ее лицо оставалось неподвижным. Никто бы и не подумал, что под этой бумажной кожей есть вены, артерии и бьющееся сердце.

Затем ее губы раскрылись со звучным хлопком. Да Силвы услышали тихий звук. Сначала они не могли понять, что это — шелест ее кожи, шорох черной бумазеи или начало предсмертного хрипа.

Слово отделилось и поплыло по комнате. Второе прозвучало отчетливо. Вереница слов, слабых, как ветер в далеких ладонях.

— Бумаги, — шепотом сказали да Силвы. — Спросите ее о бумагах.

Папа Агостиньу приложил ухо к ее рту. Затем выпрямился и на цыпочках отошел к окну.

— Она говорит по-португальски. Кто-нибудь говорит по-португальски? Неужели никто больше

не говорит по-португальски?

3

Человек, высадившийся в Уиде в 1812 году, родился двадцатью семью годами ранее неподалеку от Жайкоса в Сертане — сухом, заросшем кустарником скотоводческом краю на северо-востоке Бразилии.

Жители Сертана бедны и дики. У них узкие лица, гладкие волосы и зеленые глаза, доставшиеся им от голландских или кельтских предков. Они ненавидят негров и верят в чудесные исцеления. Их легенды рассказывают о короле-призраке по имени Дон Себастьян, который избавит землю от Антихриста.

Как и все, кто родился в тернистых землях, они мечтают о зеленых полях и беззаботной жизни. С легким сердцем они иногда отправляются на юг, в Сан-Сальвадор-да-Баия, но, увидев море и город, впадают в панику и поворачивают назад в свои пустоши.

Отец Франсишку Мануэла, наемный работник на ранчо, погиб во время загона молодых бычков. Его кожаная шляпа зацепилась за развилку двух веток, подбородочный шнурок соскользнул на шею и задушил его. По следам потерявшей седока

лошади друзья обнаружили тело, чуть волочившее ногами по земле.

Сыну тогда исполнился год.

Его мать была женщиной очень раздражительной. Ее руки покрывали мозоли и шрамы. На висках проступали синие вены, сквозь редеющие волосы виднелся покрытый наростами череп. На лице застыло выражение ярости: она злилась на свою сморщенную грудь, на лубяные сандалии (которые носила вместо туфель), на то, что перина не из пуха, а распятие не из золота.

Бóльшую часть дня она проводила сидя на корточках в пятнистой тени акаций и покуривая каменную трубку.

Дом с травяной крышей и стенами из спрессованной земли и стружек стоял на открытой местности в гуще деревьев умбу. Ставни были выкрашены в холодный голубой цвет, но этот холод оставался иллюзией.

Двор огораживала баррикада из бромелий. Рядом находилась поилка для скота, сплошь заросшая ряской; за ней серо-зелеными волнами поднимались заросли терновника, пронизанные черными канделябрами кактусов.

В доме находилось три комнаты, их голые белые стены были засижены мухами. Со стропил,

словно ветви, свисали свернутые гамаки, на крыльце болтались седла, шляпы и недоуздок. Двери охраняла статуэтка святого Онуфрия, еще одна — статуэтка святого Власия — отгоняла муравьев. Женщина хранила белую скатерть на алтарном столе, хотя давно перестала молиться.

Через несколько недель после смерти мужа она сошлась с индейцем-полукровкой по имени Мануэлзиньу, который однажды пришел к ней в дом и попросил воды. У него была заячья губа и зубы, похожие на кусочки ржавого металла. Завязки его камзола так туго стягивали грудь, что казалось, вот-вот порвутся. Он убивал змей и продавал их на рынке.

У его лошади было обрезано ухо; когда его спрашивали: «Что случилось с ухом твоей лошади?» — он мрачно отвечал: «Жуки съели».

Первые воспоминания: мальчиком он наблюдает за парочкой, днем и ночью возившейся в сизалевом гамаке; уже тогда он чувствовал себя чужим.

Впрочем, всякий раз, когда мужчине удавалось удовлетворить женщину, ее голос становился менее хриплым, а рот чуть расслаблялся в улыбке. Она принималась готовить, вычесывала сыну вшей и рассказывала старые истории о Доне

Себастьяне и принцессе Магалоне.

Вспоминая более счастливые времена, женщина загадывала ему загадки, которые выучила в детстве: про авокадо, у которого «сердце быка», или про «девушек в замке, одетых в желтое», которые оказывались связкой бананов. А потом шла его любимая:

Igrejinha bem rondinha,
Bem branquinha,
Não tem porta,
Não tem janela,
Dentro dela tem tesouros:
Um de prata, outro d'oro.

Маленькая круглая церковь,
Вся белая,
Без дверей,
Без окон,
Внутри сокровища:
Одно из серебра, другое из золота.

Ответ: яйцо.

Мануэлзиньу был прирожденным скитальцем. После недели «плена» он готов был двигаться дальше. Он бродил по двору и глядел на солнце,

словно оно садилось слишком медленно. Взбивал пыль кнутом или сидя метал ножи в бревно.

Настал день, когда женщина смотрела, как он постепенно превращается в пепельную точку; ее пальцы царапали столешницу, щепки забивались под ногти.

Много лет спустя, связанный по рукам и ногам в тюрьме короля Дагомеи, Франсишку Мануэл будет вспоминать год великой засухи.

Тем летом — ему тогда было семь лет — тучи, как обычно, заволокли небо и разорвались в клочья. Пять дней дождь поливал землю, всходы прорастали, и повсюду порхали сонмы желтых бабочек. Потом тучи исчезли. Солнце задрожало в синем металлическом небе. Грязь потрескалась.

Однажды на закате мать и сын наблюдали за стаями уток, летящих на юг. Она обняла его и сказала:

— Утки улетают к реке.

Дул горячий ветер, скрывая горизонт в пыли и гоняя по двору козьи катышки. Когда водоем пересох, весь скот собрался вокруг ямы, затянутой зеленой слизью; животные стонали, вытягивая морды, усеянные колючками.

В хижине за домом жил старый индеец-карири по имени Феликс, который ухаживал за живот-

ными вдовы в обмен на стол и кров. Однажды вечером индеец ввалился на кухню и хриплым от безнадежности голосом сказал:

— Они дохнут.

Он вырезáл куски кактуса, очищал от колючек и закладывал в кормушки. Но скот продолжал околевать.

Тела животных были покрыты маленькими розовыми припухлостями, забитыми клещами. Они ранили себя, пытаясь добраться до последних засохших листьев, а когда умирали, их шкуры были такими жесткими, что птицы не могли добраться до внутренностей.

Пожары проносились по стране со смолистым треском, оставляя бархатистые пни там, где когда-то были деревья. Огонь охватил Феликса, когда тот рубил просеку, и его тело нашли обугленным и блестящим, с белозубой гримасой и зеленой слизью, вытекающей из носа. Женщина вырыла могилу, но пес раскопал ее и разгрыз тело на части.

По ночам крысы бегали по веревкам гамака и кусали мальчика. Во дворе появились гремучие змеи, нападающие на все, что подавало хоть какие-то признаки жизни. Затем в дом вторглись полчища бродячих муравьев, и у женщины хва-

тило сил лишь на то, чтобы спасти кастрюлю с мукой из маниоки и несколько кусков высушенной на ветру говядины.

Наконец, когда они уже потеряли надежду, из колючего кустарника вылез Мануэлзиньу (он жил неподалеку, питаясь недожаренными телами грызунов). Мужчина вырыл колодец и поднялся наверх с толикой противной жидкости, отдающей железом. Однако через неделю все три кувшина с водой опустели.

Рот мальчика потрескался и покрылся язвами. Веки горели. Ноги отекли. Ему давали пюре из пальмовых корней, но те разбухали в желудке и судороги пригвождали его к кровати. Казалось, вся влага вышла из его тела. Плакать сил не было — даже когда мать впала в предсмертную агонию.

Проснувшись утром, он обнаружил, что ее левая нога безвольно свисает с гамака. Мануэлзиньу поднял ткань, закрывавшую лицо от мух. С ужасающей нежностью людей, доведенных до предела, мать попросила мужчину позаботиться о ее сыне, ради спасения которого уморила себя голодом.

Она умерла ночью, не издав ни единого стона, отправившись в свой собственный оазис за пре-

делами этого мира.

Мальчик смотрел, как Мануэлзиньу хоронил его мать. Затем они отправились на юг к реке, мимо обширных стоянок людей, которые слишком устали, чтобы двигаться дальше. Рядом на деревьях сидели черные птицы и ждали.

На второй день пала лошадь — но люди оказались выносливее лошадей.

Они добрались до реки у паромной станции Санта-Мария-да-Боа-Виста; там Мануэлзиньу оставил сироту священнику и уехал.

Это путешествие мальчик не запомнил, но в течение многих лет забирал с ужина последний кусок мяса и хранил под подушкой.

Городок Санта-Мария-да-Боа-Виста лежал на северном берегу реки Сан-Франциско, там, где она огибает провинции Баия и Пернамбуку.

Он состоял из одной улицы, растянувшейся вдоль скалистого обрыва, с домами, крытыми черепицей. Внизу плескались мутные речные воды, по которым неслись ветви и целые деревья из более плодородных земель, расположенных выше по течению. Город увенчивала белая церковь: простой голубой крест возносился над фронтоном, растворяясь в вышине безоблачного неба.

Отец Менезес Бриту был толстым самодоволь-

ным португальцем, сосланным сюда за какой-то проступок; он любил крестить индейских младенцев собственной слюной. Отец Менезес кормил Франсишку Мануэла и разрешал ему ночевать в сарае. Надеясь приобщить мальчика к церкви, он научил его звонить в карильон, основам латыни, азам математики и искусству написания букв итальянским курсивом[121].

Менезес рассказал мальчику о Баие и ее трехстах церквях, о городе Лиссабоне и о священном городе Риме. Он определял его на роль святого Себастьяна в процессиях на *Corpus Christi*[122], называл его «мой зеленоглазый ангел» и в то же время заставлял падать ниц и каяться в черных грехах своей души. Иногда опекун приводил Франсишку Мануэла в спальню, пропахшую ладаном и мертвыми цветами, и там целовал его.

Деревенские мальчишки называли новичка *Chico Diabo*[123] и постоянно придумывали, как навредить ему; однако стоило тому посмотреть

---

[121] Примечания: 121

Итальянский курсив — один из самых известных западных шрифтов, ставший символом итальянского Возрождения.

[122] Примечания: 122

Тело Христово *(лат.).* Имеется в виду католический праздник Тела и Крови Христовых.

[123] Примечания: 123

Мальчик-дьявол *(порт.).*

им в глаза, они сразу отступали.

Его единственным другом был чернокожий мальчик Пепеу, которого он держал в вечном страхе. Вместе они ощипывали зябликов, кое-что творили с мягкой арбузной плотью и кричали непристойности девушкам, полоскавшим в реке требуху.

Однажды они попытались распять кошку, но она убежала.

В базарные дни они отправлялись на скотобойню, где старухи дрались за отбросы с бродячими псами. Мясники в красных колпаках и бриджах из синей китайки, забрызганных кровью, попыхивали сигарами и забивали тесаком всякое животное, еще стоявшее на ногах.

Коровы взирали смиренно на своих убийц.

— Как святые, — говорил Франсишку Мануэл.

Гораздо лучше любого священника он понимал суть мученичества Христа, литургию терний, крови и гвоздей. Он знал, что Бог создал людей для мучений, однако его собственные страдания сделали его нечувствительным к страданиям других. К тринадцати годам он носил на поясе нож с агатовой рукоятью, старательно подстригал усы и не проявлял ни малейшей брезгливости, отправляясь поглазеть на порку у позорного

столба.

Каждый год в октябре, когда под последними дождями созревали кешью, пастухи с окрестных ранчо сгоняли свои стада и отправлялись в долгий путь на юг, к рынкам Баии. В город шли вереницы скотины. Это были большие грузные животные, с болтающимися складками подгрудка и шкурой цвета кукурузной муки; вокруг них в тучах пыли бегали мужчины с криками: «Йе… Хуу… Хе… Хе… О… О… О… О… О!..»

Иногда на дорожке, ведущей к реке, какая-нибудь уставшая корова ложилась, а другие разбегались по сторонам, ломая заборы и вытаптывая бобовые грядки деревенских жителей. Из домов выбегали женщины, трясли кулаками, но погонщики не обращали на все это никакого внимания: скотоводы, казалось, никогда не замечали садов.

Франсишку Мануэл помогал поднимать животных на баржи, а после наступления темноты слушал рассказы про разбойников и пум. Однако если он просил погонщиков взять его с собой, то обязательно находился кто-нибудь, кто говорил: «Мал еще мальчишка», и он возвращался назад — к жесткой кровати и неумолимому распятью.

Он уже решил бежать, когда в город прибыл

всадник с известием, что старый приятель его матери умирает на ранчо в нескольких лигах отсюда.

У входа в хижину гнедой жеребец что-то жевал возле коновязи. Франсишку отодвинул коровью шкуру, служившую дверью, и увидел исхудавшую фигуру, лежащую на тюфяке из соломы. Лицо покрывала корка гнойников, глаза были закрыты.

Мануэлзиньу слабым взмахом указал на седло, арапник, жилет из кожи оцелота, непромокаемый плащ из шкуры удава и кожаную шляпу, украшенную металлическими медальонами.

— Возьми, — сказал он.

Мальчик ускакал с несколькими проезжавшими мимо всадниками. Он не попрощался со священником и никогда больше не возвращался в эти края.

Следующие семь лет он скитался по захолустьям Северо-Востока, подрабатывая то учеником мясника, то погонщиком мулов, то торговцем скота, то золотоискателем. Чувство счастья вспыхивало в нем лишь в момент подступающего отъезда.

Пыльные бури обжигали кожу. От одежды пахло кислым молоком и лошадьми. Когда засуха

расцарапывала ему горло, он успокаивал его настойкой, приготовленной из хвоста гремучей змеи.

Лица он забывал, но помнил ощущения: вкус мяса броненосца, запеченного в глине; ожог агуардьенте[124] на языке; удовольствие от горячей крови, текущей по рукам, от возможности мочиться, не слезая с лошади.

Он жил в деревнях у индейцев. Ездил с цыганами, продававшими немытых рабов и скапулярии[125] святого Антония. Как-то целый сезон он промывал гравий, работая плечом к плечу с неграми в лагере алмазодобычи. Как ни странно, их неприятный запах был ему приятен; он сравнивал их гладкие невозмутимые лбы, не знающие морщин, со своим вечным беспокойством.

Он знал, что храбр. Однажды ночью в свете костра перед ним возникло красное лицо: он был поражен тем, с какой легкостью его нож вонзился в живот нападавшего. В другой раз, остановившись на ночлег на Расу-да-Катарина, он поделился мясом со странником, чья одежда была сшита из зеленого шелка, а пальцы униза-

---

[124] Примечания: 124
Агуардьенте — крепкий алкогольный напиток.

[125] Примечания: 125
Скапулярий — элемент монашеского одеяния.

ны золотыми перстнями. Этот человек проходил по восемнадцать лиг в день, пробираясь босиком через кактусы.

— Я никому не доверяю, — говорил он. — Почему я должен доверять лошади?

Лишь через несколько месяцев Франсишку Мануэл понял, что это был разбойник Кобра Верде, который крадет только у богатых женщин и только наряды и украшения.

Он верил, что будет скитаться вечно, но в день святой Лучии 1807 года[126] — в серый, душный день, обещавший дождь, — бесцельные странствия закончились.

Он ехал через деревню Уауа, когда дочь гончара выбежала из дома с фартуком, полным зеленых апельсинов. Через неделю он принес ей безделушки в подарок, еще через месяц они поженились.

Он нашел работу неподалеку на ранчо. Его наняла семья помещиков по фамилии Коутиньу. В продолжение двух веков они обустраивали ранчо в Сертане, а теперь, оставив поместья, стали жить на сахарной плантации у моря.

---

[126] Примечания: 126

День памяти христианской мученицы Лючии Сиракузской отмечается 13 декабря.

Он научился распознавать воду по траве, павшую корову или наличие подземного источника — по полету птиц. Он знал тавро всех соседей на мили вокруг; вернуть потерявшееся животное, как бы далеко оно ни забрело, было для него делом чести.

Неподалеку, вдоль русла реки, находились хлопковые поля, на которых трудились бедные издольщики. Зная его хладнокровие и находчивость, они приходили к нему, когда их обманывали, и он заставлял землевладельцев признавать ошибки и платить. Но когда издольщики возвращались с благодарностью и скромными подарками, он чувствовал горечь и отмахивался от них.

Коутиньу не платили жалованья, но за каждый загон бычков пастухам полагался один теленок из четырех.

Два года подряд он продавал своих животных, предпочитая монету в кармане собственности на копытах. Но на третий сезон он заказал у кузнеца тавро и занялся «очеловечиванием» своей собственности.

Он загнал молодых бычков, связал им ноги, привязал к деревянному столбу, отрезал яички и спилил кончики рогов. Они стонали и хрипели,

пока раскаленное железо прожигало им бока, ему же доставляло удовольствие вдавливать в их горячий жир свои инициалы.

Он радовался простому дому с тыквами и дынями, разбросанными по крыльцу, и охристым стенам, поглощавшим солнечный свет. После тяжелого дня он снимал с крюка гитару и напевал старые песни бандейрантов[127].

Его жена всегда носила розовое. Она умела шить, сажать овощи, готовить и вытягивать яд из маниока. Однако ее движения были скованными и механическими. Она не видела разницы между занятием любовью и мытьем полов. Ее речь словно замирала на устах, не в силах пройти сквозь ряд ослепительных зубов. Ее глаза блестели, когда она чего-то хотела, и затуманивались, когда она испытывала страх. Чаще всего она просто сидела и смотрела вдаль, гладя рыжего кота.

По ночам она просыпалась и кричала: «Отец! Отец!» Дважды в неделю ходила к гончару и возвращалась с испачканными в красной глине руками.

Жизнь с ней действовала ему на нервы. При виде ее безразличной улыбки он бледнел от зло-

---

[127] Примечания: 127

Бандейранты — завоеватели внутренних районов Бразилии XVI–XVIII веков.

сти и испытывал желание вцепиться пальцами ей в горло. Он стал спать на улице, надеясь под звездами вернуть утраченную невозмутимость.

Однажды на рассвете он проснулся на каменистой земле и, прищурившись, с удивлением увидел зеленую лягушку, присевшую под кактусом (с удивлением — потому что далеко от воды). Спина у нее была цвета свежей травы, брюхо — сиреневым; когда она ползла, на лапах блестели оранжевые и бирюзовые пятна.

Он ткнул в лягушку палкой. Она зашипела от испуга, глаза из серебристых превратились в фиолетовые. Взяв камень, он превратил ее в кровавую слизь, а потом целую неделю жалел о содеянном.

Его жена ждала ребенка.

Женщины деревни приходили с советами, с пучками руты, чтобы отпугнуть ведьм, с распятием, которое нужно было положить под матрас. Роды вызывали в нем отвращение. Он выдумал предлог и уехал, а после никак не мог поверить, что ребенок, ухвативший его за палец, — его родная дочь.

Как-то днем он был в доме один и пришивал заплату к кожаному конскому налобнику. Дождь стучал по черепице и прорезал извилистые ка-

налы по земле. Время от времени он поднимал голову и смотрел на черные тучи, проплывающие мимо оконной рамы. Вдруг на подоконнике появилась кошка.

Франсишку Мануэл продолжил шить, а кошка уставилась в его сторону. Когда она мяукнула, ему показалось, что у него внутри черепа заскрежетал скальпель. Она подбежала ближе и начала точить когти о его штаны. Когда кошка ткнулась головой в его ногу, он вздрогнул. Одна рука взяла ее под передние лапы, другая потянулась за ножом.

Ее кровь оказалась теплой и липкой. Он вытер застывшие на полу темные капли, перекинул кошку через седло и ускакал подальше, чтобы избавиться от тела. Потом он простоял несколько часов под проливным дождем в безнадежном одиночестве.

Женщина искала кошку, но вскоре о ней забыла.

Однажды вечером она уложила ребенка в колыбель, поставила кувшин на голову и отправилась к баку за водой. Он смотрел, как удаляются две колеблющиеся, волнистые фигуры по аллее агав на фоне оранжевого заката. Он сидел, наслаждаясь тишиной, потом забренчал на гитаре. Ребенок

заплакал. Он перестал играть, и ребенок затих. Но когда он снова коснулся струн, плач усилился.

Он поднял гитару над колыбелью, ожидая треска расколотого дерева о голову, потом сдержался и переломил инструмент через колено.

Он уехал до того, как женщина пришла домой.

Он вернулся к своим одиноким скитаниям. Решив, что четыре стены — это гробница или ловушка, он предпочитал движение даже по самым бесплодным из открытых пространств.

Он проходил по долинам, покрытым белой пылью, где белые кречеты выкапывают клубни. Пищей ему служила вяленая говядина, сушеные фрукты и дикий мед, а воду он добывал из корней умбу.

Иногда вместо травы ему встречалась только острая осока, и лошади дохли от голода. Путешествия были бесконечными, горизонты пустыми; стук копыт по щебню, треск мертвых ветвей, раскаты грома без дождя, крики грифов — все, что нарушало тишину, было еще печальней молчания.

Когда он все же приезжал в города, его угнетал шум: танцы, музыка, оживленные разговоры и смех; он приседал на корточки и прихлебывал из бутылки.

По вечерам он прогуливался мимо домов и заглядывал в освещенные комнаты, где отцы играли с детьми, мужчины играли в карты, а женщины улыбались, заплетая волосы. Он жаждал простых удовольствий: прикосновений и доверия; но, если женщина замечала зеленые глаза, сверкающие в темноте, она закрывала ставни, и свет, проникавший сквозь жалюзи, полосовал ему лицо.

Однажды во время Великого поста он проезжал мимо священной горы Монти-Санту, где когда-то отец-капуцин Аполлониу из Тоди обнаружил высеченные в скале таинственные письмена.

Паломники в небесно-голубых одеждах съезжались сюда со всех концов Сертана, чтобы подняться по белой кварцевой *via sacra*[128] к часовне на вершине, в которой каждую Страстную пятницу Богородица проливала кровавые слезы.

Он слышал их литании. Слышал их крики, когда они хлестали себя жгучей крапивой. Видел, как они ползут четыре мили на коленях и тропа краснеет по мере приближения к цели.

Франсишку Мануэл жаждал умертвить свою плоть, сбросить груз с плеч. Он мог часами смот-

---

[128] Примечания: 128
Священная дорога *(лат.)*.

реть на придорожные кресты. Проезжая мимо деревни, он всегда спускался с лошади, чтобы понаблюдать за молитвой местной общины, но ни разу к ней не присоединился.

Однажды в Жеремуабу он остановился поговорить с женщинами, возлагавшими на алтарь лилии. Смотрителем храма оказался молодой мулат, у которого вместо ног торчали обтянутые кожей кости. Мулат перемещался на тележке с деревянными колесами, постоянно оглядываясь через плечо, словно кто-то — возможно, Смерть — шел следом за ним. Он представил посетителю жителей храма: святая Розария в зеленых кружевах; святые Татрасиэль, Уриэль и Баракиэль; святой Моисей Мурин — его нога стояла на горле фараона; святой Антоний Падуанский, чей измученный образ являлся беглым рабам и говорил им, чтобы они возвращались домой.

Калека протиснулся вперед, открыл сундук под алтарем, откинул плащаницу из заплесневелого бархата и показал труп Христа.

Тело было гладким и белым, живот — подтянутым, а ладони почему-то вывернуты наружу. Черные волосы, красивые, как у девушки, вились по плечам. Из раны от копья сочилась красная краска, колени покрывали багровые струпья.

— Мертв! — хныкал калека; слезы текли по его щекам и струились по осколкам его ног на доски тележки.

Франсишку Мануэл положил руку на сгорбленное плечо.

Его рот сморщился, и он тоже вдруг разразился рыданиями. Мимо прошелестела ряса.

Он бросился к двери.

Франсишку Мануэл не плакал с тех пор, как умерла его мать: слезы облегчили горе. Страх, что он превратится в убийцу, покинул его. Он начал пить в барах, смеяться и играть в карты, хотя по-прежнему не доверял женщинам.

Его тянуло в прибрежные города.

Он отправился на юг, в Тукану, где редели кактусы и начинались большие деревья и где его старый работодатель, полковник Октавиу Коутиньу, владел фабрикой по производству вяленой говядины. Там, словно очищаясь кровью, он работал с мясниками и солеварами и развешивал куски мяса для просушки на медных проволоках. Дым, шедший от котлов с жиром, заволакивал город. Здоровые мужчины умирали от лихорадки, а оставшиеся в живых — спивались.

Время от времени с побережья приходили караваны, чтобы купить говядину для рабов

на сахарных плантациях. Однажды январским вечером за грузом для семейной плантации в Тапуитапере явился наследник полковника Коутиньу: его отправили сюда вместе с погонщиками мулов, чтобы закаливал характер.

У Жуакина Коутиньу были темные, печальные, слезящиеся на ветру глаза. Одежда его была покрыта слоем пыли, ягодицы ныли — он не привык к долгим путешествиям в седле, — и мальчики-рабы с усмешкой наблюдали за тем, как он слезает с коня.

В ту ночь между ним и жителем сертанской глухомани завязалась дружба, которую можно было объяснить только притяжением противоположностей. На следующий день, когда повозки были загружены и люди собрались уезжать, Жуакин изъявил желание остаться.

Франсишку Мануэл научил его запрягать быков, плести кнуты из сыромятной кожи, объезжать жеребят, настигать верхом на лошади страусов-нанду и сбивать их пращами. Сам он сидел, потупив взор, и слушал, как Жуакин рассказывает о своей родословной и обширных поместьях, о башне в Тапуитапере, простоявшей двести лет.

Однажды Жуакин сказал:

— Тебе надо поехать со мной на побережье.

Он промолчал, втайне боясь увидеть море. Но потом сказал:

— Да.

Тапуитапера, названная так в честь скалы, на которой индейцы племени тапуя когда-то точили лезвия своих топоров, представляла собой бугор из красного песчаника примерно в семидесяти милях к северу от Баии и в трех милях от пляжа с белым песком. На вершине лежала тень чего-то темного и твердого, наполовину видного сквозь блистающие на солнце деревья.

Море всегда было голубым, усеянным парусами аутригеров[129], прибрежный бриз проносился сквозь заросли манго и кешью.

В хозяйском доме на плантации Коутиньу окна были с крестообразными решетками, стены — с розовой штукатуркой. Зеленые шелковые занавески шелестели в комнатах, расписанных по трафарету цветами. На веранде стояли вольеры с певчими птицами, в столовой — вазы из синего глазурованного фарфора, позолоченные колонны и панели на стенах цвета лазурита.

По саду разносились ароматы роз и лилий.

---

[129] Примечания: 129

Аутригер — длинная низкобортная, узкая лодка.

Колибри пили нектар алой жимолости. Над фиалковыми ипомеями порхали бабочки морфиды, а после наступления темноты черные мальчики-хористы на балконе в китайском стиле, одетые в бриджи из табачно-темного бархата и кружевных жабо, исполняли *Stabat Mater*[130] Перголези.

Франсишку Мануэлу показалось, что он попал в рай.

Полковник принял его как человека, оказавшего хорошее влияние на сына, отнесся к нему как к члену семьи и поручил управление конюшнями.

Сам же полковник был великолепной развалиной.

В молодости, обезумев от мысли о горизонтах, еще незаполненных скотом, он расширил свои ранчо вплоть до зеленой бездны Мараньяна, где лошади вязли по холку, а работники умирали от анальной гангрены. Пергаментная карта его империи по-прежнему висела у него в кабинете.

Однако сейчас стол его был завален копиями заявок по неуплате арендной платы, и каждый день с какого-нибудь ранчо приходило известие о захвате его арендаторами.

Пятьдесят лет острой пищи и сидения в седле

---

[130] Примечания: 130
«Стояла Мать [скорбящая]» *(лат.).*

сделали свое дело — из-за геморроя он не мог вылезти из своего гамака: ни пообедать, ни поспать, ни облегчиться, ни помолиться, ни сыграть в карты с капелланом. Единственным удовольствием для него оставалось мытье волос — прелестная мулатка проводила пальцами по их жестким волнам, словно счищая листы с кочана капусты.

Франсишку Мануэл делал все возможное, чтобы порадовать хозяина. К ужину надевал чистое белое платье, старался проигрывать все партии в трик-трак и внимательно слушал его рассказы об убийстве индейцев.

Два юных друга увлекались петушиными боями и натаскивали свору гончих, чтобы охотиться в лесу на капибар. Возвращаясь после погони, они махали сестрам Жуакина, пока те лежали в пуховых гамаках или кормили домашних мартышек кусочками кремовых яблок.

В дождливые дни они исследовали Тауэр — мрачный гранитный колосс, построенный в 1602 году Франсишку Коутиньу Первым, чье обветренное лицо смотрело со стен портретной галереи.

Они листали фолианты с видами европейских городов или заходили в комнаты, где в беспорядке были разбросаны драгоценные вещи: венецианское стекло, серебро из Потоси, хрусталь и

киноварь, черные лаковые шкафы с растрескавшейся перламутровой отделкой.

Франсишку Мануэл не находил объяснений тому, что видел. Он никогда не мечтал владеть чем-либо, кроме своих ножей и нескольких серебряных конских трензелей. Теперь же его жажде обладания не было предела.

В марте наступило время сбора урожая. На холмах и в долинах серебрились бородки сахарного тростника, однако из дома только и были видны черные спины и блеск мачете. Чернокожие рубили стену желтых стеблей высотой в два раза больше их самих. Листья резали кожу, и к полудню кровь смешивалась с потом и тростниковым соком, привлекая мух.

Над мельницей висел густой запах патоки. В чанах булькало. Пара волов вращала валики тростникового пресса; рабы, пошатываясь, шли к нему с выпуклыми венами на шее, сгибаясь под тяжестью снопов.

Однажды днем рука мужчины застряла между валиками, и надсмотрщику пришлось отрубить ее по запястье. Пока друзья тащили несчастного в хижину, он оглашал криками долину. Надсмотрщик пожал плечами и сказал:

— Еще один…

Когда в шесть звонил колокол на часовне, рабы складывали инструменты и шли вверх по склону, чтобы прочитать вечернюю молитву Деве Марии. Проходя мимо полковника, они поднимали шляпы. Тусклые, хриплые голоса в унисон повторяли за ним: *«Boa Noite!»*[131]

Часовня была посвящена *Nossa Senhora da Conceiçao*[132]; на алтаре стояла переносная молельня с Тайной вечерей. Монахини, изготовившие ее, использовали в качестве образца столовую хозяйского дома. По какой-то причине Франсишку Мануэл хотел обладать этой молельней больше, чем любым другим предметом, который видел.

Однажды ночью, лежа без сна, он услышал барабанный бой, доносившийся с холмов.

Он оделся и пошел на звук к лесной поляне, где несколько рабов взывали к своим богам через Атлантику. Танцоры носили белые металлические маски и платья, отливавшие оранжевым при свете костра. Они кружились снова и снова,

---

[131] Примечания: 131
Добрый вечер! *(порт.)*

[132] Примечания: 132
Нашей Деве Непорочного Зачатия *(порт.).*

пока посланник Эшу[133] не касался их тел между лопатками. Тогда они, один за другим, вздрагивали, рычали, поджимали колени и падали на землю в трансе.

Их жрец, вольноотпущенник из племени йоруба по имени Жеронимо, поклонялся морской богине Йеманжи и спал рядом с ее изображением в виде русалки в комнате, усыпанной кораллами и заставленной емкостями с соленой водой.

Ничто не доставляло Франсишку Мануэлу большего удовольствия, чем сидеть с этим андрогинным холостяком и слушать, как тот поет песни королевства Кету голосом, от которого веет бездной не между континентами, а между планетами.

Жеронимо показал ему священное для святого Франциска Ассизского дерево локо, чьи извилистые корни, как говорили, тянутся под океаном к Иту-Айе — к Африке, дому богов. Иногда какой-нибудь раб на плантации слышал, как предки зовут его из жестких упругих листьев. Ночью он забирался по ветвям, а утром его тело находили повешенным.

Жеронимо рассказывал ему истории о дворцах

---

[133] Примечания: 133

Эшу — посланник богов в мифологии племени йоруба.

из глинобитного кирпича, выложенных черепами; о племенах, менявших золотой песок на табак; о священном змее, который был радугой, и о королях с яичками размером с авокадо.

Имя Дагомея пустило корни в его воображении.

Настало время уезжать из Тапуитаперы.

Полковник был болен и не в духе, а Жуакину наскучило его общество. Жуакин нарочно заводил разговор на недоступные для его приятеля темы, чтобы потом остановить себя и сказать:

— И зачем только я тебе это говорю?

Его мать, донья Епифания, терпеть не могла, когда сын якшается с плебеями, и обедала в одиночестве. Это была крупная женщина с пятнистой кожей, черными усиками над верхней губой и зубами, изъеденными до тонких коричневых пластинок. В корзине для вышивания она держала плеть с серебряной ручкой и, пока девушка-рабыня обмахивала ее веткой, сидела на тростниковой циновке и строила планы мести любовницам своего мужа.

Она называла Франсишку Мануэла катамитом.

Когда он впервые пришел в дом, сестры Жуакина осыпали его поцелуями и отправляли

любовные послания на языке веера[134]. Но вскоре с подачи матери они начали придираться к его слабым сторонам. Они имитировали его акцент, высмеивали его попытки заговорить с ними и визжали от смеха, когда он пользовался ножом и вилкой. Они говорили: «У нас, знаете ли, есть стулья», если он садился на корточки. Часто, когда он входил в комнату, они кричали: «Быстрее! Быстрее! Тут чудовище!» — и уносились прочь, шурша тафтой.

Однажды вечером Жуакин сказал, что у отца случился инсульт и донья Епифания настаивает на том, чтобы Франсишку Мануэл покинул дом.

Их взгляды встретились.

Франсишку покраснел от гнева, но понял, что спорить бесполезно, и склонил голову.

Он отправился в Баию.

Бродил по городу всех святых в черной вельветовой куртке одного самоубийцы, купленной им у портного прямо с манекена. Развевающееся белье на веревках хлестало по лицу. Оборванцы целовали его в губы, пока их пальцы ощупывали его карманы. Ноги скользили по кожуре гни-

[134] Примечания: 134

Язык веера — особые жесты и знаки, на которых изъясняются влюбленные. Был особенно популярен во Франции в XVII–XVIII веках.

ющих фруктов, за колокольнями проплывали пухлые белые облака.

Франсишку Мануэл гулял по булыжным мостовым Пелуриньу, наблюдая, как уличные мальчишки упражняются в боях с тенью[135]. «Великолепная собака Севера»[136] оказалась крашеным голубым пуделем, игравшим в карты, а после наступления темноты здесь всегда находился повод запустить фейерверки.

Он полюбил похоронные процессии: наблюдал за черным катафалком, инкрустированным золотыми черепами, или за небесно-голубым гробиком для мертворожденного ребенка, или за серым трупом, завернутым в саван из банановых листьев.

Франсишку поселился в квартире в Нижнем городе и устроился на работу к человеку, торговавшему инвентарем для рабов: кнутами, бичами, ярмами, шейными цепями, клеймами и металлическими масками; магазин напоминал ему лавки в глухомани, где он родился.

---

[135] Примечания: 135

Бой с тенью — тренировка в единоборствах без реального партнера.

[136] Примечания: 136

Очевидно, рыночное развлечение. Его упоминание встречается в книге «Жизнь в Бразилии» (1856) английского писателя и путешественника Томаса Юбанка.

Зеленые глаза сделали его знаменитым на весь квартал. Стоило ему сверкнуть ими в людном переулке, как кто-нибудь обязательно останавливался. Он совокуплялся с партнерами обоего пола в обшитых досками комнатах. Они покидали его с таким чувством, будто соприкоснулись со смертью: никто не приходил к нему во второй раз.

Черты его лица окончательно оформились.

Правая бровь, вздернутая выше левой, придавала ему вид человека, с удивлением обнаружившего себя в сумасшедшем доме. Усы закручивались по бокам влажного и чувственного рта. Годами он поджимал губы, отчасти чтобы придать им мужественности, отчасти чтобы не трескались от жары; теперь он их расслабил в полуулыбке, как бы показывая, что ему все позволено. Приступы гнева покинули его, угрызения совести остались. Он хотел отправиться в Африку, но никак не мог на это решиться.

Всякий раз, когда корабль из Гвинеи становился на якорь у форта Сан-Марселу, он прогуливался по невольничьим причалам и смотрел, как сгружают на берег негров. Торговцы из всех провинций протискивались вперед, хрипло выкрикивая клейма отправителей.

Они подсчитывали количество умерших, а

затем заставляли оставшихся в живых бегать, топать, поднимать тяжести и горланить, чтобы показать, насколько здоровы их легкие. Неисправных продавали по дешевке цыганам.

Франсишку Мануэл подружился с одним из этих цыган-рабовладельцев, который научил его некоторым трюкам: как скрыть кровавую дизентерию с помощью пакли или кожную болезнь, покрыв тело касторовым маслом.

Но, когда он разговаривал со старыми африканцами, каждый из них вздрагивал при упоминании о Дагомее.

Однажды декабрьским днем, за неимением лучшего занятия, он помог нескольким наемным хулиганам повесить соломенное чучело британского консула: прошло четыре года с тех пор, как английский парламент принял акт об отмене рабства, но только в последние месяцы королевский флот начал захватывать бразильские невольничьи суда.

Толпа пришла в ярость и, когда взвод ополченцев разогнал ее, набросилась на шотландского моряка и столкнула его в гавань. Возможно, самым ярким воспоминанием Франсишку Мануэла о Баие осталась эта рыжая голова, покачивающаяся на волнах (он наблюдал за ней сквозь сетки

рангоутов, облокотившись на балюстраду).

Две недели спустя он пил стакан сладкого лайма возле аукциона рабов на Руа-душ-Матозиньюш, когда один из номеров лота, мальчик из Бенгелы, сбежал в разгар торгов. Среди покупателей был Жуакин Коутиньу, и, пока продавцы преследовали беглеца, тот заметил своего старого друга и потрепал его по плечу.

Они возобновили дружбу: всякий раз, когда Жуакин приезжал в город, они проводили вместе вечер и ночь со шлюхами.

В один из таких визитов Жуакин рассказал, что полковник умер, оставив семейные дела в ужасном состоянии; донья Епифания была вынуждена продать свои бриллианты. Надеясь поправить состояние, Жуакин вступил в синдикат армейских офицеров, целью которого было наладить рынок вяленой говядины и вложить полученную прибыль в быстроходные невольничьи суда.

Самые ценные рабы поступали из Уиды, которая, по условиям договора принца-регента с Англией, была единственным портом к северу от экватора, где работорговля оставалась законной; проблемой, однако, оставался король Дагомеи: он был безумен.

Франсишку Мануэл дал понять, что имеет лишь

самое смутное представление о том, где находится Дагомея.

— Тебе нужно туда поехать, — сказал Жуакин. — Там быстро все узнаешь.

Три недели спустя Франсишку Мануэл оказался в зале отеля «Капитания», с темных панелей которого смотрели отцы-основатели города, а за столом сидели партнеры Жуакина.

Человек в золотых погонах и красном кушаке поднялся на ноги, покрутил глобус, указал на форт Святого Иоанна Крестителя в Уиде и возвел Франсишку Мануэла в лейтенанты. Это звание не предусматривало жалованья, но к нему прилагались два бесплатных мундира, проезд в Африку и разрешение на торговлю рабами. Никто из офицеров не знал, что случилось с бывшим губернатором форта и его гарнизоном. В конце беседы все встали, чтобы поздравить человека, который, как они понимали, скоро станет трупом.

В свою последнюю ночь на берегу, когда нагруженный рабовладельческий бриг «Пистола» уже был готов к выходу в море, Франсишку отправился на прощальную мессу в церковь Боа-Виажен.

Помещение освещалось двойным рядом хрустальных люстр, стены покрывали панели из сине-белой плитки. На них были изображены

галеоны — разбитые о скалы, опрокинутые волнами, израненные левиафанами или побитые в перестрелках, но всегда спасенные Пресвятой Девой, парящей в ореоле над мачтами.

Капитан и матросы сидели на передних скамьях.

У всех этих людей была кровь на руках; они с тоской смотрели на молочно-белое тело умирающего Господа, отождествляя Его агонию со своими муками и призывая Его умиротворить море.

Священник прочитал короткую молитву покровителю работорговцев, святому Иосифу Искупленному[137], и более длинную — за души чернокожих братьев, которые будут выкуплены для христианского лона. Гнусавые ответы хора поднимались под крышу, где пророк Илия в спиралях дыма и пламени продолжал свой путь на колеснице к Всевышнему.

На алтаре горели свечи, свет их мерцал на золотых крыльях ангелов.

Со своего места сзади Франсишку Мануэл видел, как священник выносит киворий[138], и команда

---

[137] Примечания: 137

Вероятно, имеется в виду Иосиф Прекрасный, проданный в рабство и ставший ближайшим слугой фараона.

[138] Примечания: 138

Киворий — дарохранительница.

покорно подходит к нему:

– *Corpus Domini Nostrum Jesum Christum… Corpus Domini Nostrum…*[139]

Не раздумывая ни секунды, Франсишку присоединился к ним — словно заключая договор с рукой в кружевной манжете, принимая облатку кончиком языка.

Снаружи буря утихла. Звезды пульсировали в синей пустоте. Над островом Итапарика сверкнула молния, высветив в фарватере силуэт корабельных рей.

Месса закончилась, матросы стояли у церкви, подняв крюйс-брамсель[140] за шкот и шкентросы. Хор запел гимн, золотая мантилья священника отделилась от ангелов и медленно поплыла к алтарю.

Процессия прошла сквозь зеленые двери.

Мальчики в пурпурных рясах несли серебряный крест, посох и кропильницу из пальмовых ветвей.

Капли святой воды брызгали на парусину.

— Благослови, Господи, корабль «Пистола» и всех, кто плывет на нем. Пронеси его, как про-

---

[139] Примечания: 139

Тело Господа нашего Иисуса Христа… Тело Господа нашего… *(лат.)*

[140] Примечания: 140

Крюйс-брамсель — прямой парус.

нес Ты Ноев ковчег над водами потопа. Протяни им руку Твою, как Ты протянул ее апостолу Петру, когда он шел по водам морским.

4

Франсишку высадился в Уиде между двумя и тремя часами пасмурного майского дня, который пах мангровым деревом и мертвой рыбой. Вдоль берега, насколько хватало взгляда, простиралась полоса белой пены. В глубине росли высокие серые деревья, которые издалека можно было принять за водопады. Он оказался единственным пассажиром в каноэ: команда знала, что от королевства Дагомеи лучше держаться подальше.

В начале плавания он смотрел на новую стихию с невинным благоговением сухопутного жителя. Он видел олуш. Видел стаи медуз, ленты водорослей, радужные переливы на спинах пеламид и альбакоров. Видел бледное фосфоресцирующее пламя, струящееся в ночи.

Затем корабль вошел в субтропические широты, паруса повисли, акульи плавники закружились в маслянистом море, и все потеряли самообладание — помощник капитана раздробил матросу зубы свайкой.

В день, когда они заметили африканское побережье, на палубу обрушился красный ливень, а в такелаж забилась саранча. В свою последнюю

ночь на борту Франсишку Мануэл проснулся весь в блевотине: корабль едва избежал смерча, который потом засыпал берег мертвой рыбой.

Он отмахнулся от круменов, которые хотели помочь ему выбраться из каноэ. Отказался от протянутой руки жреца-фетишиста. Не позволил носильщикам перенести себя через лагуну и, испачканный до бедер черной жижей, зашагал вверх по дороге к дереву капитанов[141].

В тени дряхлого фикуса его ждали приближенные Йовогана, дагомейского министра работорговли. На ломберном столе с истертым сукном были расставлены графины с кларетом, мадерой, ромом и дистиллированным пальмовым вином.

Они произносили тосты, он пил, а солдаты стреляли в воздух из мушкетов. Царский евнух с серебряными локонами на висках, склонив голову, спросил, какие подарки он привез из Бразилии, и ужаснулся, получив ответ:

— Никаких!

Затем последовал шумный разговор, и все

[141] Примечания: 141

Дерево капитанов — громадный ветвистый баньян (фикус бенгальский), вокруг которого, по традиции, должны были трижды обойти высадившиеся на берег иностранцы во главе с капитанами судов. Таким же ритуалом завершались крупные сделки по продаже рабов. В тени дерева капитанов караваны невольников делали последнюю остановку по дороге к берегу океана.

казались вполне дружелюбными, но когда Франсишку добрался до форта, то обнаружил, что тот лежит в руинах.

Флагшток был сломан, королевский герб изуродован. Почерневшие от дыма стены лишены крыши. Ставни сорваны с петель, пушки сдернуты с мест и утоплены в развалинах.

Когда он вошел на двор, в небо поднялись стервятники. Свинья объедала кожу с плода хлебного дерева. Собака мочилась у ствола и выла.

Из дверей часовни вывалился человек с изрытым оспинами лицом в кивере тамбурмажора и лохмотьях, напоминающих остатки турецкого ковра. Мужчина моргнул, глядя на вновь прибывшего, затем, скривив губы и обнажив желтые зубы, прокричал:

— Хвала Матери Иисуса Христа и всем святым! — и бросился к Франсишку, чтобы прикоснуться к нему и убедиться, что тот настоящий.

Тамбур Тапарика был единственным выжившим из гарнизона.

Вольноотпущенник из племени йоруба, вступивший в Первый полк черного ополчения, он рассказал свою печальную историю на плантаторском португальском: губернатор умер от лихорадки, лейтенант — в боях на побережье,

и король разрешил своим солдатам разграбить форт.

Они украли колокола, вырезали глаза портрету принца-регента, откупорили бочки с ромом, изнасиловали кадета и отконвоировали пленников в Абомею — их головы, насколько он знал, теперь висели на дворцовой стене.

Считая, что ему известно, где зарыты сокровища, дагомейцы запустили муравьев на грудь Тамбуру, насыпали под его веки перца и прижгли язык кончиком раскаленного мачете. Они уже собирались приступить к самому страшному, но в этот момент кто-то решил обследовать пороховой погреб с зажженным факелом. Из-под обломков извлекли семь тел, а его оставили в покое.

В последних лучах солнца он провел своего спасителя по саду; повсюду виднелись насыпи красной земли, на каждой установлен грубый деревянный крест. Затем они забаррикадировали ворота пальмовыми стволами.

Франсишку Мануэл подвесил гамак и устроился в нем под муслиновой сеткой, слушая симфонию лягушек и комаров. Он мог себя поздравить: впервые за сорок семь дней он качался в собственном, а не в корабельном ритме.

В семь утра пришел гонец от Йовогана с прика-

зом бразильцу немедленно явиться к королю.

Тапарика покачал головой.

— Король хотеть оружие, — сказал он. — Йовоган приходить к тебе сам.

В это время королевство переживало один из очередных мятежей. Людям надоели кощунственные действия короля. Он не смог оросить кровью могилы своих предков. Он был трусом и пьяницей. Продовольствия не хватало, у армии не было боеприпасов, а с востока грозился вторгнуться Алафин из Ойо.

Гонец выкрикнул оскорбления и ушел, но потом вернулся, чтобы предупредить об официальном визите.

Сначала они увидели мушкетный дым; затем показался Йовоган, хрупкий восьмидесятилетний старик, прибывший в форт в костюме из розового атласа верхом на изголодавшейся серой кляче, окруженный со всех сторон слугами: один вел животное за недоуздок из травы, другой вертел в руках голубой зонтик. За ними следовала шумная свита.

Шел дождь. Мальчишки плелись рядом, неся портсигар старика, его табурет, ломберный столик и графины. Заехав в ворота, старик подал знак, что хочет сойти; конюх поднял его с седла,

удобно усадил на земле и снял с его головы черный шотландский берет.

Йовоган щелкнул пальцами в знак приветствия, затем предложил выпить пальмового вина за здоровье своего короля и голландский джин — за здоровье королевы Португалии. Сам пить он не стал, а вылил содержимое обоих бокалов в зияющий рот одного из своих прислужников.

Допрос начался на ломаном португальском. Лицо Йовогана посерело, когда он выразил неудовольствие по поводу отсутствия подарков.

А как же баркентина с шелком? А как же карета и лошади? Трубы? Серебряное охотничье ружье?

— Никаких подарков, — сказал Франсишку Мануэл.

— Даже борзых?

— Даже борзых.

Подарков не будет, пока король не освободит заключенных, не отремонтирует форт и не возобновит продажу рабов.

Сначала всех охватило замешательство, затем гнев. Один мужчина крикнул: «Смерть белым!» амазонка покрутила мачете вокруг указательного пальца и приставила лезвие к лицу бразильца.

Но когда Йовоган поднял руку, толпа с шумом расступилась.

В тот же день во время сиесты Франсишку Мануэла разбудил шум ударов и криков. Взглянув на северный бастион, он увидел толпу голых мужчин, которые несли связки тростника, досок, корзины с устричными раковинами и ведра с водой: Йовоган послал партию пленников, чтобы возместить ущерб.

Лейтенант да Силва включился в работу и трудился на жаре, которая большинство белых загнала бы либо в гамак, либо в могилу. Даже в знойные послеполуденные часы, когда солнце высасывало краски из земли и листьев, он раздевался по пояс, отдавал приказы и сам взваливал на плечи самые тяжелые грузы.

Чернокожие были поражены видом белого человека за работой.

Они чинили соломенные крыши, белили стены, выгребали навоз из цистерны. Пушки снова заблестели от ваксы и пальмового масла. Проплывающие мимо корабли вновь могли видеть «пять щитов» Брагансов[142] — знак того, что в форте Святого Иоанна Крестителя имеются рабы на продажу.

Первую партию составили преступники, осуж-

---

[142] Примечания: 142
То есть португальский флаг с гербом королевского рода Брагансов.

денные за кражу королевских пальмовых орехов и приговоренные питаться ими до тех пор, пока не лопнут: никто из осужденных не выглядел недовольным тем, что покинет Дагомею.

Прибыли новые работорговые суда: «Митридат», «Риносеронте», «Фратернидад» и «Бон Жезуш», которые привезли мушкеты, ром, табак, шелка и хлопок.

Алафин из Ойо отменил вторжение. Король вступил в войну с беззащитными плантаторами, которые выращивали пшеницу в горах Махи, и за два года Франсишку Мануэл отправил в Баию не менее сорока пяти грузов рабов.

У Жуакина Коутиньу хватило ума предложить ему место в синдикате.

Да Силва занялся торговлей так, словно никогда не делал ничего другого. Всегда считавший себя вольным странником, теперь он стал патриотом и частным собственником. От своего начальства в Баие он не дождался ни слова поздравлений. Но он верил, что его призвание — начинить черными мускулами рудники и плантации своей родины; и за это он получит награду.

Франсишку Мануэл упорствовал в этой иллюзии с упрямством неофита. Часто бессонными ночами он лежал и слушал стоны и лязг в загонах

для рабов, вспоминая сладкое пение в часовне Тапуитаперы, пока не засыпал с чистой совестью.

Он жил в комнатах губернатора. Он восстановил часовню и выписал португальского падре, чтобы тот читал мессу перед началом каждого плавания.

В качестве мажордома форта Тапарика облачался в зеленый сюртук, матросские штаны из белого холста и черную треуголку с кокардой из перьев попугая. Всякий раз, когда они проезжали через город, он шагал впереди носильщиков, звеня железным колокольчиком и крича: *«Ago! Ago!»* — чтобы расчистить дорогу.

Тапарика спал на циновке возле комнаты хозяина. Он готовил и пробовал его еду, следил за напитками и опорожнял ведро. Он находил ему наложниц, доставал афродизиаки, когда погода была особенно влажной, и настоятельно советовал не заводить постоянных связей.

Франсишку Мануэл пользовался одной девушкой ночь или две, а затем отправлял ее домой с подарком для семьи.

Его прибыль и репутация честного дельца приводили в изумление ветеранов торговли. Однажды капитан Педро Висенте попросил у него корабль с рабами, не имея ни денег, ни товаров

для оплаты. Он поклялся вернуться, но растратил вырученные средства в Баие и так и не объявился. Через некоторое время, узнав, что этот человек находится в Лагосе с непригодным для плавания кораблем и мятежной командой, да Силва послал туда слугу с сообщением: «Отправляйтесь в Уиду, я помогу вам с ремонтом. Никто не может обмануть меня дважды».

Не менее прямолинейным он был и в отношениях с королем.

Эти два человека никогда не встречались: табу запрещало дагомейским монархам смотреть на море. Но если королю требовались двенадцать золоченых стульев, их присылали. Если ему нужны были двадцать шляп с плюмажем, их находили. Однажды доставили даже борзых, специально привезенных из Англии, — правда, по дороге в Абомею их покусала бешеная сука.

Каждый месяц Франсишку Мануэлу приходило приглашение посетить столицу. Он перечитывал очередное письмо и вежливо отказывался — уже на первом из них писец-португалец короля написал на полях предупреждение:

Я, Антониу Масиэл, шестнадцать лет был пленником этого жестокого короля и ни разу не встречал своего соотечественника…

Король вступил в войну в январе, а в конце марта в Уиду начали прибывать узники в цепях.

Пленники не могли говорить от страха и истощения. У них на глазах сжигали их дома и убивали вождей. Железные ошейники стягивали им шеи. Спины были покрыты пурпурными рубцами, а когда они видели корабли белых людей, то полагали, что их собираются съесть.

Бездумная жестокость дагомейцев оскорбляла да Силву. Он то и дело жаловался Йовогану, что стражники портят ценное имущество, но старик вздыхал и говорил:

— Таков обычай.

По прибытии в форт рабов размещали в длинном сарае, крытом сухими листьями и огороженном частоколом из заостренных кольев. Каждый раб был прикован к железной цепи, которая тянулась по всей длине строения. Крыша была ниже пояса человека, но когда покупатели заглядывали внутрь, то во тьме различали только глаза.

Каждое утро после *Angelus*[143] их кормили из котла просяной кашей и водили в лагуну, где они мылись и танцевали, чтобы поддерживать форму.

---

[143] Примечания: 143

Angelus Domini («Ангел Господень» (*лат.*)) — католическая молитва.

Тапарика лечил больных и успокаивал их страхи: на дюжине диалектов он рассказывал об их будущей стране, где каждый может танцевать когда хочет, а сигары растут на деревьях. Он научил своего хозяина распознавать различные племена по их ритуальным шрамам. Тапарика мог определить возраст любого человека по состоянию его десен, а если сомневался — проводил языком по щекам, чтобы проверить упругость щетины.

Погрузка происходила в вечерней прохладе, когда море стихало; из года в год повторялась одна и та же сцена: корабль, волны, черные каноэ, чернокожие мужчины без набедренных повязок и тавро для рабов, которое накаляли на кострах из пла́вника.

Франсишку Мануэл предпочитал сам наносить клейма, предварительно окунув раскаленное железо в пальмовое масло, чтобы не прилипало к телу.

У самой воды цепи снимали, чтобы один человек, случайно упав, не утянул за собой остальных. Лишь изредка, в последней попытке вырваться на свободу, кто-то бросался к волнорезам; и если потом его разорванное акулами тело выносило на берег, Тапарика хоронил его в дюнах, вздыхая:

– *Ignorantes!*[144]

Прошло пять лет — жары, туманов, дождей. Британцы перестали признавать Уиду рабовладельческим портом. Когда фрегат Западно-Африканской эскадры взял на абордаж бриг «Борболета», дрейфовавший около Уиды с пятью сотнями рабов на борту, да Силва, наблюдая за боем в подзорную трубу, сказал:

— Хоть что-то произошло.

Часто бразильским капитанам приходилось ждать неделями, прежде чем погода наладится, но хозяин не жалел средств, чтобы развлечь их. Его столовая была освещена множеством серебряных канделябров; за каждым стулом стояла девушка-служанка, обнаженная до пояса, с белой салфеткой, сложенной на руке. Иногда кто-нибудь из пьяных кричал:

— Что это за женщины? — и да Силва, опустив взгляд на стол, отвечал:

— Наши будущие убийцы.

Вид белых людей в тропиках вызывал у него отвращение. Как он ненавидел их пустой смех! Когда их бородатые лица растворялись в облаках сигарного дыма, он находил предлог, чтобы

---

[144] Примечания: 144
Невежды! *(порт.)*

ускользнуть и побыть одному.

По четвергам он надевал полковую форму и шел обедать к Йовогану в открытый двор с застывшими фресками из охристых хамелеонов.

Старик был настолько стар, что помнил груды черепов, выставленные в честь дагомейского завоевания Уиды в 1741 году; чтобы развлечь гостя, он напевал песенку о том, как хорошо использовать голову мертвого короля в качестве ступки:

Doli dohò mè sè,
Boli sà boli sè.

Старику так понравился его белый друг, что он привел его к себе в спальню, чтобы показать свой мушкетон и девять четок из человеческих коренных зубов — сувениры кровожадной юности. Но не меньше любил он и европейские подарки: фарфоровый чайник из Бранденбурга или подставку для кружек, подаренную Королевской африканской компанией, — они напоминали ему о тех временах, когда на здешнем рейде стояли корабли всех стран.

Йовоган вздрагивал при одном упоминании имени короля. Однажды он распаковал гравюру в рамке с изображением гильотины на площади Согласия — прощальный подарок гражданского

губернатора Деньо перед отъездом во Францию. Идея публичной казни короля поразила старика с силой откровения. Деньо объяснил, что тиран теряет право на жизнь, и, хотя старик так и не понял логики этого аргумента, для него это было потрясающее событие.

Да Силва постоянно мечтал о Баие. Всякий раз, когда отплывал корабль, он смотрел, как исчезают в ночи реи, потом раскуривал трубку на веранде и погружался в мечты о будущем: у него будет свой дом, вид на море, внуки и фонтан, журчащий в саду. Но потом мираж исчезал. Звук барабанов давил на виски, и у него возникало предчувствие, что он никогда не выберется из Африки.

Он никому не рассказывал о своих страхах. Чтобы убедить себя в том, что они нереальны, он писал письма Жуакину Коутиньу, по ночам, с красными глазами, разрывая лист за листом в попытке выразить себя:

> *Эти люди, должно быть, самые большие воры в мире. Я бы жил на любом другом континенте, кроме этого. В ледяных или снежных землях, где угодно, лишь бы подальше от их тарабарщины…*

Или:

> *Я не в силах описать свое кретинское существование. Как одиноко жить без семьи и друзей. Возможно, в следующем году я вернусь и женюсь…*

Он молил о новостях, о любых мелочах, чтобы его воспоминания о Бразилии не померкли, но ответы Жуакина были неизменно холодными и коммерческими:

> *Сегодня я получил Ваш груз, прибывший на бриге «Легитимо Африкано», из 230 единиц (144 муж. и 86 жен.), а также 41 500 орехов колы (женск.). С сожалением сообщаю о потерях груза в одну треть из-за вспышки дизентерии. Хотелось бы узнать Ваше мнение о том, почему женщины переносят ее гораздо лучше мужчин. Тем временем вышеперечисленный товар будет продан по максимально возможной цене, а ваша доля возвращена в виде кремневых ружей, табака и железа…*

Почему, писал в ответ его партнер, его не на-

значат губернатором форта? Как он жаждал получить хоть слово о том, что там, на родине, знают о его существовании!

Мое поведение, уверяю Вас, безупречно.

Офицеры о нем не забыли. Но поскольку они извлекали личную выгоду из его деятельности, о публичном признании его заслуг не могло быть и речи.

На официальном уровне форт Уиды перестал существовать.

Постепенно Африка захлестнула его и затянула в себя. Возможно, от одиночества, возможно, отчаявшись бороться с климатом, он перенял привычки туземцев.

Он носил длинные панталоны вместо бриджей, которые вызывали колючий жар в паху. Носил амулеты против злого глаза. Тапарика научил его шаркать ногами возле фаллоса Папы Легбы[145], и они вместе ходили к прорицателям.

Им овладел страх болезней. Поскольку его слуга знал секретные рецепты лекарств из экскрементов и заслужил его доверие, ему ничего

---

[145] Примечания: 145

Папа Легба — один из главных духов в религии вуду.

не оставалось, кроме как глотать собственную мочу при болях в печени и мочу с ямсом при малярии; а когда у него болело горло, он читал молитву святому Себастьяну и добавлял в кофе птичий помет.

Иногда по вечерам они ходили в храм Питона, чтобы посмотреть, как послушники вонзают зубы в шеи жертвенных козлов. Зрители визжали от смеха, а мальчишки кувыркались друг у друга на спине и имитировали содомию. Когда сверкали молнии, почитатели бога-громовержца топорщили плечи, падали в корчах и задирали ягодицы к небу.

Он так и не понял, что влекло его к этим таинствам. Кровь? Бог? Запах пота или мокрые сверкающие тела? Он был бессилен побороть свою зависимость и, осознав, что Африка — его судьба, взял себе африканскую невесту.

Ее звали Жижибу.

Ей было шестнадцать лет.

Дехуэ, ее отец, был главой круменов, мечтающим о белом зяте. Он четыре раза приезжал в форт, чтобы предложить очередную дочь в жены. Когда ему отказали в четвертый раз, он пригрозил забастовкой: по словам Йовогана, отказываться от предложения жены — самое

большое оскорбление.

Однажды декабрьским вечером Дехуэ пришел снова, на этот раз с музыкантами и фигурой, закутанной в белую ткань. В городе царила тишина, если не считать шума от волнорезов. В зеленом воздухе носились стрижи. Девушка прошла мимо зрителей и сорвала с себя вуаль.

У нее были совиные глаза, пухлый рот и розовые ногти — словно порхающие мотыльки на кончиках пальцев. В ушах блестели золотые обручи. Ее шея представляла собой идеальный цилиндр. Ноги сверкали, как металлические прутья, торс, облаченный в набедренную повязку цвета индиго, был твердым и в то же время гибким, как на шарнирах. Ее плечи вздрогнули при первых раскатах барабанов. Затем она закружилась. Сделала пируэт. Выпрямилась. Ее руки колебали воздух, ноги взбивали пыль. Пот лился с ее грудей, мускусный парфюм обдувал лицо бразильца: она ни разу не оторвала от него взгляда.

Барабанщики остановились.

Она стояла перед ним на цыпочках, покачивая бедрами и томно высунув язык. Ее руки манили. Она согнула колени. Затем выгнула позвоночник дугой и отклонилась назад, пока затылок не коснулся земли.

Франсишку Мануэл поймал взгляд ее отца и кивнул.

Тапарика заскрипел зубами от ужаса, сказал:

— Ты не знаешь этого народа, — и угрюмо удалился.

Да Силва решил, что он просто ревнует, и стал готовиться к свадьбе.

В полночь он покинул девушку, тяжело дышащую, за занавесками, а сам вышел и бросил красную тряпку в толпу ее родственников, которые выпили гораздо больше рома, чем он рассчитывал.

Утром Тапарика молился, чтобы то была кровь с исцарапанного лица хозяина, но его надежды рухнули, когда он услышал смешки матери невесты, осматривавшей их «ночную работу».

Что касается Франсишку Мануэла, то он приветствовал перемены. Юго-западный угол форта теперь оглашался звоном ступок и шумным весельем женщин. Ему нравились перченые каши Жижибу. Нравилось выкручивать язык, произнося диссонирующие слоги наречия фон. А когда он любил ее, она терлась своими мозолистыми пятками, сначала одной, потом другой, о впадину внизу его позвоночника.

Она поджимала губы, если он пытался их поце-

ловать. Ноздри ее трепетали от удовольствия при виде очередного подарка. Она лебезила перед ним, выпрашивая новую бандану из кантонского шелка: что глаз ее видел, то пальцы хватали. Как-то раз в четверг он подарил ей голландское зеркало, и она смотрела на себя, запрокидывая голову то в одну, то в другую сторону, до самой субботы, пока не уронила его на пол и не разбила на дрожащие осколки.

Ее живот раздулся, и она родила мальчика цвета розового коралла. Они назвали ребенка Исидору; повитухи закопали его пуповину под корнями баобаба.

Рождение наследника мужского пола стало для ее родственников сигналом к переезду. Не проходило и дня, чтобы какой-нибудь новый кузен не требовал пропитания. Жижибу украла ключ от винного погреба и отдала его своим братьям. Франсишку попросил ее остановить их, но она сказала:

— Кража у белого человека — это не кража.

Когда он пожаловался Йовогану, старик мечтательно посмотрел на хамелеонов и сказал:

— Таков их обычай.

Однажды поздно вечером они услышали вой, доносящийся из дома Йовогана. Тот умер в бреду,

тело его распухло и позеленело. Тапарика знал точно, из какого кактуса был получен отравивший его яд; он сказал, что яд «не имеет вкуса», и умолял хозяина бежать на борт бразильского брига, стоящего на рейде.

Но Франсишку Мануэл не желал расставаться со своим имуществом.

Надвигались плохие дни: у короля начались неприятности, и виной тому были иностранцы.

На место Йовогана был назначен командир бригады воинов-атчей, короткошеий спесивец, который при первой же встрече заставил бразильца ждать пять часов на солнце без шляпы. Когда его попросили вернуть долг короля, он сложил руки и сказал:

— Дагомейцы никогда не продают рабов белым людям.

Через месяц вокруг загона для рабов ковыляли лишь несколько калек. Люди захлопывали двери перед лицом да Силвы. Мальчишки перебегали ему дорогу с криками: «Дорога закрыта для белых!» Чиновники заставляли его платить пошлину за проезд к пляжу и еще большую — за возвращение. Однажды утром на алтаре часовни появился безголовый черный петух.

Жизнь здесь, – писал он своему партнеру, – *совсем не та, что была год назад, когда удовольствия доставались нам бесплатно и мы хорошо зарабатывали. Мы подвергаемся самым унизительным обыскам, а чернокожие полны зависти и ненависти к белым. Кроме того, наш друг король Дагомеи превратился в разбойника. Он покупает, но не платит. Он должен мне за винтовки «Аталанте» и за весь груз «Флор да Баия». За девять месяцев он не прислал на побережье ни одного пленника. Я не знаю, что мне делать. Может быть, мне следует перебраться в Бадагри и торговать с королем Ойо? Мой человек Фернандиньу расскажет вам все, ведь он стал одной из жертв…*

Но Фернандиньу не попал на борт с письмом. Таможенники отобрали у него все, чем он владел, прежде чем разрешили подняться на борт. А через десять дней — именно столько времени потребовалось для расшифровки почерка — отряд солдат арестовал Франсишку Мануэла и приволок его к новому йовогану.

Дождь лил весь день; по всему городу голые

мужчины мыли друг друга в багровых лужах. Во дворе мальчишки раскладывали каури по мешкам из травяной ткани. Он услышал пронзительный крик. На его плечи навалилась тяжесть. Последнее, что он запомнил, — это сильный удар чьей-то ноги в горло.

Он пришел в себя, лежа в грязи, с красной пеленой перед глазами: при падении он ударился головой о край мортиры. Его правая рука сильно распухла в месте, где с нее сорвали бразильское обручальное кольцо. Затем его сковали цепями и поместили в вонючую хижину.

Охранники щипали его, дергали за волосы и били ногами по почкам. Из раны на голове сочился гной. Он мучился поносом. Мальчишки смеялись над ним.

Он потерял всякое чувство времени и ждал смерти, как ждут друга. Но вместо этого пришел гонец с приказом доставить его в столицу.

Воспоминания о том путешествии сжались до одного пестрого пятна. Семь дней он раскачивался в своем гамаке, лихорадочно разглядывая струйки пота, стекавшие по спине его носильщика. В одной деревне на столбах висели головы, в другой женщины указывали на дерево, с которого распятый человек просил воды в окружении

семейства спящих крыланов. Через великую трясину тянулись заросшие бурьяном водоемы, где на мертвых ветвях сидели красные птицы, а над кувшинками кружились синие стрекозы.

Носильщик поскользнулся на мостках, и грязь залепила его бедра толстыми серыми хлопьями.

Была уже ночь, когда они вошли в Абомею.

У дворца были высокие стены, заляпанные грязью и кровью, и очень мало дверей. Он находился на расстоянии двадцати трех тысяч пятисот двух бамбуковых шестов от берега. В его пределах жили король, евнухи и три тысячи вооруженных женщин.

Стражники поместили пленника в низкий соломенный домик. Когда к нему вернулись силы, стражники повели его гулять по городу, но от барабанного боя, вида обезглавленных жертв и смрада разложения у него все сильнее кружилась голова, и он вынужден был вернуться в свою кровать.

Иногда по краю дальней стены проходил король, но все, что видел да Силва, — это белый зонтик, украшенный по краям челюстными костями. Он спрашивал:

— Когда я увижу короля? — но стражник лишь опускал веки и проводил указательным пальцем

по горлу.

Однажды утром, когда запели петухи, пришли три евнуха и велели ему одеться. Не смея взглянуть ни направо, ни налево, он проследовал за их развевающимися оранжевыми одеждами через дворы с кричащими дикарями; повсюду встречались архитектурные груды черепов — их было значительно больше, чем голов живых людей.

Они вошли к королю.

Король лежал, откинувшись на подушку из красного бархата; вокруг него толпились обнаженные женщины, которые обмахивали его страусовыми перьями и вытирали пот со лба.

Это был высокий худощавый мужчина с сухими красными глазами, механическими жестами и доброжелательностью заправского убийцы. Восходящее солнце освещало его грудь. Его ногти загибались, как петушиные перья. Набедренная повязка была пурпурной, сандалии — из витой золотой проволоки. У его ног лежали отрубленные головы мальчика и девочки, полчаса назад отправленных сообщить Мертвым Королям, что их потомок проснулся. Он бросил взгляд на бразильца и сплюнул.

Все прочие люди лежали на земле, и, когда король поднял свой жезл, они ткнулись носами в

грязь и закричали:

— Дада! Дыши за меня! Дада! Укради у меня! Дада! Дада! Сломай меня! Возьми меня! Моя голова твоя!

Придворный поэт прополз вперед, указал на да Силву и сказал вкрадчивым голосом:

— Птица, покидающая гнездо, не может взять с собой яйца.

Карлик-альбинос вскочил, отсалютовал как безумный, проскрипел что-то на языке белых и застонал, как будто его секли кнутами.

Палач провел пальцами по лезвию ножа.

Но узник знал, что ему ни в коем случае нельзя показывать страх. Медленно, словно через силу, рот монарха растянулся в кривую улыбку, подпорченную табачными пятнами на зубах.

К концу аудиенции да Силва стал другом короля.

Его не освободили, однако вокруг его дома теперь собирались люди — чтобы увидеть его, пощупать, попросить о лечении, поднести еды. Приходили министры, приходили принцы. Пришел мужчина с опухолью размером с буханку. Одна женщина все время приносила фрукты и говорила:

— Я твоя мать.

Он нашел других пленных португальцев и записал их имена: «Луиш Лисбоа… Антониу Пиреш… Роке Диаш де Жордау». Когда он попытался добиться их освобождения, король сказал:

— Ты мой друг. Не говори о моих врагах.

Король сказал, что любит его «слишком сильно», и заставлял стоять рядом с собой и наблюдать за каждой важной церемонией. Так, Франсишку Мануэл увидел жертвоприношение на лошади и жертвоприношение на помосте, во время которого жертв складывали в корзины и бросали палачам. Он видел духов Мертвых Королей, двигавшихся медленной походкой скелетов. Видел Мертвых Матерей-Королев, которые были куда более красочными и живыми. Видел щебетавших королевских «птичек», одетых во все белое, и раскуривальщицу трубок, которые имели больной вид.

Часто король танцевал сам, расправляя спину и сплетая шаги вокруг черепов своих любимых жертв. Или же развлекался тем, что учил маленьких мальчиков рубить головы, а когда у них что-то не получалось, кричал:

— Не так, дурак! Представь, что ты рубишь дрова!

Затем он толкал своего друга под ребро и кри-

чал:

— Ха! Белый! Из твоей головы я тоже буду пить.

Придворные смеялись над его шутовскими выходками, а Франсишку Мануэл гадал, чем закончится этот фарс.

Однако он был не один: за ним, куда бы он ни пошел, неотступно следовал молодой человек.

Лоб у него был высокий и широкий, брови — блестящие дуги, зубы — ослепительны. На предплечье он носил железное кольцо. Розовая туника, разрезанная по бокам, обнажала спину и грудь, на поясе свободно висел охотничий нож.

Единственным его физическим недостатком был правый глаз — косящий, затянутый пеленой и налитый кровью.

Казалось, он хочет что-то сообщить, но, когда Франсишку Мануэл улыбался ему, лицо его вновь принимало пустое выражение.

Один из стражников сказал, что это Канкпе, безумный сводный брат короля.

Более дружелюбный стражник прошептал, что Канкпе лишь притворяется безумцем; на самом деле он законный король и только ждет знамения, чтобы поднять восстание.

В апреле, когда темно-фиолетовые аронники распускают свои капюшоны на ямсовых полях, по городу поползли новые слухи.

Прорицатели, предсказывавшие будущее по яичным желткам и по ряби на поверхности воды, предрекали катастрофу или перемены. В Садо женщина родила мальчика, который был наполовину леопардом. В результате войны с племенем эгба было взято всего пять пленных, а поведение короля превзошло даже дагомейские границы терпимости.

Он связал двух своих главных министров, Мингана и Меу, и плевал ромом им в лицо. Он кастрировал солдата, у которого были слишком широкие бедра. Его сыновья осквернили королевскую гробницу. Как-то он вскрыл живот одной из своих жен, чтобы доказать, что плод — мужского пола.

Однажды на утренней аудиенции сквозь толпу протиснулся старик, поднял руку и указал пальцем на трон. Его щеки были впалыми, грудь вымазана белой глиной, с бедер свисали белые тряпки.

— Кто ты? — спросил король.

— Не узнаешь Ажахоланхуна? — ответил мужчина. — Это я повиновался твоему приказу

отравить твоего отца. Теперь Мертвые Короли посадили меня в тюрьму за помощь в твоих преступлениях.

Король вздрогнул и повелел принести старику какой-нибудь пищи. Но старик перекинул кукурузную кашу через левое плечо и сказал:

— Мертвые едят так.

Затем он выплеснул пальмовое вино через правое плечо:

— Мертвые пьют так.

Толпа расступилась, он ушел в туман, и никто не смог найти его следов.

Весь тот месяц гиены выходили на улицы по ночам, а днем город молчал. Король играл со своим пленником целый сезон, и теперь он ему наскучил. Франсишку видел смерть в отражении своего лица в зеркале. Грубые руки схватили его покорное тело, вытащили из дома и бросили наземь перед троном.

Король стоял над ним, его тень падала темной диагональной полосой:

— Почему Португалия послала триста тридцать пять кораблей, чтобы напасть на Уиду?

— Не посылала.

— Зачем ты убил мою борзую?

Он открыл рот, чтобы ответить, но стражники

заткнули его деревянным кляпом.

— Так ты считаешь себя белым человеком? — усмехнулся король и приказал отвести его в тюрьму.

Стражники обрили ему голову и посадили в чан с индиго.

Чтобы краска проникла в каждую пору, они заставили его погрузить в воду голову и дышать через соломинку. За одну луну его окунали пять раз, но, когда его оттирали, под кожей вновь обнаруживался серый налет, и его заставляли снова лезть в краску.

Затем, поскольку белому человеку никогда раньше не отрубали голову, а белый цвет — цвет смерти и все белые и так уже полумертвы, его бросили умирать без тени, воды и пищи.

Его ноги ослабли. Живот натянулся, как барабан. Кожа покрылась водянистыми гнойниками: как бы он ни повернулся, все было мучительно. По ночам по нему ползали фосфоресцирующие сороконожки. Стервятники обрызгивали его аммиачными каплями, пока занимали места вдоль стены, раскрывая крылья с шумом рвущегося шелка.

Ему снилось, как он идет сквозь ряд душных комнат и в каждой видит собственную голову,

кишащую мясными мухами, положенную на серебряном блюде. Он пальцами раздвигал веки, вспыхивал зеленый свет, мухи принимались жужжать, пока не падали наземь — *бум… бум… бум…* — и не взрывались дымными шариками.

Иногда он замечал принца Канкпе, стоящего к нему лицом, как на фреске; тот улыбался, показывая щель между двумя передними зубами.

Перед его взором проносились воспоминания о Бразилии: убогий глинобитный дом, подвеска на ноге умершей матери, плач ребенка, кающиеся грешники в Монти-Санту, сокровища Коутиньу… Перебирая неверные повороты на пути, которые привели его к этому концу, он задыхался от жалости к себе и обещал принять постриг, если когда-нибудь выберется из Африки.

Иногда он смеялся над нелепостью смерти во дворце, где мертвые оставались живее живых.

Смерть пришла тихо, ночью. Освободив его от цепей, она осторожно подняла его по лестнице, перемахнула через тюремную стену и уложила на подушки внизу.

Канкпе выкрал плетеный паланкин, в котором перевозили каури для ежегодного учета. Никому, даже таможенникам, не разрешалось заглядывать внутрь. Носильщики отправились

на северо-запад и успели пересечь границу до того, как поднялась тревога.

Франсишку Мануэл очнулся от наркотического дурмана и обвел взглядом стены глинобитной хижины. Прокричал петух. Он услышал женский смех и трели флейты из долины.

В дверях показалась тень, вошел седовласый мужчина с калебасом пенящегося молока. Пена прилипла к бороде Франсишку; он вытер ее рукой и снова лег спать. Позже тот же человек сказал, что Франсишку должен дожидаться в деревне, пока Канкпе, его спаситель, не сможет к нему присоединиться.

Да Силва отправился на прогулку по холмам, где пасся длиннорогий скот. Далеко на западе горный хребет расчленял горизонт на пурпурные и голубые грани. Земля эта напомнила ему Сертан, только здесь кора у кустарника была оранжевой, а шипы — длинными, белыми и сияющими.

Проснувшись однажды утром, он узнал, что Канкпе охотится в лесу неподалеку. Вместе с мальчиком-провожатым он шел весь день, пока не добрался до водосборника, стоявшего у корней дерева.

Они услышали его прежде, чем увидели — Канкпе пробирался сквозь высокие заросли

травы. Свежеубитая антилопа красиво венчала трапецию его торса: набедренная повязка из коричневой кожи лишь подчеркивала наготу.

В полумраке Канкпе разделал животное, бросил жир собаке, а внутренности закопал, чтобы душа упокоилась с миром. Затем они съели мясо, зажаренное на решетке из зеленых прутьев.

В кустах подал голос леопард. Канкпе подполз к краю поляны и завыл в ответ; на секунду они увидели пятнистую морду, мелькнувшую в свете костра.

— Мой отец, — сказал Канкпе и растянулся на земле.

Следующие пять дней они вместе ходили на охоту, нащупывали точки соприкосновения, чтобы нарушить границы обычаев и цвета кожи.

Канкпе показывал ему шкуры различных антилоп: газелей, кобов, водяных козлов, бушбоков и бубалов. Он подкрадывался к стаду — то перебежками, то ползком, то замирая неподвижно, притворяясь муравейником, когда какое-нибудь животное поднимало морду, чтобы принюхаться к ветру. Он заходил в болото, чтобы выгнать бородавочника, или взбирался на дерево, чтобы не попасться на глаза бизону. Он никогда не поднимал копье, если не был уверен, что попадет в

цель. Охотничье ружье он презирал как оружие трусов.

На пятую ночь они заключили договор на крови.

Луна в своей последней четверти размазывала свет по бугристому стволу баобаба. Где-то трещала клювом птица-носорог, неподалеку завывал шакал.

Мужчины стояли друг против друга на коленях, голые, как младенцы, крепко сжимая бедра: договор будет недействительным, если гениталии коснутся земли.

Луна ярко сверкала на черных бицепсах и бедрах, тогда как белая кожа равномерно поглощала лунный свет.

Канкпе порылся в кожаной сумке и достал чашу из черепа. Он поставил ее в пространство между их коленными чашечками и поместил внутрь священные ингредиенты: пепел, бобы, сердцевину баобаба, громовой камень, пулю, извлеченную из трупа, растертую в порошок голову рогатой гадюки.

Он наполовину наполнил череп водой. Затем они надрезали один другому пальцы и смотрели, как льется с них черная кровь.

Они пили из черепа по очереди, проводя язы-

ком по пуле и громовому камню.

Канкпе закатывал глаза и бормотал заклинания: *A dâ la… A dâ la…* («Кровные братья вместе живут и вместе должны умереть»).

Франсишку Мануэл пил с легкомыслием человека, избежавшего верной смерти. Пройдет еще тридцать лет, прежде чем он до конца осознает, сколь велики были взятые им обязательства.

5

Он добрался до побережья Анехо, невольничьего порта к западу от Уиды, на территории племени попос. Фактория у лагуны принадлежала мистеру Джорджу Лоусону, горбатому мулату, сыну английского капитана по имени Джордж Лоу. В доме по-прежнему было полно английских безделушек, но английские корабли больше не приходили, а в буфете гнездились цесарки.

Франсишку хотел выбраться из Африки, все забыть и начать сначала. Он смотрел на горизонт в телескоп мистера Лоусона, ожидая, когда в двух серых полукружиях обнаружится пятно, но корабль не появлялся. По вечерам он играл в шахматы, пытаясь отвлекать партнера от ходов рассказами про Абомею.

Наконец старая фелука под португальским флагом бросила якорь и отправила шлюпку на берег. Она направлялась из Лагоса в Баию, но шторм смыл за борт бочонки с водой, и ей требовалось пополнить запасы. Капитан согласился его взять, а команда приняла за очередного сумасшедшего, которых так много в африканских портах.

В последнюю ночь на берегу он не мог уснуть,

думая о Баие. Он уже видел гавань, церкви и винные лавки вдоль набережной. А ближе к рассвету осознал, что вернется туда нищим. Тогда он вспомнил об обещании помочь принцу Канкпе и решил участвовать в восстании.

В письме Жуакину Коутиньу он рассказал обо всех перенесенных им страданиях и сообщил синдикату, что у них есть шанс избавить Дагомею от монстра и заменить его своим человеком.

Синдикат прислал мушкеты, ром и табак. Носильщики встретили отряд принца Канкпе на границе. Символом восстания стал алый шелк, разорванный на флаги.

Франсишку Мануэл продолжал ждать и играть в шахматы; он как раз начал партию с мистером Лоусоном, когда в дом ворвался гонец нового короля и сообщил последние новости.

Пять дней назад два главных министра короля, присутствовавшие на аудиенции, вместо того чтобы поклониться и посыпать голову прахом, крикнули: «Мертвые Короли свергли вас!» — и каждый снял у него с ноги по золотой сандалии, которые мог носить только король.

Король содрогнулся от приговора предков, отрекся от престола и позволил заточить себя в тюрьму, где и просидел еще сорок лет, проводя

воображаемые казни и тупея от обжорства.

Мистер Лоусон выплюнул стручок тамаринда, который жевал, и сказал:

— Все дагомейцы — лжецы, и новый король будет ничем не лучше предыдущего.

Франсишку Мануэл пришел в ужас при мысли об Абомее и отказался уходить с гонцом. Прибывали новые гонцы, предлагая ему почести и монополию на работорговлю. Он снова отказывался.

До тех пор, пока однажды вечером черное каноэ не проскочило через рыбные заводи и не причалило к поместью Лоусона. На берег сошла длинноногая фигура. То был Тапарика.

Хозяин и слуга понеслись навстречу друг другу по тропинке и, неожиданно для себя, заключили друг друга в объятия. Они проговорили всю ночь, и, хотя к утру их разговор так и не иссяк, Тапарике все же удалось убедить да Силву, что тому нечего бояться.

Носильщики принесли его гамак; устроившись в нем, Франсишку Мануэл повернулся к хозяину дома и сказал:

— Вот увидишь. Однажды я стану его рабом.

Они проехали через западные ворота Абомеи в открытом ландо, запряженном не лошадьми, а

людьми. Раздался залп из двадцати одного орудия. В давке ломались зонтики.

Новый король стоял улыбаясь и приветствовал их в одеянии из серого шелка, прорезанном серебряными полумесяцами; на шее у него висела одна голубая стеклянная бусина. Казалось, он стал выше ростом и ступал по земле, словно шаги его делали ей честь. Он подвел их к стульям, поблагодарил Тапарику за «поимку большой рыбы» и без предупреждения вручил Франсишку Мануэлу регалии дагомейского вождя.

Крики толпы становились все громче:

– *Viva o amigo do Rey!*[146]

На закате король отвел их в крепость, где, глядя с помоста, они увидели свергнутого монарха, который катался по двору, сплевывая в пыль сгустки мокроты.

Король сказал:

— Гиена воет — слон идет.

С того часа дагомейцы стали называть Франсишку Мануэла Ажинаку — Слон.

Уже через год он стал вице-королем Уиды и превратил Дагомею в самую эффективную военную машину Западной Африки.

---

[146] Примечания: 146
Да здравствует друг Короля! *(порт.)*

Оставаясь на побережье, он придерживался манер и образа жизни бразильского сеньора. Бродяги всех мастей от Кабо-Верде до реки Бонни приходили, чтобы поесть за его столом и испытать на прочность запасы его погреба. Хотя титул «дон» обычно присваивался членам португальской королевской семьи, все называли его Дон Франсишку.

Он придал Уиде облик цивилизованного города, приказав прорыть сточные канавы и проложить улицы через лабиринт опасных переулков. Он посадил масличные пальмы и кокосы, первым привил местной почве ананас. На равнине теперь выращивали маис и маниок, вдоль лагуны раскинулись рисовые поля.

Рабочие обожали его, поскольку он запретил бить людей плетьми на своих плантациях. По дороге до полей они проходили мимо его окон, распевая в его честь литанию:

Слон расставляет свои сети

На суше и на море.

Он покупает матерей, отцов, сыновей,

И гиена воет напрасно.

Друзья собираются вокруг запахов его кухни.

Обезьяны танцуют, когда пьют пальмовое вино.

Он – Добрая Губка, очищающая нас.

Он закаляет свои стены огнем.

Он дарит нам жемчуг, а мы дарим ему комара.

За один день он продал всех рабов в Уиде.

Его колодец никогда не иссякнет.

Ни один капитан не мог уклониться от бдительности его береговой охраны — погрузить на борт раба, не заплатив налог на экспорт, или выгрузить тюк хлопка, не заплатив пошлину. Его векселя принимали банкиры от Нью-Йорка до Марселя. В одиночку или в деловом союзе он снарядил целую флотилию балтиморских клиперов[147].

Эти новые корабли были спроектированы так, чтобы обгонять любые крейсеры королевского флота. У них были высокие мачты, гладкие черные корпуса и имена в честь морских птиц: «Фрегата», «Альбатрос», «Чайка», «Алькатрас»,

[147] Примечания: 147

Балтиморский клипер — парусное двенадцатипушечное торговое судно.

«Крачка».

Однако во время плавания их кили торчали под острым углом, так что даже при умеренном волнении моря команде приходилось задраивать люки и закрывать решетки. Температура в трюмах поднималась, грузы погибали от жары, дизентерии и нехватки воздуха.

Как всякий уважающий себя работорговец, в своих потерях он винил британцев.

Каждый год, с наступлением засушливого сезона, он отбрасывал цивилизованные привычки и отправлялся на войну.

Первой его задачей было реформировать дагомейскую армию. Они с королем избавились от толстяков, паникеров и пьяниц. А поскольку дагомейские женщины были куда более яростными бойцами, чем мужчины, и могли зарядить дульнозарядное ружье в два раза быстрее, по деревням разослали вербовщиков, чтобы те набирали самых мускулистых девственниц.

Новобранок называли Женами Королевского Леопарда.

Они ели сырое мясо, брили головы и подпиливали зубы до остроты. Их учили стрелять с плеча, а не от бедра, и никогда не палить по шуршащим листьям. Во время тренировок их заставляли

преодолевать частокол из колючих опунций, и они возвращались с криками: «Хоу! Хоу! Мы мужчины!» Поскольку они были обязаны соблюдать целибат, им разрешалось удовлетворять свою похоть с проститутками.

Дон Франсишку настоял на том, чтобы разделять с ними все тяготы похода.

Он пересекал раскаленные саванны и переплывал реки, кишащие крокодилами. Перед нападением на деревню он привязывал к шляпе листья и лежал на земле неподвижно до первых криков петухов. Затем, когда рассвет озарял крыши, похожие на зубья пилы, раздавался свисток, воздух наполнялся неистовыми криками, и к концу утра амазонки уже шествовали перед королем, размахивая, словно гирями, отрубленными головами.

Дон Франсишку встречал каждое новое злодеяние со стеклянной улыбкой. Он не испытывал ни малейшей жалости к матери, умолявшей спасти своего ребенка, или к старику, в изумлении взиравшему на дымящиеся руины, окутанные пурпурной пеленой.

Долгие годы он продолжал жить в этом кошмаре, которым сам же и управлял. Однажды перед разграблением Сокологбо, когда он прятался за

камнем, по тропинке проскакало несколько малышей с птичьими пугалками, чтобы прогнать голубей с просяного поля. Амазонки выскочили из кустов и растерзали их одного за другим. Он никогда не забудет их сдавленных криков.

Все то утро, пока дагомейцы выполняли свою работу, он, зарывшись лицом в руки, бормотал:

— Нет… Только не дети!..

Больше он никогда не ходил на войну.

Сам король стал воином более страшным, чем любой из его предков.

Он разбил Грито в 1818 году, Лозогохе в 1820-м и Лемона в 1825-м. Он убил Атобе из Махи, Адафе из Напу и Ачаде из Лефу-Лефу. Он накормил атакпамейцев мясом их отцов. Он поклялся победить эгба в их крепости в Абеокуте и велел Алафину из Ойо «есть яйца попугаев».

По характеру он не был жесток. Его тошнило при виде крови, он отводил глаза от казней. Король жаждал прекратить нескончаемые войны и акты мести и все же не мог устоять перед соблазном набрать еще больше черепов.

Черепа его врагов убеждали его в том, что он живет в реальном мире. Он пил из черепов, он плевал в черепа. Ножки его трона были составлены из черепов, как и бока его ложа и дорожка,

ведущая в опочивальню. Он знал имя каждого черепа в своем Доме Черепов и вел воображаемые беседы с каждым по очереди; мелких врагов он складывал на медные подносы, великих заворачивал в шелка и хранил в выбеленных корзинах.

Впрочем, при всем желании он не смог бы избежать жертв. Военачальники только и ждали малейших признаков слабости, а священники всегда готовы были посоветовать, кого из пленников отправить в Землю Мертвых, а кого — американцам.

Дон Франсишку пытался придумать, как спасти их от ножа, и пришел к выводу, что лучший способ — отвлечь внимание знати какой-нибудь новинкой из Европы.

Однажды, когда дворцовые архитекторы планировали выложить мозаику из черепов, он предложил использовать вместо них фарфоровые тарелки. Сначала король обрадовался идее разбить столь ценное имущество и высыпал на землю целую груду. Затем, словно услышав недовольное рычание предков, нахмурился; его мертвый глаз высосал свет из глаза живого, и он рявкнул:

— Война нужна для того, чтобы захватывать

головы, а не продавать их вместе с телами.

Постепенно два друга прекратили общение, если не считать обмена подарками. Хотя подарки Дона Франсишку обычно радовали короля, ему нечего было предложить в ответ, кроме женщин; при этом он расставлял шпионов по всему форту в Уиде, чтобы убедиться, что каждым из его подарков воспользовались по назначению — таковы были его представления о дружбе. Хозяйкой сераля по-прежнему оставалась Жижибу.

Она пережила все потрясения и превратилась в широколицую женщину, статную, как лошадь, с атласным блеском кожи. Она проводила дни в тени своей хижины, закутавшись в оранжевую ткань, и никто не видел, чтобы она хоть раз улыбнулась.

Ее отец-крумен умер — его каноэ перевернулось. И хотя Жижибу подозревала мужа в том, что тот продал отца работорговцам, она продолжала исправно заниматься домашними делами. Жижибу осматривала девушек, чтобы убедиться, что они девственны, успокаивала их страхи и вела в спальню. Она подносила каждого младенца отцу, но их лепет напоминал ему о бразильском ребенке, и, когда их крошечные пальчики впивались ноготками в его бороду, он стискивал зубы,

затыкал уши и спешил уйти.

Чтобы соблюсти церковные приличия, Франсишку настоял на христианском крещении и заставил Жижибу официально признать всех детей. Он пытался прочесть ее мысли, когда она стояла у купели; Жижибу замечала его взгляд, ее глаза сужались, а уголки губ опускались.

К 1835 году его семья уже не помещалась в форте. Началась работа над строительством особняка, который ему не дали построить в Бразилии.

Симбоджи — что в переводе с языка фон означает «большой дом» — был заложен на открытом всем атлантическим бризам участке земли между королевским баобабом и деревом капитанов.

Вылупившийся из кокона строительных лесов, он оказался одноэтажной копией Тапуитаперы — из-за отсутствия каменного фундамента второй этаж строить было небезопасно. Такие же розовые стены, вздернутый карниз, голубая столовая и окна с крестообразными решетками, выкрашенные в зеленый цвет.

Слуги никогда раньше не видели стеклянных окон — заметив в них отражение заходящего солнца, они решили, что начался пожар, и облили их водой.

Дон Франсишку заказал палисандровые диваны, розово-молочный туалетный набор, швейцарские музыкальные шкатулки и кровать из Гоа. Пианино привезли из Германии. Бильярдный стол преодолел прибой на плоту из трех скрепленных вместе каноэ.

Его личные покои были высокими и прохладными, солнечный свет полосами пробивался сквозь ставни. Веранда выходила в сад, наполненный ароматом ночных цветов; за дальней его стеной находился сераль.

Напротив кровати Дон Франсишку повесил панораму Баии, но вид ее навевал тоску, и он заменил ее литографией с мальчиком-императором Педру II. Его письменный стол был завален старыми бразильскими газетами. Он пытался разобраться в политике новой империи, но все эти имена ничего ему не говорили. Он сдался и стал читать только рекламные объявления.

Однажды ночью, в порыве вдохновения, он написал Жуакину Коутиньу, спросив, не могли бы монахини Соледада сделать копию его молельни с Тайной вечерей.

Жуакин был в восторге оттого, что его деловой партнер отказался от возвращения на родину и тем самым избавил его от неловкости. Не теряя

времени, он отправил тому ящик, сопроводив письмом:

> *Моя супруга и я с удовольствием посылаем Вам нашу собственную молельню с благословениями в адрес христианской общины, основанной в Уиде…*

В свои пятьдесят лет Дон Франсишку выглядел так, словно местный климат не оказал на него ни малейшего влияния. От правого виска шел глубокий шрам, разделяя лоб на две части. Желтоватая кожа не знала морщин. Волосы и борода были черными и блестящими, движения — проворными, как в молодости.

Одежда его нисколько не волновала. Днем он носил костюм плантатора из серого хлопка, старые сапоги и соломенную дырявую шляпу. Требовал, чтобы гости приходили к ужину в свежих белых костюмах, а сам, словно издеваясь, появлялся в грязном халате и растянутых штанах, волочившихся за его мавританскими тапочками.

При этом в его спальне стоял шкаф, расписанный китайскими пейзажами, набитый одеждой, которую он заказывал у портных Лондона и Парижа для приемов, где никогда не бывал. Иногда

по вечерам, за запертой дверью, он надевал вечерний костюм и протягивал руку в белой перчатке к зеркалу в трюмо, которое покрывалось трещинами и темнело гораздо быстрее, чем его собственное лицо. Потом, когда моль и чешуйницы начинали свою работу, он приказывал Тапарике все сжечь и отдавал новые распоряжения своему поверенному.

Часов он не носил. Время определял по солнцу или звездам; даже когда небо было пасмурным, он мог вглядеться в темноту и сказать:

— До рассвета осталось три часа.

Однако в кожаной шкатулке под кроватью он хранил целую коллекцию часов: золотые часы на цепочке и карманные «охотничьи» часы; часы с циферблатами из горного хрусталя или расписанные сценами из турецких гаремов. Его любимыми были швейцарские музыкальные часы — когда женщины слышали щебетание крошечных птичек под матрасом, они думали, что это поют духи.

Он заводил все часы перед отходом ко сну, устанавливая на каждых свое время: так сильно он был одержим его течением.

Бывали ночи, когда он доставал свои кольца и надевал одно за другим, пока пальцы не дереве-

нели под гнетом сияющих изумрудов.

Потом он угрюмо рассматривал свои голые руки и кричал:

— Тапарика! Воды и мыла!

Затем ложился в ночной рубашке и ждал, пока на веранде не заскрипят доски: в тяжелые ночи он мог надеяться обрести покой, только лишив кого-нибудь девственности.

Мальчикам да Силва разрешалось играть голыми до семи лет. После этого отец одевал их в белое, переселял в общежитие и отправлял в школу к падре, чтобы они научились читать.

Да Силвы были бойкими мальчуганами и легко учились. Они зубрили катехизис и стихи Камоэнса, хотя чаще всего возвращались с уроков с пустыми, недоумевающими лицами.

За двадцать лет миссионерской работы в Анголе отец де Лесса, чем-то похожий на хищную птицу, крепко усвоил все библейские предубеждения касательно негров. У него была привычка проводить уроки Священного Писания в форме риторических вопросов.

— Может ли эфиоп сменить кожу? — кричал он. — Или леопард свои пятна? Разве черный цвет не является цветом ночи? Цветом дьявола? Разве черная кожа не является знаком Каина?

Дон Франсишку узнал об этом и однажды утром сел под окнами класса; выслушав разглагольствования падре, он просунул голову в окно и сказал:

— А вот чернокожие верят, что дьявол — белый.

Его старший сын, Исидору, был отправлен в Баию, чтобы закончить обучение вместе с мальчиками Коутиньу. Теперь эта семья жила в большом белом особняке на скалах с видом на залив. Но дикость Исидору, а также его африканские привычки в области гигиены так напугали дам, что опекун переселил его в мрачную семинарию далеко в горах.

Там, в классах, пропахших ладаном, Исидору учился разбирать латинские предложения, облачившись в белую рясу с красным крестом. На каникулы возвращался вялым, с запавшими глазами. Приступы его кашля наводили святых отцов на мысли о туберкулезе, и в конце концов его выслали обратно к опекуну.

Вернувшись в Баию, Исидору быстро восстановил здоровье в барах и борделях Пелуриньу.

Я решил, – писал Жуакин Коутиньу своему партнеру, – *закрыть глаза на непристойности Вашего сына, поскольку*

единственным средством борьбы с ними будет передача его в руки гражданских властей, чего я, как опекун, делать не желаю совершенно.

Но когда молодой мулат появился на пороге дома, обливаясь кровью и в разорванной одежде, его выгнали вон и отправили жить к агенту по работорговле в Нижнем городе.

Жуакин Коутиньу использовал поведение Исидору как предлог для разрыва партнерских отношений: к 1838 году работорговля перестала быть достойным занятием для бразильского джентльмена.

Уже десять лет как продажа людей считалась уголовным преступлением. Хотя она продолжала спокойно процветать и кофейные плантаторы с Юга требовали все новых рабов, бизнес перешел в руки португальских нуворишей, чьи торговые методы сделали их крайне непопулярными.

Бразильские либералы ненавидели рабство по моральным соображениям, а консерваторы не доверяли ему по практическим: в Бразилии стало слишком много черных.

В 1835 году Баию захлестнуло восстание рабов. Впоследствии оказалось, что его возглавила

кучка мусульманских фанатиков, проникших в братства чернокожих христиан и объявивших священную войну. В приличном светском обществе имя Туссен-Лувертюра[148] было у всех на устах, а при дворе министры императора отдавали предпочтение иммигрантам из Германии, а не африканцам.

Помимо кораблей, Жуакин Коутиньу владел многими ранчо, алмазным рудником, банком, целыми улицами в городе и подумывал о строительстве железной дороги. Он мечтал о титуле, боялся скомпрометировать себя и особенно чувствительно относился к прозвищу, которым его наградили, — Старое Мясо.

Во время визита в Рио он подкупил императорских камергеров. Затем разорвал все прежние связи с подельниками и продал свой флот; построил две церкви в готическом стиле, внес щедрое пожертвование в монастырь, поставил свое имя во главе всех подписных листов и наконец получил свою награду.

Однажды вечером в Симбоджи, листая свежий

---

[148] Примечания: 148

Франсуа-Доминик Туссен-Лувертюр (1743–1803) — лидер Гаитянской революции, в результате которой Гаити стало первым независимым государством Латинской Америки.

номер *Jornal do Rio de Janeiro*[149], Дон Франсишку прочитал, что известный финансист и филантроп из Баии стал бароном Параибы. На гравюре был изображен бородатый мужчина в сюртуке, с золотыми цепями на брюшке и орденом Святого Бонифация на шее.

— Это не тот мальчик, которого я когда-то знал, — сказал Дон Франсишку.

Он решил рискнуть и написать письмо с поздравлениями, но прошло пять месяцев, прежде чем пришел ответ — краткая записка с сожалением о том, что общественное и семейное положение больше не позволяют барону заниматься африканской торговлей.

Впрочем, у нового барона Параибы хватило милосердия — или корысти — найти агента в Баие для своего бывшего коллеги.

Жозе де Параизу был португальцем, который благодаря изгнанию научился искусству быть незаменимым. Первым делом он вызволил из сточной канавы Исидору да Силву. Купил ему новую одежду и заставил позировать для портрета. Затем отправил в Марсель учеником в судоходную компанию.

---

[149] Примечания: 149
Газета Рио-де-Жанейро *(порт.).*

Он старался поддерживать неизменный интерес короля Дагомеи. С тем же кораблем, что и портрет Исидору, он отправил несколько сияющих литавр, фигурку ноева ковчега и шарманку, исполнявшую псалмы. Затем скупил костюмы, проданные оперой в Рио для покрытия расходов, и в течение целого сезона придворные чиновники Абомеи расхаживали в одеждах персонажей из «Семирамиды» Россини.

В другой раз, возможно в шутку, он послал полотно с изображением Юдифи и Олоферна, но Дон Франсишку оставил его себе.

> *Эти люди*, – писал он, – *плохо понимают юмор. Его величество, возможно, будет недоволен.*

Впрочем, определить, доволен ли король подарком, было невозможно, потому что каждый раз он поднимал брови, как бы говоря: «Интересно, что ты оставил себе на этот раз?»

В Симбоджи все девушки-служанки шпионили для короля: что бы ни происходило в доме, король узнавал об этом первым. Так, когда Дон Франсишку купил себе серебряного лебедя, глотавшего рыбу под арии Беллини, тот исчез в первую же ночь; на следующий день его прислали из Абомеи

обратно — без шеи, с искореженным механизмом и предупреждением никогда больше не присылать ничего сломанного.

Король не нуждался в золоте. Золото было валютой его врага, короля Ашанти, в то время как в Дагомее использовались раковины-каури, которые нельзя было ни подделать, ни имитировать.

Но кубинцы и янки, приезжавшие покупать рабов в Уиду, предпочитали платить золотом: слитками, дублонами, луидорами, наполеондорами, соверенами, а иногда и монетами Великого Могола. Дон Франсишку хранил свои сбережения в бочонках, зарытых под полом спальни; его страшно встревожило, когда король приказал отнести один из них в Абомею.

Король разглядывал монеты одну за другой и пропускал их сквозь пальцы. Он узнал имена Луи-Филиппа, курфюрста Бранденбургского, царя Павла и молодой королевы Виктории. Затем он закатил глаза и бросил горсть золота на землю.

— Я бы никому не позволил уйти с моей головой, — сказал он и больше никогда не упоминал о золоте.

В сезон дождей 1842 года отец де Лесса сошел с ума.

Он приходил в школьную комнату голым и терзал себя кожаным бичом. Часто можно было видеть, как он вышагивал вокруг храма Питона в забрызганной грязью сутане и кричал:

— Я опустошу этот город! Вычищу отсюда всю мерзость!

Однажды в воскресенье, готовясь к мессе, он обнаружил в своих одеяниях свернувшегося питона и размозжил ему голову навершием молитвенного креста. Жрецы-фетишисты вытащили его из часовни, и к тому времени, когда Дон Франсишку спас его, тот был окончательно не в себе.

Ему везде мерещилось животное по имени Зу.

У Зу была голова обезьяны, тело собаки, когти леопарда; неуклюжей, развязной походкой он попадался ему на пути и щебетал, словно птица.

Дон Франсишку решил отправить падре обратно в Баию. Но оказалось, что Зу водится и на море тоже — когда несчастного пытались связать на борту каноэ, тот не переставая кричал:

— Зу! Зу!

Примерно в это время Исидору вернулся из Франции с манерами денди и желанием создать завод по производству пальмового масла: к 1840-м годам средние классы Европы по достоинству оценили благословенные свойства *savon blanc de*

Provence[150].

Марсельская торговая компания «Бине и Понсеттон» отправила на разведку своего представителя, чтобы узнать о пальмовых плантациях на Невольничьем береге. Благодаря помощи Исидору тонкогубый юноша по имени Блез Брю был хорошо принят и смог поселиться в старом французском форте Сен-Луи-де-Грегуа.

Блез Брю отлично играл в бостон и был желанным гостем на ужинах в Симбоджи. Именно он предложил передать Уиду под французский протекторат.

Что касается Дона Франсишку, то он ухватился за возможность заработать честные деньги на торговле маслом. Он предоставил в распоряжение француза всю свою рабочую силу и заключил с ним деловой контракт. Они выкорчевывали старые пальмы и сажали новые. В форт съезжались женщины из дальних деревень, привозившие на головах калебасы с маслом. В первый же сезон на берег выкатили четыре тысячи бочек, и Дон Франсишку снова стал улыбаться.

Он улыбался, глядя, как созревают пальмовые орехи цвета тлеющих углей; улыбался, наблюдая,

---

[150] Примечания: 150
Белого провансальского мыла *(фр.)*.

как клейкая желтая жидкость поднимается на поверхность чанов. Часто он обращался к своим сыновьям и говорил:

— Однажды пальмовое масло сделает нас богаче, чем мы могли мечтать.

Но молодые мулаты как будто его не слышали. Они ненавидели отца, терпеть не могли работать и, не находя выхода своей энергии, становились злыми и угрюмыми — воровали из кладовых, напивались и открывали для себя радости ножа.

Роман Дона Франсишку с Францией достиг своей кульминации, когда второй сын Луи-Филиппа, принц де Жуанвиль[151], высадился с фрегата «Бель Пуль», чтобы осмотреть французскую фабрику.

В тот вечер Дон Франсишку велел подать вино «Шато-Марго» 1811 года и презентовал каждому офицеру на память серебряный держатель для зубочистки в виде дикобраза.

Принц смешил всех рассказами о постыдном поведении англичан в то время, когда он забирал тело Наполеона с острова Святой Елены. Обсуждал проблему охлаждения шампанского

---

[151] Примечания: 151

Франсуа Орлеанский, принц де Жуанвиль (1818–1900) — вице-адмирал, третий (а не второй) сын французского короля Луи-Филиппа I Орлеанского.

в тропиках и происхождение выражения *Perfide Albion*[152]. Затем он сделал карандашный набросок хозяина дома — основу всех будущих портретов — и отправился спать под балдахин кровати из Гоа.

На следующее утро, когда он собрался уходить, мальчики Да Силва закричали: *«Vivas!»*[153] Девушки украсили принца гирляндой красного жасмина. Дон Франсишку подарил ему коробку со своими лучшими гаванскими сигарами и попросил замолвить словечко перед его шурином, бразильским доном Педру.

— Я все ему расскажу, — сказал принц.

Когда Блез Брю получил сообщение от своей компании в Марселе с просьбой прекратить сотрудничество с печально известным работорговцем, это стало для Дона Франсишку страшным ударом.

— Мне жаль, *mon vieux*[154], — это все, что мог сказать Блез Брю.

В отчаянии Дон Франсишку обратился к ан-

---

[152] Примечания: 152
Коварный Альбион *(фр.).*

[153] Примечания: 153
Здесь: ура! *(порт.).*

[154] Примечания: 154
Старина *(фр.).*

гличанам, надеясь, что они помогут ему, если он поможет им.

Когда в четырех милях от побережья Жакены бристольский корабль сел на мель, он очистил пляж от мародеров и помог команде спасти груз. Он спас методистскую миссию, застрявшую в Лагосе, и присматривал за миссис Макалверт, когда ее муж вышиб себе мозги. Он даже принимал у себя англичан, прибывших с проектом договора лорда Палмерстона[155] об отмене работорговли.

Первым «англичанином», посетившим короля, стал «негр в брюках» из Фритауна, преподобный Томми Краудер, который был вынужден лицезреть ежегодные жертвоприношения и вернулся перепуганным до смерти. Однако ему все же, заикаясь и дрожа, удалось передать приветствие Великой Белой Королевы.

В ответе короля, который священнослужитель записал на некоем подобии английского, содержался вопрос о здравии королевы, а также «его дочерей, его сыновей, его матери и его бабушки». Он согласился с тем, что продажа рабов — это «плохо»; что бразильцы — «плохой людь, хотеть рабов за деньги»; и что «королева должен по-

[155] Примечания: 155

Генри Джон Темпл, виконт Палмерстон (1784–1865) — английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании.

слать человека с большой голова слушать король говорит и писать книгу слов короля, и потом король Дагомеи тоже посылать гонца к королеве, пока-пока».

Человек «с большой голова», капитан Уильям Манро, прибыл через шесть месяцев в форме Первой лейб-гвардии. У него были рыжие волосы, честные голубые глаза и густые рыжие брови, сходящиеся на переносице; его разговор изобиловал расхожими фразами из аболиционистской литературы. Он привез королю в подарок пару павлинов и прялку своей матери из Шотландии.

За ужином он пытался убедить Дона Франсишку, что почва Дагомеи идеально подходит для выращивания хлопка.

— Да-да, — ответил хозяин. — Всему свое время. Вы проведете для них железные дороги и сделаете их очень счастливыми. Возможно, даже научите их не убивать друг друга. Но это займет много времени, а я уже слишком стар и слишком устал. Все, что я могу, мой дорогой юный друг, — это предложить вам гостеприимство моего простого дома.

В день отъезда миссии в Абомею он слег с ревматизмом; позвав капитана к себе и взяв его за руку, Дон Франсишку прошептал:

— Пожалуйста, замолвите за меня доброе слово перед королем.

Впоследствии никто не мог сказать, виноват ли был переводчик, наивный Манро, или сам король, который желал угодить английскому посланнику, но у Министерства иностранных дел сложилось впечатление, что король был «справедливым и гуманным человеком», который жаждал избавиться от «отвратительного да Силвы» и заняться мирным сельским хозяйством.

В свою очередь, королю было приятно получить ежегодную субсидию в три тысячи фунтов от Белой Сестры, что позволило ему вести войну и брать столько черепов, сколько захочется, без хлопот, связанных с продажей пленников.

Его письмо королеве Виктории обещало изгнать всех работорговцев из Уиды; а поскольку сердце королевы — это «большой калебас, переполненный пальмовым вином для жаждущих», ему срочно понадобились большой шатер и золотая карета.

Прибыли еще три английские миссии, каждая с более скверными манерами, чем предыдущая, и в Уиде, в старом британском форте, было открыто вице-консульство.

Король обещал то одно, то другое, но так и не

поставил крестик на договоре. Из Англии не прислали ни шатра, ни золотой кареты. Вместо этого консул Кросби подарил королю кольчугу, несколько гуттаперчевых масок Панча и Джуди[156], нелепое приспособление под названием «Предсказатель бурь доктора Мериуэзера» и экземпляр «Иллюстрированных лондонских новостей» с описанием Всемирной выставки.

Убогость этих подарков шокировала короля, и он спросил у Дона Франсишку, на что можно потратить три тысячи фунтов.

— Вы тратите столько на домашние дела за одну неделю, — ответил тот.

Вице-консул был высоким человеком с хмурым лицом и толстыми, обвисшими щеками. Он заслужил безграничную ненависть Дона Франсишку, когда, указывая на Тапарику, сказал:

— Я вижу, сэр, что вы держите при себе цирковую мартышку.

Лорд Палмерстон приказал ему настоять на том, чтобы Дагомея воздержалась от нападения на город Абеокута, где находились англиканские миссионеры. Король, однако, обещал своим предкам оставить от Абеокуты кучку пепла — а

---

[156] Примечания: 156

Панч и Джуди — персонажи традиционного уличного театра кукол.

англичанам не обещал ничего.

На последней аудиенции Кросби совершил ошибку, прочитав лекцию о вреде войны, на что король достал гравюру в рамке с изображением битвы при Ватерлоо и сказал:

— А это чья война, господин консул? Чья война?

В ответ консул подарил королю мотыгу, а также сделал несколько замечаний о «полезном труде». Тогда король впал в ярость, бросил посланнику в лицо ожерелье из крыльев летучей мыши и прорычал:

— Отнеси это своей старухе!

Консул Кросби прервал переговоры и закрыл консульство.

Король отправился на войну.

Два миссионера, размещенные в Абеокуте, господа Бикерстет и Смит, преподали эгба уроки строевой подготовки и снабдили их боеприпасами. Третьего марта 1851 года пять тысяч дагомейцев были убиты под Священной скалой. Это было самое страшное поражение в их истории.

После этого Западно-Африканская эскадра блокировала порт Уиды, а министры короля обвинили Дона Франсишку в том, что тот впустил

англичан в страну.

Но более серьезные неприятности принесли «бразильцы».

Это были бывшие рабы, которые выкупили свою свободу и зафрахтовали английский торговый корабль, чтобы тот отвез их обратно в Африку. Они высадились недалеко от Лагоса, надеясь добраться до своих старых домов в Ойо. Но зловонные болота оказались далеки от того рая, про который им рассказывали бабушки. Жители деревни забросали их камнями и спустили собак. Переселенцы впали в панику при мысли, что их снова продадут. Они тосковали по Бразилии, но идти им было некуда, поскольку все приобрели билеты в один конец.

Дон Франсишку услышал об их бедственном положении и послал своего слугу, чтобы предложить им убежище.

Он встретил их на берегу — мужчин в шляпах как печные трубы, женщин в белых кружевных кринолинах с распрямленными щипцами волосами, — выделил им участки земли, и вскоре веселые фермы усеяли сельскую местность вплоть до Сави.

Поселенцы превратили Уиду в маленькую Бразилию. Они ездили на пикники, устраивали

ужины, сажали в горшки щирицу и мирабилис, украшали комнаты изображениями святого Георгия с драконом, а во время Карнавала бросали друг в друга вощеные апельсины, пропитанные душистой водой.

Город изменил свой цвет. Тускло-розовые и охристые дома приобрели оттенки бразильского сада и казались продолжением цветастых платьев женщин, стоявших в низких дверных проемах.

В жаркие дни они лежали на балконах, обмахиваясь веером или скребя спину чесалками из слоновой кости. Иногда вереница невольников, сопровождаемых псами, проходила мимо, и «бразильцы» бросали на улицу цветы, крича: *«Boa Viagem!»*[157] — и вздыхая о больших усадьбах Баии и Пернамбуку.

Каждую субботу Дон Франсишку устраивал обед для руководителей колонии. Все они сходились во мнении, что Симбоджи мрачен, старомоден и вульгарен.

Новоприбывшие очень заботились о своем здоровье, и впервые в Уиде появился врач.

Им стал доктор Маркуш Брандау Ферраез, изму-

---

[157] Примечания: 157
Счастливого пути! *(порт.)*

ченный молодой мулат, поседевший к тридцати годам. Он сбежал из Бразилии вместе с девушкой-сертанкой, с которой познакомился в маленьком городке Сеары; молодые решили уехать в Африку, когда ее братья пригрозили его убить. Теперь каждый день он спешил по вызовам с зеленым саквояжем.

Пара была бездетной и жила в двух аккуратных комнатах над аптекой, где они поставили гипсовый бюст Гиппократа и ряды синих керамических баночек с латинскими названиями лекарств; у них был попугай ара по кличке Зе Пиранья.

Донья Лусиана содержала кухню в безупречном порядке. Она лучше всех готовила мармелад из гуавы и фаршировала краба. Размалывая специи, донья мурлыкала грустные песни, и ее верхняя губа очаровательно приподнималась. Эти же песни она пела девочкой, когда ей хотелось уехать из того захолустья, куда она теперь мечтала вернуться.

Через некоторое время донья Лусиана, казалось, сморщилась от жары. Ее волосы свисали крысиными хвостиками, а лицо покрылось сыпью. Она боялась выходить на улицу, принимала скорпионов за змей и сидела в комнатах, жалобно

теребя в руках распятие, до возвращения мужа.

Однажды в полдень Дон Франсишку шел домой с Тапарикой и вдруг застыл на месте. Через окно аптеки до него донеслись четкие и медленные слова песни, которая распустила узлы его памяти. Эту песню о цыганке, что ходит с ярмарки на ярмарку, пела его мать; когда донья Лусиана дошла до конца, он пропел вместе с ней две последние строчки.

Она замерла.

Он заглянул внутрь.

Она увидела глаза, сияющие из-под полей его шляпы, и после говорила всем, что встретила дьявола.

Дон Франсишку всегда был рад выпить стаканчик сладкого лайма в доме Жасинту даш Шагаша, мулата — наполовину йоруба, который работал клерком на сахарной фактории и имел прекрасную дочь по имени Веносса.

Спокойная улыбка Жасинту, его джентльменская осанка, манеры и чистые хлопковые костюмы производили на дагомейцев неизгладимое впечатление. Годы вынужденной почтительности научили его, как лучше втереться в доверие или сыграть на чувстве вины. Всякий раз говоря о работорговле, он прикладывал свои длинные

костлявые пальцы к сердцу и вздыхал:

— Мои братья! О мои бедные черные братья!

Благодаря его надежности и умению считать деньги Дон Франсишку взял его к себе в помощники. Он поверял ему коммерческие тайны, которыми никогда бы не поделился со своими сыновьями, и даже отправлял с конфиденциальными поручениями к королю.

Сначала король пришел в ярость, увидев чернокожего мужчину в туфлях, но, когда Жасинту рассказал ему о бразильских браках в часовне, заявил, что ему тоже нужна христианская невеста. Вся колония была в ужасе от решения Жасинту пожертвовать собственной дочерью.

Однажды моросящим утром, покрытая густой вуалью, чтобы никто не видел ее слез, впиваясь ногтями в голубой атлас своей сумочки, Веносса даш Шагаш произнесла «да» между всхлипами; она шла к алтарю под руку с Доном Франсишку, который выступал в качестве доверенного лица своего кровного брата и был в черном сюртуке.

Почетный караул амазонок проводил ее до Абомеи, где сорок девять лет спустя офицер французской армии нашел ее, согнувшуюся в три погибели перед распятием в молитвенном экстазе.

Именно она погубила да Силву.

Через месяц после свадьбы отец Веноссы поссорился со своим работодателем, подружился с французами и открыл собственное дело по экспорту пальмового масла. Король подарил ему землю и рабов. Жасинту построил дом с белыми колоннами и заполнил его мебелью из Парижа. Вскоре, прикрываясь нефтяным бизнесом, он начал продавать рабов торговцам из Соединенных Штатов.

Дон Франсишку услышал, что его монополия разрушена, и решил, что сходит с ума. Он ворвался к семье даш Шагаш на обед и с усмешкой спросил:

— Где теперь твои черные братья?

— Я имею дело только с племенем махи, — ответил Жасинту, — они не мои соплеменники.

В своих многочисленных посланиях Дон Франсишку раз за разом пытался добиться изгнания своего соперника, но Жасинту объяснил королю истинную ценность золота и намекнул, что половина состояния да Силвы давно находится в Бразилии, что было серьезным преступлением в стране, где каждый клочок собственности принадлежал правителю.

Без предупреждения королевские сборщики

налогов нагрянули в Симбоджи и изъяли все серебро и золото. Месяц спустя пароходный фрегат Западно-Африканской эскадры взял на абордаж последний балтиморский клипер: стало очевидно, что Жасинту предупредил англичан.

Женщины Симбоджи говорили: «Большое Дерево падает», ибо их хозяин внезапно состарился.

Тапарика умирал.

Его голова поникла. Кожа сморщилась, под глазами появились красные полумесяцы. В иные дни он метался, как потерявшийся ребенок, не понимая, где находится. Когда пришел его конец, Дон Франсишку не позволил ему умереть на циновке — уложил его на кровать из Гоа и держал за шелушившуюся руку на протяжении трех душных ночей.

Сквозь занавески доносился голос:

— Ты не понимать этот народ. Ты никогда его не понять.

Тапарика пытался рассказать ему про различные виды ядов и противоядий к ним. Но морская птица его души уже летела обратно на тот остров в заливе Баия, где он когда-то целовал подмышку женщины, научившей его тайнам медицины экскрементов.

Дон Франсишку похоронил его на рассвете

среди цветочных клумб. Вязкий туман окутывал его горе, и он долго смотрел на испачканный грязью саван.

Из-за стены сераля до него доносились вопли женщин, но их причитания больше походили на триумфальную песнь.

Однажды утром перед завтраком появился встревоженный доктор Брандау Ферраез, чтобы сообщить о случае желтой лихорадки в «бразильском» доме, где девушка недавно принимала кубинского моряка.

В течение недели стоны и приглушенные молитвы звучали на каждой улице. Болезнь поразила сотни негров и мулатов, но оставила в покое белых. Бразильцы вывешивали на балконах пурпурные полотнища, а если выходили за дверь, то привязывали под нос губки, смоченные в уксусе. Исидору и его сводный брат Антониу разожгли костры, чтобы остановить заразу, но искры попали на крышу и сожгли несколько домов.

Десять да Силва умерли от этой болезни, и доктор стал последней ее жертвой.

Он вернулся домой после вызова к больному; щеки его впали, глаза отекли и пожелтели. Он сказал:

— Не трогайте меня! Не подходите ко мне! — и

лег на кровать.

К полудню он корчился на полу, с губ его стекали струйки рвоты, черной, как кофейная гуща. Ближе к вечеру разразилась гроза. Облака были цвета грязи. Пальмы гнулись и трещали. Целый час он лежал молча, затем закричал, словно стрела пронзила его горло, и умер.

В толпе, наблюдавшей за тем, как тело выносят вперед ногами через дверь аптеки, была истеричная женщина, потерявшая всех своих детей. Как только она увидела донью Лусиану, она закричала:

— Ведьма!

Толпа разбила банки с лекарствами; на улице валялся безголовый бюст Гиппократа.

Дон Франсишку услышал шум и догадался о его причине. Через полчаса вместе с мальчиком-слугой он внес в дом тело в кровавых тряпках и уложил на постель из Гоа.

Десять дней донья Лусиана находилась между жизнью и смертью, хотя с жадностью ела все, что приносили. Но стоило ей достаточно окрепнуть, чтобы опознать своего спасителя, она тут же плотно сжала губы, и ее пришлось кормить насильно.

Всякий раз, когда он входил в комнату, она

съеживалась, как ночное животное, вынесенное на солнечный свет. Прошло несколько недель, прежде чем она привыкла к его присутствию. И вдруг в одночасье человек, который был дьяволом, превратился для нее в ангела-хранителя.

Он старался не прикасаться к ней, даже к ее одежде. И все же они, каждый по-своему несчастный, утешались обществом друг друга и не могли смириться с разлукой.

Он позволил ей остаться в Симбоджи. Она спала на кровати, он — в соседней комнате на одном из палисандровых диванов. Он замуровал дверь в сераль, они оставались дома и ни с кем не видались.

Они жили как муж и жена, давшие обет целомудрия. Донья Лусиана соорудила алтарный стол и поставила вазы с белыми цветами по обе стороны от молельни с Тайной вечерей. Она заботилась о том, чтобы свеча всегда горела, и обещала спасти его душу.

Донья Лусиана читала из Нового Завета истории о прощении Христом грешников; солнечные лучи падали на ее вдовьи локоны и шиньон из льняных волос. На белой шее, на бархатной ленте висел медальон с локонами ее мужа.

Дон Франсишку слушал, а Зе Пиранья сидел

у него на плече и тыкал клювом в ухо; когда у попугая вылезали перья, да Силва гладил его по голове и тихонько говорил:

— Бедная птичка! Он хочет вернуться домой.

В сезон дождей приступы ревматизма усиливались, и он неделями не мог пошевелиться. Донья Лусиана прикладывала горячие компрессы к его позвоночнику; она знала множество лекарств, но потеряла всё во время пожара в аптеке.

Женщины Симбоджи ненавидели соперницу. Даже в сезон дождей Жижибу стучала в дверь, требуя, чтобы ее впустили. Она устроила такой скандал, что Дону Франсишку пришлось послать за Исидору, который успокоил мать и впервые заслужил благодарность отца.

Из всех своих детей он любил только двух сестер-близнецов от умершей женщины-мулатки. Их звали Умбелина и Леокадия, они росли красавицами.

Донья Лусиана сказала:

— Пусть приходят и живут с нами. Близнецы приносят удачу, — и подарила им материнскую любовь.

Она сшила им белые платья с оборками, повязала в волосы атласные ленты; научила вышивать свои инициалы на носовых платках. Вместе они

сделали изображение Девы Марии, используя выпавшие перья Зе Пираньи: для мантии — из крыльев, для нимба — с груди. Часто они устраивали пикники в китайском павильоне в Зомаи, где распевали песни бандейрантов. А как визжали девочки, когда отец рассказывал историю о гоблине с волосатыми руками!

На одном из таких пикников донья Лусиана спросила, не думает ли он когда-нибудь вернуться в Бразилию.

— Если на то будет воля Божья, — ответил он. — Я бы все отдал, чтобы умереть на родине.

С того дня она не могла думать ни о чем другом. Она размышляла, как проскользнуть мимо королевских стражников, которые следили за ними днем и ночью. Но Дон Франсишку, человек действия, оказался теперь к действию неспособным. Он прижимал кулаки к вискам и говорил:

— Но как? Как? Как?

Но она знала, что выход должен быть.

Он все еще владел недвижимостью в Бразилии — сигарной фабрикой в Марагожипе, ранчо, лесопилкой и несколькими городскими домами, которые его агент купил в качестве инвестиции, когда цены на рабов выросли. Не без тревоги он написал Жозе де Параизу с просьбой купить дом

в Баии, в котором он мог бы жить в старости, умоляя сохранить это в тайне.

Шесть месяцев спустя вместе с копией документов на право собственности на дом номер 1 по Беку-ду-Корту в Барре пришло грубо намалеванное полотно, все еще пахнущее скипидаром; на полотне была изображена розовая вилла в саду, спускающемся к морю.

Донья Лусиана захлопала в ладоши, когда они разворачивали картину, и спросила, что это за загогулины в небе.

— Птицы, — ответил он.

В первой половине письма Параизу перечислял мебель и имена домашних рабов; плохие новости он приберег под конец.

По недосмотру барона Параибы гражданство Дона Франсишку было утрачено.

Губернатор Баии отклонил его прошение о паспорте. Теперь работорговля стала уголовным преступлением: его арестуют в ту же минуту, как он высадится в Бразилии.

И все же, продолжал Параизу, возможно, для беспокойства нет причин: пожертвование на благотворительность наверняка решит все проблемы. Прошел еще один год. Когда *Jornal da*

Bahia[158] сообщил об открытии нового госпиталя для моряков, Дон Франсишку, прочитав текст обращения барона Параибы, узнал, что его имя среди благотворителей даже не упоминалось.

Донья Лусиана отправляла письма губернатору, барону и самому императору; если все это не сработает, они собирались отправиться в Рим и представить дело на рассмотрение апостольского нунция.

В воображении она рисовала большую золотую церковь, хоры, ангелов и солнечный свет, косо падающий на алтарь. Запах ладана уже щекотал ее ноздри. Затем фигура в сияющих белизной одеждах вставала со своего трона, поднимала руку в благословении и говорила:

— Воспрянь, Франсишку! Возродись телом нашего Спасителя!

Они продолжали ждать новостей, но их не было.

Умбелина и Леокадия боялись выходить из дома. Их единокровные братья насмехались над ними, прижимали к стене и шептали на ухо, что их разыскивает король, чтобы забрать в свой гарем. Отец боялся за их безопасность. Он твердо

---

[158] Примечания: 158
Газета Баии *(порт.).*

приказал донье Лусиане отвезти девочек в их дом в Баию, где она будет ходатайствовать о его помиловании, а он однажды присоединится к ним.

Да Силвы были вне себя от счастья, когда смотрели ей в спину: отъезд доньи Лусианы стал причиной для ликования. Но, увидев корабль, качающийся на волнах, и слезы в его глазах, она обняла Дона Франсишку за шею и сказала:

— Нет. Я не могу уехать.

Заходящее солнце окрасило волны в молочно-золотистый зеленый цвет. Каноэ напоминали гигантских черных сороконожек, когда крумены спускали их вниз по крутому откосу пляжа. Дон Франсишку мягко высвободился из объятий плачущих девочек и подвел их к кромке воды. Он дал капитану записку для барона Параибы, вручая близняшек его заботе. Клочья пены упали на черное платье из тафты доньи Лусианы. Они стояли рука об руку на песке, наблюдая, как тонкие коричневые ручки машут им с гребня волны и пропадают вдали.

В ту ночь она приняла любовь старика.

Два месяца спустя она упала в обморок и почувствовала боль в животе. Только когда тот начал расти, она поверила в то, что ей с самого начала подсказывали инстинкты: донья Лусиана всегда

считала себя бесплодной.

Беременность была тяжелой и опасной для женщины сорока лет. Тем не менее после мучительной борьбы 21 января 1854 года она родила дочь. Ребенок оказался болезненным: его крестили прямо в спальне на случай, если девочка не выживет.

Но Эужения да Силва цеплялась за жизнь и жадно брала грудь кормилицы, в то время как ее матери в бреду виделось, что она падает в глубокую скользкую яму.

Наконец из Бразилии пришло прощение — лист бумаги, подписанный самим императором, где признавались «многолетнее усердие и полезная служба лейтенанта да Силвы в форте Сан-Жуан-Батишта-де-Ажуда». В первом порыве волнения они сначала не поняли содержания сопровождающего письма Параизу, в котором перечислялись его долги перед *Banco Coutinho*[159]; в письме также рассказывалось о крахе сигарной фабрики, о болезни, которая убила скот, оползне и решении Баиского торгового общества объявить его банкротом.

Он сказал:

---

[159] Примечания: 159
Банком Коутиньу *(порт.).*

— Они ограбили меня, — и выронил лист бумаги.

Он написал в последний раз барону Параибы:

Пожалуйста, мой дорогой друг, имейте терпение. Я бы отдал Вам все, чем владею в Баии. Но что скажут люди? Они отвернутся от меня, если узнают, что у меня ничего нет. Они скажут, что я больше не могу рассчитывать на Вас, моего самого верного друга и защитника на протяжении всех этих лет. Я прошу Вас, я умоляю Вас не продавать мою мебель и моих рабов, но сдать дом в аренду, чтобы жизнь моя не подвергалась осуждению. И умоляю Вас позаботиться о моих дочерях…

Барон не ответил на это письмо. Его банк конфисковал собственность да Силвы за долги. Приставы вывезли мебель, а дом и рабов продали без объявления на публичных торгах.

Один из участников аукциона, сеньор Рикарду Параизу, брат его агента, открыл в доме учебное заведение для девочек.

Но Умбелина и Леокадия не посещали занятия ни в этой школе, ни в какой-либо другой. Они

не жили в доме Коутиньу, даже в качестве слуг. Вместо этого их отправили к известной личности по имени Маэ Андрешинью, которая обучила их известному ремеслу, практикуемому на булыжных мостовых Пелуриньу.

— Проститутки? — завыл их отец, когда некий капитан сообщил ему эту новость. — Проститутки? Мои дорогие дочери? Проститутки?

Он ударил кулаками об стол, смотрел, как белеют костяшки его пальцев, и захлебывался рыданиями.

В ночь на 15 февраля 1855 года, переодевшись в карнавальные костюмы и надев маски, Дон Франсишку и донья Лусиана попытались вместе с дочерью пробраться на борт бразильского судна. Ночь была облачной, но луна выглянула, как раз когда они пересекали лагуну, и часовые вернули их обратно, как пленников, в Симбоджи.

Дона Франсишку лишили состояния и привилегий, хотя и разрешили остаться жить в поместье, где в комнатах не было ничего, кроме кровати. Он был кровным братом короля: тронуть хоть волос на его голове считалось преступлением, но даже собственные сыновья говорили о нем в прошедшем времени.

В жаркие дни он лежал в тени мангового дере-

ва и позволял маленькой Эужении забираться по его животу и дергать за бороду. Глаза Дона Франсишку были слабы, руки, покрытые сетью серых вен, казались слишком тяжелыми.

Он растирал между пальцами лепестки роз или зарывался лицом в цветок гибискуса. Если мимо проходил старый садовник, Дон Франсишку открывал рот, чтобы отдать приказ, но не мог произнести ни слова. В другие дни он слышал завывание прибоя и бился головой о стену. По ночам ему чудились ряды налитых кровью глаз, которые смотрели на него из темноты.

Иногда Дон Франсишку лежал под деревом до рассвета — улитки оставляли серебристые следы на его ногах. На клочках бумаги он выводил бессвязные пророчества; Исидору заставлял своих слуг собирать их на случай, если те содержат информацию о его собственности в Бразилии:

> *В 1860 году терновник принесет плоды, но к тому времени мало останется тел, у которых будут головы… В 1870 году для всех шляп не хватит голов… В 1880 году рабы продадут своих хозяев и купят крылья… В 1890 году император пошлет корабль за своим другом, но море*

покраснеет, а небо превратится в грязь. И прольется дождь из звезд, и корабль затонет… В 1900 году Священный Дом Рима рухнет, и трупы заполнят улицы Баии и Иерусалима…

Донья Лусиана была больна и ничем не могла ему помочь.

Она ощущала горький привкус во рту; ее мучили такие ужасные головные боли, что ей казалось — ее череп вот-вот треснет по швам.

Донья Лусиана говорила:

— Это ничего. Должно быть, всему виной тучи. Только бы тучи ушли.

Она пыталась улыбнуться, но от этого ей делалось только больнее.

Ее кожа начала шелушиться, покрываясь влажными пятнами с румяной корочкой. Затем онемели пальцы ног, а пальцы рук и следы на коже почернели.

Она едва могла дышать. Почти без сознания, с расширенными зрачками, задыхаясь, она обращалась к кормилице Эужении:

— Вымой мне руки! Смотри! Смотри! Эти пятна пожирают мои руки!

В другое время, в приступах какой-то эйфории,

она цеплялась за столбики кровати, обнажала десны и во весь голос пела: «Аллилуйя!»

Однажды утром Дон Франсишку увидел, как изо рта у нее тянутся нити темно-зеленой слизи. Смутно он вспомнил предсмертные слова Тапарики и пробормотал:

— Это яд…

Она сказала:

— Я очень устала, — и впала в кому.

Дон Франсишку вцепился в тело, но могильщики оторвали его, и тогда он захлопал руками и закаркал, словно раненая птица.

Он так и не увидел торжествующую улыбку на сияющем лице Жижибу, поскольку убежал в тростниковые заросли и пропал на много дней. Поисковые отряды не смогли его найти. Однажды, возвращаясь домой со своего ямсового поля, какой-то мужчина заметил что-то синее в подлеске. Раздвинув ветки, он увидел фигуру со спутанными волосами, стоящую на четвереньках с большой птицей на плече.

Зе Пиранья укусил Исидору за руку, когда тот со слугами явился за хозяином. Они одолели старика и приковали цепью к дереву рядом с китайским павильоном в Зомаи. Позже, когда его ярость прошла, они позволили ему свободно

бродить по городу.

Он ковылял по Симбоджи, крича:

— Мои дочери! Что они сделали с моими любимыми дочерями?

Женщины спрятали маленькую Эужению, чтобы та не видела своего отца.

Одна из них дала ей деревянную куклу, и та укладывала ее спать на закате, заворачивала в шарф, гладила белый мех, прилипший к ее подбородку, и шептала:

— Спи, папа! Спи!

В лохмотьях, болтавшихся на худом теле, Дон Франсишку слонялся вокруг фетиша Легбы. Когда никто не видел, он воровал ракушки каури, оставленные в качестве подношений, и покупал себе немного еды. Он никогда не ел стряпню Жижибу из страха, что она отравлена.

Он разговаривал с волнами на пляже. Один раз даже кинулся в воду, но волны отбросили его назад; его нашли искусанного песчаными мошками, по телу ползали крабы.

Однажды, задыхаясь от жажды, он смотрел, как к нему приближается король, в улыбке обнажая щель между передними зубами. Король снова был молод и одет в свой розовый охотничий костюм. Он положил прохладную руку на лоб

своего старого друга и открыл флягу с водой.

Дон Франсишку протянул к фляге руки, проснулся и увидел черную свинью, обнюхивающую пальцы на его ногах.

Восьмого марта 1857 года был раскаленный добела день, ветер поднимал на улице клубы пыли. Одетые в свои лучшие черные сюртуки, Исидору да Силва и его братья устроили прием, чтобы поблагодарить Жасинту даш Шагаша за то, что тот уладил все их проблемы с королем.

Волоча левую ногу, Дон Франсишку прошел через бразильский квартал, окруженный толпой мальчишек, скандирующих: *«Bom Dia, Yovo! Yovo, Bom Dia!»* — и проводящих рукой по горлу.

Его коленные чашечки были покрыты струпьями.

Он миновал гипсового слона у центральных ворот, дохромал до гостиной, где на столе нетронутыми лежали некоторые из его швейцарских музыкальных шкатулок. Он заводил их одну за другой, пока комната не наполнилась беспорядочными звуками.

Дверь, ведущая в столовую, открылась, и перед ним предстали его сыновья. Он вгляделся в лица, заполнившие дверной проем. У некоторых были заткнуты салфетки за воротники. Жасинту изви-

нился и выскользнул прочь.

Старик плакал. Слезы текли по складкам его щек, впитываясь в засохшую в бороде грязь. Он открыл рот, чтобы заговорить, нижняя губа отвисла, а музыка кружилась, кружилась у него в голове, пока он, шатаясь, выходил из комнаты, навстречу свету, пыли, ястребам, тьме и ничто.

6

Вот, что помнила Мама Веве, когда лежала, умирая. Лохмотья, ноги в струпьях, быстрые, кружащие по земле тени. Женщины причитали, и везде стоял запах гари — жгли зерно и тростник. Они убрали стулья на стол, чтобы душе старика не было куда сесть — потому что, если сядет, будет сидеть вечно.

Она не знала, сама ли видела великое горе короля или ей рассказали позже; кровные братья обычно уходят в Большой Дом вместе. Возможно, король понимал, что умрет в течение года.

Причитания амазонок:

— Нет. Нет. Нет. Его убил не леопард. Его убил не буйвол. Его убила Ночь. Ночь убила его!

Она снова видела плакальщиц, несущих коз и кур; могильщика, забрасывающего лопатами землю через окно спальни; бочку с ромом — это была идея Антониу похоронить его в бочке с ромом; а еще — седую бритую голову с ватными пробками из капка, воткнутыми в ноздри.

Теперь они снова окружили ее: раболепные мужчины и женщины с застывшими, фанатичными лицами. Похороны не были христианскими.

Чьи-то руки подняли ее, чтобы в последний раз дать взглянуть на голову, качающуюся в бочке, и на мальчика и девочку, скулящих рядом. Когда жрец подошел с ножом, ее опустили на землю.

Затем она побежала, все быстрее и быстрее, по мокрому красному туннелю без света в конце. Дверь открылась. Прохладный ветерок подул ей в лицо. Мулат в белом костюме проскользнул мимо, отвернувшись лицом к стене.

Она вошла в высокую небесно-голубую комнату, с зеркалами и позолоченными колоннами. Званый ужин подходил к концу. Мужчина поднялся из-за стола. У него были рыжие волосы и глаза цвета бус у торговок. Он протянул к ней обе руки и произнес:

— Я долго тебя ждал.

Подполковник Зоссунгбо Патрис услышал крики из своего кабинета в полицейском участке. Его форма была мокрой от пота. Он оторвался от составления списка возможных предателей. Президент подходил к концу своей радиоречи:

Победа народу!

Слава народу!

Власть народу!

Готовы к революции!

Готовы к производству!

И борьба продолжается!

На стене висели пара наручников и сломанная гитара. Рядом — чучело циветты, прибитое гвоздями в насмешку над Распятием — задние лапы и хвост вместе, передние — разведены в стороны.

Над столом — лицо президента, все в шрамах.

Зоссунгбо Патрис встал из-за стола и сделал жест, который, если бы кто-нибудь его увидел, привел бы подполковника в тюрьму.

Затем он прошелся по комнате взад-вперед, маша воображаемой толпе, и, скрипя половицами, раздавил таракана каблуком армейского сапога.